ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№ 1 1994

Поздравляем всех наших читателей
с Новым, 1994 годом
и праздником Рождества Христова!

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№ 1 1994

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

МОСКВА

Содержание

Технический редактор Е. П. Афанасьева. Корректоры С. А. Артамонова, М. В. Масленникова.

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 22.10.91 № 1222.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30.
Телефоны: 200-24-24 (главная редакция); 200-23-88 (отдел прозы); 928-32-16 (отдел поэзии); 921-48-71 (отдел очерка и публицистики; отдел критики); 921-43-59 (секретариат); 200-23-05 (факс).

Сдано в набор 01.11.93. Подписано к печати 28.12.93. Формат 70 x 108 1/16.
Бумага газетная. Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,5. Уч.-изд. л. 16,64.
Тираж 44 741 экз. Зак. 3034

ИПО писателей, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»;
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.



МИХАИЛ АСТАФЬЕВ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ЦЕЛИ

Сегодня любому здравомыслящему человеку ясно, что наше общество больно. Симптомы болезни налицо: кризис в политике, хаос в экономике, сумятица в прессе, смута в умах. Непримиримые противники и яростные спорщики согласны в одном: так дальше жить нельзя. А как же надо?

ДИАГНОЗ

Для начала, констатировав болезнь, следует установить ее природу. От этого зависят и средства лечения, и необходимый режим, и меры предосторожности, потребные, чтобы исключить пагубные рецидивы. Итак — главный, принципиальный вопрос состоит сегодня в том, чем же больна Россия?

Здесь у каждого свой ответ. Одни клеймят "неизжитые имперские стереотипы", другие кричат, мол, "коммуняки" во всем виноваты, третьи видят корень зла исключительно в попытках "сменить общественный строй".

Излишне говорить, сколь примитивны и недостаточны подобные объяснения. К ним охотно прибегают разномастные радикалы, единственная цель которых — накалить обстановку, чтобы в суете никто не заметил их собственного убожества. Тому же, кто действительно хочет разобраться в происходящем, неизбежно придется привыкать мыслить самостоятельно, анализировать и сопоставлять, не надеясь на подсказки. При этом начинать надо будет с вопросов основополагающих и фундаментальных, а значит — мировоззренческих, идеологических, духовных, ибо они определяют важнейшие архетипы человеческого сознания: понятия добра и зла, справедливости, истины и лжи, чести и бесчестья. Все остальное — культура, общественная жизнь и даже экономика, в конечном итоге, являются лишь производными величинами, так что надеяться на материальное процветание общества при той смуте, что царит в душах у людей, может только очень наивный человек.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн сказал как-то в одной из своих статей-проповедей, что сегодня Россия больна "помрачением совести". В общественно-политической области это означает прискорбное отсутствие в общенародном мнении единого мировоззренческого идеала, всенародной идеологии российского возрождения. Расщепление нашего национального самосознания грозит России последствиями самыми тяжелыми, воистину гибельными — поэтому первейшей задачей здоровой части общества должна стать деятельность, направленная на восстановление ее соборной целостности.

Единственной силой на современной политической сцене, ставящей перед собой подобные задачи, является российское патриотическое движение, кото-

---

АСТАФЬЕВ Михаил Георгиевич родился в 1946 году в Москве. Окончил физический факультет МГУ. Работал в АН СССР. С 1990 года — народный депутат России. С 1991 года — председатель Конституционно-демократической партии.

рое, находясь в стадии становления, переживает сегодня организационный и идеологический разброд. Не драматизируя этой "детской болезни" как естественной "болезни роста", необходимо уже сейчас определить возможные пути преодоления существующих недоразумений и разногласий.

Это значит, что — уважая имеющееся сегодня в патриотической среде неизбежное разнообразие мнений — следует тем не менее выделить тот духовно-политический стержень, который мог бы стать опорой для идеологического и организационного объединения всех здоровых сил. Иными словами, **сегодня России, как воздух, нужна идеология "патриотического центризма".**

В нынешних условиях любая идеология, претендующая на популярность и жизнеспособность, неизбежна должна носить целостный, комплексный характер, охватывая все стороны сегодняшней действительности, отвечая всем интеллектуальным и духовным потребностям современного человека. Обрисовать ее полностью в рамках одной статьи, конечно, невозможно. Стоит, однако, попытаться тезисно и кратко изложить ее основы, систематизированные по нескольким магистральным направлениям.

БОГ, ОТЕЧЕСТВО, НАРОД

Мировоззренческой основой идеологии патриотического центризма является доктрина христианского патриотизма, имеющая на Руси глубокие и прочные исторические корни. Ее лозунг вынесен в заголовок данного раздела.

Нынешняя многоголосица в общественной жизни страны вызвана не столько действительным плюрализмом мнений, сколько непомерностью амбиций иных "спасителей отечества", часто не примечательных ничем, кроме исключительной напористости в делах самоутверждения. В действительности же сегодня, так же, как во времена Белинского и Хомякова, Плеханова и Победоносцева, спор о будущем России ведут две "суперпартии", две идеологии — известные из истории под условными названиями "западников" и "почвенников". В этой системе координат мировоззрение христианского патриотизма безусловно отражает идеологию "почвенничества", то есть самобытного и национально осмысленного подхода ко всем российским проблемам.

Наличие в нем религиозной компоненты служит своего рода свидетельством его высокого нравственного, морально-этического уровня, ибо христианские идеалы предопределяют соответствующие общественные формы своего воплощения в жизнь. Ярко выраженный патриотический характер гарантирует приверженность к самостоятельной, независимой и свободной от посторонних влияний политической линии — твердой в отстаивании национальных интересов и не подверженной сиюминутным конъюнктурным колебаниям. Народность такого мировоззрения, как его важнейшее свойство, предопределяет простоту, доходчивость и ясность целей, их созвучность чаяниям широких народных масс, исключает возможность элитарного перерождения, превращения в рафинированную идеологию "избранных", недоступную "невежественной толпе".

При этом не подлежит никакому сомнению, что духовной опорой единого Российского государства, его главной нравственной скрепой и религиозной движущей силой является Русская Православная Церковь. Десять веков отечественной истории подтверждают это красноречивее всяких слов, и в такой очевидной истине нет и не может быть для других российских конфессий ничего обидного или ущемляющего их законные права.

Но именно здесь тяжелое наследие дает себя знать особенно остро. Десятилетия богоборческого террора, непрекращающиеся попытки "штурма небес" и подрыва Православия изнутри привели к тому, что оказались изуродованы и искалечены все те тонкие, деликатные механизмы взаимодействия религиозных и общественных, государственных структур, которые на протяжении веков обеспечивали нашему народу духовно-нравственную и морально-этическую стабильность.

"Война с верой" в конечном итоге обернулась тем, что в национальном самосознании оказались подрубленными ключевые понятия, столетиями служившие опорой нашего общего державного патриотизма, взаимной терпимости, меж-

национального мира. "Любовь к Родине" и "любовь к ближнему", как оказалось, могут восприниматься осмысленно и прочувствованно только тогда, когда в сознании человека живет важнейшая религиозная истина о том, что "Бог есть любовь". Так что та вакханалия кровавых разборок, которая царит ныне на территории бывшего Союза, есть во многом следствие не чего иного, как нашего религиозного одичания, неизбежно завершившегося одичанием нравственным, политическим и даже экономическим.

Отсюда вывод: **не вернем Церковь на ее законное место, не восстановим естественный религиозный баланс общества, не укрепим наше национальное самосознание в корнях многовековой отечественной духовности — никогда не выберемся из той зловонной ямы, в которую нас затолкали тщеславные и беспринципные политиканы.** Тут уж сколько ни стой перед объективом телекамеры в храме со свечкой — ничего не изменишь.

Необходим комплекс серьезных, продуманных, последовательных мер, направленных на то, чтобы религия обрела в общественно-политической жизни России свое естественное место. Пришла пора очнуться от атеистического забытья, иначе нас ждет губительный процесс дальнейшей духовной деградации, который, без сомнения, будет сопровождаться как эскалацией вооруженной борьбы, так и хозяйственной разрухой.

ЗАКОН, ПОРЯДОК, БЕЗОПАСНОСТЬ

Так могут быть определены внутриполитические приоритеты патриотического центризма. Закон — один для всех; порядок — исключающий социальное неравенство и обогащение одних за счет других; безопасность — от разгула уголовной преступности и государственного рэкета, грабящего миллионы граждан под лживой вывеской "реформ".

Для того чтобы претворение этих лозунгов в жизнь стало возможным, необходима прочная стабилизация внутриполитического положения в России. Между тем она немыслима, пока правящий режим руководствуется в этой области не интересами миллионов россиян, но маниакальным стремлением перекроить структуру русского общества так, чтобы сделать невозможными "имперский реваншизм" и "возрождение шовинизма". Эта до неприличия очевидная прозападная позиция нынешней власти объясняется довольно просто: ее конечной целью является вовсе не возрождение могучей и независимой Российской державы, но форсированное включение "постсоветского пространства" в структуры "единого мирового сообщества", вхождение стреноженной России в "мировую цивилизацию" на правах младшего партнера, данника, неисчерпаемого сырьевого резервуара.

На этом пути нас вряд ли ждет оздоровление общества, ибо его необходимыми условиями являются:

А. Выработка оптимальной формы государственного устройства страны. Она, безусловно, предполагает отказ от "договорного" принципа организации Российской Федерации, упразднение всяческих региональных "суверенитетов"; отказ от абсурдного "права на самоопределение вплоть до отделения" и восстановление прочного унитарного государства. "**Россия единая и неделимая**" — и никакая иная, должна быть безоговорочно восстановлена, если мы действительно желаем внутриполитической стабилизации.

В этом отношении примечательна непоследовательность нынешнего руководства, то заигрывающего с регионами и национальными окраинами, то вдруг делающего неуклюжие попытки отобрать у них все дарованные права и льготы. Причина ее кроется в том, что власти приходится лавировать между двумя смертельными для нее опасностями. Чрезмерная децентрализация чревата тем, что регионы могут отказаться выполнять самоубийственные команды центра. Добровольно Россия вряд ли согласится исполнять роль третьеразрядной "банановой республики", а значит, надо позаботиться о том, чтобы не упустить ситуацию из-под контроля. С другой стороны, "чрезмерное" укрепление государственных структур может вызвать в обществе нежелательную "имперскую" носталь-

гию и рост патриотических настроений, чего тоже нынешним временщикам допустить никак нельзя.

Вот и маются наши "отцы отечества" меж двух огней. Отсюда все шарахания, отсюда и вопиющая непоследовательность "конституционного процесса", превратившегося за последние месяцы в откровенный фарс.

Б. Вторым обязательным условием внутреннего умиротворения страны является **выработка эффективного и действенного механизма государственной власти.** Ее реформирование и тщательная балансировка — насущная потребность времени.

Впрочем, надо смотреть правде в глаза: решение всех этих проблем невозможно до тех пор, пока не произойдет **кардинальная смена стратегической концепции развития страны.** В рамках нынешнего экстремистски-прозападного курса никакие формальные перемены и организационные исправления ничего не дадут, ибо недавние события с предельной ясностью высветили безграничный цинизм и полную беспринципность нынешнего режима, готового жертвовать национальными интересами России и расстреливать в столице из танков собственных граждан, лишь бы удержаться у власти и избежать краха.

МИР, СОТРУДНИЧЕСТВО, НЕЗАВИСИМОСТЬ

Этот лозунг наиболее полно отражает основы внешнеполитической концепции "правого центра". Впрочем, в области международных отношений у различных патриотических организаций расхождений почти нет, так что эти принципы вполне можно считать основополагающими для всего российского патриотического движения. Итак, **мир со всеми; сотрудничество — с союзниками и партнерами;** независимость — **от любого влияния извне.**

Несамостоятельность, политическая ангажированность нынешнего политического руководства России бросается в глаза. Думаю, мало у кого вызывает сомнение, что именно безоговорочной поддержке Запада наша верхушка обязана самим фактом своего существования. За это приходится расплачиваться государственными интересами, беззастенчиво приносимыми в жертву сиюминутной, личной политической выгоде. Очевидно, что **возврат к независимой политике, основанной исключительно на интересах российского государства и нашего народа, — непременное условие выхода из нынешнего кризиса.**

В области практической деятельности это означает:

Немедленное форсирование ненасильственных (прежде всего экономических и пропагандистских) **мер по воссозданию российского государства** в его естественных географических и национальных границах. В рамках этого процесса первоочередной задачей является **объединение трех братских славянских республик и возрождение единой соборной общности их народов.**

Следующим шагом должно стать присоединение к этому ядру всех желающих из числа бывших республик СССР. Но только — **на взаимовыгодной основе. Россия не должна больше быть бесплатным "донором" для окраин, и конкретные организационные формы такого присоединения могут обсуждаться лишь в случае его очевидной экономической, геополитической или военно-стратегической выгоды для нашей страны.**

При этом недвусмысленно и ясно должны быть заявлены жизненно важные интересы России на всей территории СССР в границах 1975 года, которые в ходе Хельсинкской конференции были признаны всем мировым сообществом. Это предполагает **особый статус России как гаранта мира и безопасности в регионе.** Мы ни в коем случае не можем себе позволить иметь вдоль своих границ сплошные "зоны конфликтов". И никакая "демократическая" риторика не должна мешать обеспечению безопасности российских рубежей.

Что касается отношений с дальним зарубежьем, то тут главной задачей является деидеологизация этой области. А то выходит, что по сравнению с "советским" подходом к проблемам международных отношений сегодня лишь сменился знак идеологических пристрастий. Точно так же, как десять и двадцать лет назад мы, вопреки всякому здравому смыслу, поддерживали любой, самый

одиозный режим только из-за того, что он декларировал свою приверженность идеям социализма, — нынче мы готовы предать анафеме всякое государство, выходящее за рамки западных "демократических" стандартов.

Этот порочный принцип должен быть, наконец, заменен четкими и ясными критериями государственных интересов России. В самом деле — почему, например, мы вынуждены терять десятки миллиардов долларов на разрыве экономических связей с Ираком из-за того, что Соединенным Штатам не нравится поведение Саддама Хусейна? Или прощаться с надеждой на возвращение многомиллиардного ливийского долга из-за конфликта Великобритании с Муамаром Каддафи? Иль гробить свою оборонную промышленность, задыхающуюся от нехватки заказов, из-за боязни продать оружие "не тому" (разумеется, с точки зрения Запада) покупателю?

В полной мере деидеологизация внешнеполитической области должна сказаться и на отношениях России с различными международными организациями. Не существует никаких разумных доводов, которые оправдывали бы наше участие в создании глобальной структуры легализации привилегированного положения "развитых" западных стран, — а ведь именно этот процесс в последние годы бурно идет под прикрытием ООН, СБСЕ, НАТО и иных "миротворческих" объединений. **Должно быть безусловно исключено участие России в каких бы то ни было начинаниях, направленных на ограничение государственного суверенитета стран мирового сообщества. Равно как и в создании каких бы то ни было органов наднационального управления.**

Иначе мы незаметно для самих себя можем оказаться втянутыми в чрезвычайно опасную игру, когда под благовидными предлогами (защиты прав человека и тому подобными) создается механизм легализации силового — вплоть до интервенции — вмешательства в дела суверенных государств. Сегодня такой механизм выгоден только Западу, любыми путями стремящемуся закрепить свое непропорциональное влияние в мировой политике. Поддержав его создание, Россия в результате может стать и одной из его первых жертв.

Во избежание всего этого **внешнеполитический курс страны должен быть откорректирован с учетом реальных российских национальных интересов, а не фальшивых "общечеловеческих ценностей" и тому подобных мифологем.**

ЕДИНСТВО, ДОСТОИНСТВО, ВОЗРОЖДЕНИЕ

Таковы главные принципы национальной политики "патриотического центризма". Она исходит из понимания того, что "русский вопрос" есть сегодня вопрос жизни и смерти для российской государственности, что с момента Октябрьской революции 1917 года и до сего дня в стране, по сути, происходит геноцид русского народа, на разных этапах принимавший разные формы — от прямого физического и духовного террора до скрытого, незаметного провоцирования демографической катастрофы.

Для того чтобы избежать духовной гибели и физической деградации русского народа, необходима государственная программа поэтапного оздоровления национальных отношений в России. В свою очередь, оздоровление национальных отношений в стране может произойти только в случае восстановления духовной и физической жизнеспособности русского этноса.

Первым шагом на этом пути должно стать безусловное воссоединение русского народа в рамках единого государственного тела. То положение дел, которое сложилось в результате развала СССР и предательства нашим правящим режимом своих соотечественников в "ближнем зарубежье", является совершенно нетерпимым и не может продолжаться долго. **Двадцать пять миллионов русских, отсеченных от России нелепыми ленинско-сталинскими границами, — это наш национальный позор.** Именно поэтому требование мирного восстановления национального единства должно стать нашим главным, первейшим лозунгом в области национальной политики.

Однако механическое, формальное объединение в границах нового российского государства само по себе никаких проблем не решит, а лишь создаст необ-

ходимую основу для их возможного решения. Поэтому **следующим этапом "русского воскресения" должен стать этап морально-психологический.** Наш народ, обманутый и ограбленный, оглушенный русофобствующей пропагандой, должен вернуть себе утерянное чувство собственного достоинства, чувство национальной гордости (но не гордыни!), надежду на будущее и сознание своего исторического своеобразия, своего промыслительного предназначения.

Только после этого может идти речь о настоящем возрождении России. Здесь мы опять прикасаемся к глубочайшим религиозным основам ее бытия, к тому духовному фундаменту русской жизни, каковым на протяжении тысячелетия являлась Православная Церковь со своим смиренным, мистическим, сокровенным знанием важнейших тайн — от порывов и скорбей отдельной человеческой души до судеб мироздания в целом.

Поэтому **естественным завершением процесса нашего национального выздоровления должно стать религиозное возрождение русского общества.** Ибо только тогда обретет вечный смысл наше национальное и государственное бытие, только тогда в мощном державном теле современной, технически передовой, политически и экономически независимой России оживет древний, чистый и светлый дух Святой Руси.

ИНИЦИАТИВА, СОБСТВЕННОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

Приверженность этим началам определяет успех экономического развития страны. Притом **патриоты должны ясно и недвусмысленно сказать людям: никакого возврата к удушающей хозяйственной системе "казарменного социализма" не может быть.** Нам вовсе не нужны пустые прилавки магазинов в сочетании с сетью "спецраспределителей" для чиновничье-бюрократической верхушки. Но в то же время для нас столь же неприемлема дикая и безудержная капитализация страны, сопровождающаяся разгулом спекуляции, обнищанием масс и вытеснением на внутреннем рынке качественных отечественных товаров зарубежной второсортицей.

В хозяйственном устройстве будущей России должны быть разумно соединены лучшие черты ее многовекового опыта, недавнего советского прошлого и современного постиндустриального общества. Это предполагает многоукладный характер экономики при наличии сильного государственного регулирования в отдельных, стратегически важных отраслях. При этом роль государства должна быть координирующей, протекционистской, но вовсе не распределительной или командной. Чрезмерная бюрократизация безнадежно губит частную инициативу, которая является своеобразным "лекарством от застоя".

Здоровое развитие хозяйственной инициативы граждан, в свою очередь, немыслимо без права собственности во всех ее видах — от коллективной до частной. Это право также должно быть обеспечено государственной защитой от каких бы то ни было посягательств и искажений. Но законодательство и вытекающая из него ежедневная экономическая практика должны быть скоординированы таким образом, чтобы хозяйственная либерализация не нанесла вреда национальным интересам страны. В разумных пределах должна быть ограничена и деятельность иностранных хозяйственных субъектов на российской территории, поскольку отечественным предпринимателям необходимы льготные условия для формирования конкурентоспособной экономики.

Вообще надо понимать, что "социализм" и "капитализм" сегодня есть понятия весьма условные, пригодные больше для политической борьбы да наклеивания идеологических ярлыков, а не для описания хозяйственных реальностей. **В экономической области важно не отрываться от конкретики, а она требует прежде всего определения стабильных и непротиворечивых "правил игры".** Частности не так уж важны — Россия обладает уникальной способностью адаптироваться к самым неожиданным условиям. **Главное — чтобы стратегия экономического развития была однозначно ориентирована на удержание хозяйственной независимости и стимулирование отечественного предпринимательства.** Остальное, как говорится, "дело техники".

РОССИЯ — КРЕПОСТЬ

Мощный политический катаклизм, разразившийся вслед за дезинтеграцией "мирового социалистического лагеря" и развалом СССР, громким эхом отозвался по всему миру, инициировав глобальные процессы, последствия которых непредсказуемы и весьма опасны. **Исчезновение одной из сверхдержав непоправимо нарушило мировой баланс.** И несмотря на то, что ближайшие последствия этого исчезновения дали Западу очевидное преимущество и принесли ему немалую выгоду, долгосрочные прогнозы остаются очень тревожными для всего человечества.

Количество горячих точек и конфликтных зон на планете резко возросло. Геополитический конфликт Восток — Запад, питавшийся идеологическими разногласиями, уступил место быстро обостряющемуся конфликту Север — Юг, базирующемуся на растущем материальном расслоении между небольшой группой "развитых" стран северного полушария и огромным большинством нищающих, запутавшихся в долгах государств Азии, Африки и Латинской Америки. Очаги серьезных конфликтов запылали внутри самой Европы — этой цитадели респектабельности и благополучия.

Все это позволяет сделать вывод, что **мир приближается к порогу серьезного кризиса.** Подобную перспективу признают даже такие крупные идеологи "нового мирового порядка", как генеральный секретарь конференции ООН по окружающей среде и развитию Морис Стронг или Збигнев Бжезинский, бывший помощник президента США по национальной безопасности, заявивший недавно, что "сегодня все мы стоим перед одной общей проблемой — растущей глобальной смутой". По мнению Бжезинского, в период, последовавший за окончанием холодной войны и формальным завершением идеологического противостояния, мы оказались перед лицом нового политического раскола. Эта опасность угрожает большей части человечества.

Соответственно, совершенно беспочвенной выглядит сегодня эйфория относительно светлых перспектив "новой демократической России в сообществе цивилизованных государств", усиленно раздуваемая политическими деятелями определенного толка. **Если мы хотим выжить, мы должны готовиться к борьбе за это выживание, к испытаниям длительным и суровым.** Исчезновение враждебного идеологического отношения к России ни в коем случае не создаст "атмосферы безграничного доброжелательства", ибо будет быстро замещено противоборством экономическим, политическим и национальным. **Мощная, самостоятельная, конкурентоспособная Россия никому, кроме нас самих, не нужна.**

Как бы медоречивы ни были наши иностранные партнеры и компаньоны, собственные геополитические, военные и коммерческие интересы будут у них всегда на первом плане. Мы же должны научиться оборонять интересы свои, российские. "Россия — крепость; иностранец — гость; народ — хозяин" — такой лозунг вернее всего соответствует требованиям времени.

И нечего бояться, что, призывая строить "Россию для россиян", мы неизбежно подвергнемся обвинениям в национализме и шовинизме. Наш призыв носит всенародный, общегражданский характер и совершенно лишен агрессивной националистической подоплеки. Семьдесят лет страна представляла собой полигон для космополитов-авантюристов, то рвавшихся запалить с ее помощью костер "мировой революции", то истощавших русскую экономику непосильным бременем "экономической помощи" многочисленным прожорливым "друзьям" под флагом "пролетарского интернационализма". Сегодня же, судя по всему, интернационализм пролетарский стремятся подменить интернационализмом "демократическим". Может, хватит? Не пора ли, наконец, поработать на самих себя?

При этом, восстанавливая державную российскую крепость, наряду с крепостью русской духовности, здоровой экономики и прочной семьи, надо ясно сознавать, на какие силы, на какие социальные группы современного общества можно рассчитывать в этом нелегком деле. Из сказанного выше вытекает, что **при терпеливой, тактичной и взвешенной политике консолидации здоровой части общества основными движущими силами возрождения России, главными опорами "патриотического центризма" могут стать:**

— национальные предприниматели, не желающие мириться с холуйской ролью лакеев мировой промышленно-финансовой элиты, отвергающие экономическую политику удушения отечественных товаропроизводителей и превращения России в "банановую республику", сырьевой резервуар преуспевающих западных держав;

— патриотически настроенная интеллигенция страны, в силу своего высокого образовательного ценза не поддающаяся демократическому "зомбированию" с помощью рептильных средств массовой информации, способная противопоставить космополитической мифологии современности национально осмысленную модель общественного развития;

— Русская Православная Церковь, представляющая собой тот "столп и утверждение истины", опора на который гарантирует России духовное выздоровление и возврат исторической преемственности развития, прерванной катастрофой в 1917 году;

— та, постоянно растущая часть народных масс, которая очнулась от дурмана "демократического" лукавства и осознала весь драматизм, всю сложность нынешнего положения страны.

Сегодня возможность переломить ход событий еще не утрачена. Дай нам Бог умения, терпения и сил, чтобы воспользоваться этой возможностью и совместными усилиями возродить Великую Россию!

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ



ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

РОМАН

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Умирали снега в лесу, исходили на нет, и вокруг Шибанихи шумели вешние бессонные воды. Пробудились и чуть ли не за одну ночь обессилели, сбросили в реку шальную воду большие ручьи. Сбавляя неукротимый напор, вода облегченно и весело падала с глинистых полевых ступенек, крутилась и пенилась между камней. Шумела вода, разговаривала сама с собою. Крутилась и булькала заодно с хороводом больших и малых тетеревиных токов. Тот шум даже ночью сквозь сон тормошит сердца нетерпеливых и самых заядлых охотников, будоражит неокрепшие души холостяков и подростков.

Глубок и крепок сон Сельки Сопронова на весенней заре. Но похотливые образы так и лепятся один к другому. Сельке снится, что он сидит на игрище у столба, то ли с Тонькой-пигалицей, то ли с Жучковой Агнейкой, хочет обнять, пощупать ее за мягкое место, а она не дается, отодвигается от него дальше и дальше.

...Зоя, жена Игнатья Сопронова, пробудилась на самой заре. Полежала, понежилась. Ничего не думая, она неожиданно для самой себя скользнула с поповской кровати. Качнула зыбку. В одной рубахе, на цыпочках, прошла Зоя за шкап, к Селькиному спанью. Осторожно и словно бы не нарочно она приподняла стега-

---

БЕЛОВ Василий Иванович родился в 1932 году. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор повести «Привычное дело», романов «Кануны» и «Год великого перелома», книги «Лад. Очерки о народной эстетике», других произведений. Живет в Вологде.

ное одеяло и тихо, вся дрожа и сжимаясь, улеглась, но не рядом, а чуть подальше. Ей показалось, что Селька дышал так же ровно. Она тихонько к нему подвинулась, взяла его руку и положила себе на живот. Селька замер, напрягся и, еще не успев пробудиться, начал закатываться на нее. Тяжело пыхкая и не зная что делать, он оперся на руки, но Зоя-то знала, что ей делать! И он понял, что все это никакой не сон, он совсем проснулся, но обезумел. "Селя, потише! Селя, не торопись! — шептала она. — Ох, ладно, добро..." Она стонала и охала. Когда Селька, весь в поту, скатился на прежнее место, в окнах было синё. Зоя уже стояла у зыбки, через голову надевала юбку. Селька взвыл... Она обернулась, громким шепотом начала утешать:

— Дурак, пошто ревишь-то? Чево испугался-то, ведь мы свои. Вот, мужиком стал, а то што... Не сказывай никому! Сейчас Таня кривая придет...

Селька перестал реветь, может быть потому, что в зыбке надрывно орало и корчилось новое беспокойное существо. И Таня — старуха с бельмом, босиком по холодным лужам, торопилась, наверное, в поповский дом, тыкала клюшкой то влево, то вправо. Вот, уже в дверях! Шмыгает носом. "Глаз-то у старухи один, — думает Зоя, — ничего она не увидит..."

Токуют вокруг Шибанихи полевики, шумит вода в поповской яруге. Зоя ухмыльнулась и заторопилась к старому дому, чтобы истопить печь старику. Как будто ничего не случилось, как будто бы так и надо.

"Затопить, да бежать молоко принимать! — мелькает в бабьем уме. — Ужотко Игнатья, может, домой отпустят. А ежели не отпустят? Селька-то... заревел, как ребенок..."

Токовали вокруг Шибанихи у самых гумен хулиганистые развеселые тетерева.

Киндя Судейкин с ружьем тащился с поля, на плече сразу два тетерева.

— Экие птички баские. — Зоя поздоровалась. — Продай одну-то!

— Пощупать дасси? — Остановился Судейкин. — Сразу обеих и отдам!

Зоя не остановилась, хохотнула на ходу и дальше, к приемному пункту. Кинде подумалось: "Чего это она веселая без Игнахи-то? И бегает споро, будто наскипидарили".

Сережка Рогов, в сапожонках, с вечера промазанных дегтем, торопился в школу, в Ольховицку. Когда увидел охотника, остановился. Глядит, и рот не закрыт.

— Эй, Серега, много ли дней у Бога?

Кривясь от тяжелой набитой книжками холщовой сумы, школьник с места, по-медвежьи затрусил к отводу. Киндя вздохнул. Припомнилось, что сам-то он ходил в школу всего полторы зимы. Не лежала душа к арифметике, взял да в святки однажды и не пошел. Отцу с маткой это было и надо. В тот же день поехали по дрова. "А может, на Сталина бы выучился, — подумал Судейкин. — Ну, не на Сталина, дак на Игнаху-то всяко бы вытянул". Киндя Судейкин завидовал Сережке Рогову, Сережка завидовал Кинде. Так получалось. "Одна Зойка Игнахина никому не завидует, — подумалось опять Кинде, и он свернул к своему дому. — Вишь, как она бежит по улице-то, ровно коза..."

Зоя откинула от скобы батог, вскочила в сени, под лестницу, чтобы сразу набрать дров. "Селиверст! — послышался из избы голос больного и старого Павла Сопронова. — Селиверст! Кто пришел-то?" Она не ответила. Не знал бедный Павло Сопронов, что когда он звал младшего, то получалось "семь верст" и что Судейкин давно придумал стишок, поскольку от их старого дома до Поповки, куда перешли жить сыновья, не наберется и сорока сажен, не то что семь верст. Этот стишок Киндя терпеливо приберегал к очередному игрищу. Но и без того вся деревня смеялась над невесткой Павла Сопронова, потому как она и у себя топила печь не утром, а посередь бела дня. А ту, что у свекра, иной день не топила и вовсе.

— Селиверст!

— Ну, чево, чево кричишь-то?

Зоя бросила дрова у шестка. Она открыла вьюшки и печную задвижку, нащепала лучины. Вскоре приятно и как раньше когда-то запахло дымом.

— Не приехал Игнашка-то? — спросил старик.

Ей не хотелось ничего отвечать, но Павло Сопронов не отступал:

— Ево куды вызвали-то?

— А не куды! Лежи да лежи.

Павло Сопронов замолк. Лежал он на лежанке около печи, под старым тулупом. Постеля под ним давно протухла. Он него на всю избу пахло мочой, но он даже не смел попросить, чтобы свозили в баню на чунках. "До пожара еще возили, а теперь вот и снег растаял, и баня сгорела, — думает Павло. — Попросить бы Никиту Ивановича, разве не дали бы Роговы истопить? Дак нет, и думать нечего. Вот ежели бы Игнашка приехал... Не дюж стал и до ветру сходить, чего дальше-то? Нет для меня жизни, нет и смерти..."

Печь сильно трещала, и ему казалось, что невестка еще не ушла. Но Зои уже не было. Он снова забылся. Опять хлопнули двери. Невестка принесла урезок хлеба и ставок простокваши. Сунула прямо под рыло: "Хлебай, руки есть!" А и руки трясутся, ложку не держат, и сел на лежанке еле-еле. Поговорить бы, спросить, куда Игнатей уехал, нет, усвистала вдругорядь. И Сельки не видно.

Старик не стал хлебать простоквашу, поставил ставок на скамью. Пожевал хлебного мякиша, лег и отвернулся к печной стене. Задремал. Он не слышал, как невестка тихо остановилась около лежбища. "Спит или нет? — мелькнула в ее уме. — Спит вроде". Она отошла в куть, заглянула в печное устье. Угли рдели с краев, белая бахрома золы шевелилась, а посреди пода они плавились золотом. Синие огоньки струились вверх.

Зоя Сопронова ничего не думала и ничего не чувствовала, когда закрывала первую вьюшку и вторую. Чтобы задвинуть задвижку, надо было лезть на печь, перешагивать через старика на лежанке. Она решила оставить задвижку как есть, вроде бы для того, чтобы выходил угар. Она даже поверила в то, что угару не будет, потому что задвижка вверху не задвинута. А то, что дымоход уже перекрыт вьюшками, об этом она нарочно не думала. И спокойно ушла...

Павло Сопронов лежал в горькой забывчивости с одной мыслью: о сыновьях. "В кого экие псы уродились? Матка боялась тележного скрипу. Разве в ту пору пошли, в дедкову". Вспомянул старик двух своих дедов, оба крестьяна были! Дошел до трех своих прадедов, четвертого усечь не сумел. Кто он, четвертый-то? Может, он и был басурман либо картежный пьяница, а нынче в Сельке с Игнашкой и откликнулся... С прадедов память, как огонь по сухой траве, перебежала на бабок с прабабками да тут и погасла. Павло Сопронов опять забылся и слезы его обсохли. Только звон в ушах нарастал и глубинно тревожил его. Но вот и эта тревога отодвинулась вдаль вместе с памятью. Он еще дышал сладким угарным воздухом, и борода шевелилась, но запредельные и широкие, невыразимо отрадные видения влекли к себе все сильнее, они не давали места здешней пустой тревоге. В последний раз с неохотой он попробовал пробудиться и вернуть себя в тутошний мир. Но ему так не хотелось этого делать! И он не стал пробуждаться.

* * *

Днями, дома и в школе, не оставалось никакого терпенья. Как усидеть за партой, ежели прилетели скворцы и пигалицы? Запруду бы на ручью сделать, поставить колесо с лопатками. И вышла бы своя невзаправдашняя мельница. Лодка у бани, уже просмоленная дедушком, лежит и ждет. Носопырь не однажды ходил в лес гонить березовый сок. А ты сиди и учи! Решай эти нудные столбики на деление и умножение, тверди новое стихотворение.

— Рогов Сергей, у тебя что, шило в заднице? — громко сказала учительница Дугина. Весь класс оглянулся на заднюю парту, где сидели Сережка с Алешкой Пачиным. Девчонки прыснули. Сережка покраснел, уши от стыда горели как ошпаренные. Его вызвали к доске читать наизусть. Стихотворение еще вчера было выучено назубок, но из-за этого шила опять кто-то хихикнул. Сережка вспомнил, что Шилом зовут Сельку Сопронова, и уверенность потерял. Набрал в себя побольше воздуха, начал читать:

Раз попалась птичка — стой!
Не уйдешь из сети.
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете.

Дальше, как назло, все слова из головы вылетели! Алешка на задней парте подсказывал, делал движения ртом. Разве поймешь?

Ах, зачем меня держать,
Миленькие дети,
Отпустите погулять,
Развяжите сети.

Не отпустим, птичка, нет,
Оставайся с нами.
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями.

Сухарей я не хочу,
Не люблю я чаю,
В поле мошек я ловлю,
Зернышки сбираю...

Напутал бы Сережка еще больше, если б не выручил переменный звонок...

Ничего в мире не было приятнее этого заливистого медного звона, обрывающего последний урок! Орава выпросталась из класса с гвалтом, будто галчиная стая. Хорошо, что успели записать задание на дом.

Сережка по ошибке сграбастал Алешкину сумку: "Ладно, хватай мою, потом переменимся!" Выскочили.

На улице чей-то ольховский опять было затянул свое:

"Пачин-кулачин!" Дружки не стали связываться, даже не оглянулись, и дразнить сразу же перестали. Быстро очутились у Алешкиной бани.

Алешка не захотел больше ходить по миру. Пожил недолго в Шибанихе и опять к матери в Ольховку. Тут хоть школа близко, а Серега отмеривал по двенадцать верст каждый день.

Катерина лежала в темноте на верхнем банном полке. Она зашевелилась, когда ребятишки залезли в баню:

— Сережа, и ты тут? Олёша, батюшки, пожуйте вон хоть сухариков. Водичкой размочите...

Голос ее был печальным и слабым. У Сереги сдавило горло.

— Сережа, скажи Павлу-то, когда домой-то придешь. Чтобы пришел либо приехал. Не наживу ведь я долго-то...

Сережка посулил сказать и заторопился домой. Алешка запросился с ним в Шибаниху. Мать сначала не отпускала, но, когда начали просить оба, махнула рукой:

— Иди, только на одну ночь! Долго там не гости...

— Не! — обрадовался Алешка. — Нам на уроки завтре!

Не долго думая, по сухарю в зубы, сумку Алешкину на гвоздик и сами на улицу. Что им эти шесть верст? Устали, правда, потому что шли без всякого продыху, а у шибановского моста и усталость пропала. Побежали сперва не домой в деревню, а ударились сразу под гору, к реке и к лодкам.

Сережка видел, что за день расцвел первый цветок зеленой калужницы: сама в воде, а цветок горит на поверхности желтым огнем. Другой огонек тоже вот-вот проклюнется.

Вода летела, стремилась дальше. Прозрачные струи свивались в тугие водяные жгуты, эти жгуты вились, омывали огородные колья и большие камни, лежавшие летом далеко от главного речного берега. Вода расчесывала траву невидимым гребнем. Вот в такой-то траве и прячутся зеленые щуки! У ребят захватило дух, когда увидели настоящую большую рыбину. Она шевелила хвостом и шла по траве против течения... Алешка заверещал от восторга:

— Лови, Серега, лови! Ух, гляди какая...

Синее небо с белыми облаками отражалось дальше в ровной воде, и щука пропала в тех облаках.

Около бань вода подступила к самым порожкам. Носопырь вылез на свет и грелся на солнышке. Белую редкую бороду шевелило холодным весенним возду-

хом. Кривой глаз краснел и зиял ужасным своим провалом. Здоровый глаз старика хоть и слезился от ветра, глядел приветливо:

— Чьи вы, робятушки? Один-то роговский, вижу. Идите сюды, чего-то дам.

Мальчики осторожно приблизились. Носопырь встал с чурбака и сходил в предбанник:

— Вот, на-ко вот. Тибе, Сергий, и тибе... Не знаю, как кличут-то...

— Олёшкой! — почти заорал Серега и взял из руки старика ивовую свистульку.

— Ну, ну, ладно, коли. Меня тоже раньше Олёшкой звали...

Ребятам не терпелось бежать к лодке. Но свистульки Носопыря удерживали их на месте. Свистульки они умели делать и сами, только ножик у дедка надо просить. Еще вчера собирались, да не успели. И вот, кривой Носопырь опередил, сделал быстрее. Поет свистулька не хуже скворца. Да что из того? Не самим сделано... Все равно, убегать было нехорошо, неудобно, надо было сделать что-то для старика.

— Ну, бегите, бегите, коли... — Носопырь отпустил ребят. — Мне ничево не надо... я вам ишшо сделаю...

У другой бани на теплом пригорке гонил смолу Савва Климов. Большая глиняная корчага, набитая смоляными кореньями, в перевернутом виде лежала на железном противне. Противень был сделан с лотком, лежал на кирпичах. Внизу и вокруг корчаги горели дрова. Под лотком уже стояла глиняная кубышка.

Сережка, как большой, важно спросил:

— Когда, дедушко, потечет?

— Потечет-то? — откашлялся Климов. — А вот как накопится, так сразу и потечет.

Хотелось поглядеть, как потечет из корчаги смола. Но когда еще она потечет? Неизвестно. А рядом, у своей бани, лодка, а там наверху, в огороде, нора, откуда брали глину для обмазки печной трубы. Если срезать длинный гибкий ивовый прут, насадить на самый кончик глиняную маленькую тютьку, то можно фуркнуть ее далеко-далеко, даже на тот берег. Алешке надо еще и в поле сбегать, к брату Павлу, на мельницу. Она и толкет, и мелет, второй день махает крыльями. Что делать? Куда сперва, куда после?

Но у обоих сразу екнуло сердце.

Строгий голос Аксиньи, Серегиной матери, долетевший сверху от дома, отнесло в сторону весенним ветром, заглушило голосами птиц и шумом вешней воды. У обоих словно бы что-то оборвалось внутри. Может, поблазнило? Нет, кричат взаправду.

Зовут домой. Эх, видели щуку, а даже у лодки не были. А в поле сходить к березам, чтобы нагнать в котелок свежего соку, теперь об этом и думать нечего...

У Сереги ныло в груди от материнского крика. Он оглянулся на ольховского гостя, ища спасения. Но тот и сам не знал, чего делать, куда ступить. Оба потерянно поплелись от реки в гору.

Аксинья, с растрепанной головой, вылетела из летних ворот, в ступнях на босу ногу:

— Ты где шляешься, сотоненок! — закричала она еще издали. — Тибя где бесы-ти носят, нечистой дух? Чево встал как пень? Тибя где это леший носит?

Ругань сыпалась вроде бы на одного, но Алешка-то знал, что ругают двоих. Серега в ужасе, уже хлюпая носом, приблизился к матери. Никогда он не видел ее в таком злом неприятном виде, никогда в жизни... Она схватила одной рукой еловый пруток, оставленный дедком от подстилочной хвойной лапы, другой рукой загребла голову сына под мышку и начала бить по спине и ягодицам... Она остервенело хлестала Сережку, сама вся в злобных слезах, крича на всю Шибаниху...

— Бесы, лешие рогатые, сотоны! Бесы, лешие...

Алешка всем телом чуял каждый удар по Сереге, он знал, что божатка Аксинья хлестала Серегу вместо него.

— Мама, ты што это делаешь, разве с ума-то сошла!.. — услышал Алешка голос Веры. Серега вырвался из материнских рук. В страшном отчаянии, не помня себя, побежал он прочь от родного дома. Слезы его душили, он бежал прочь, не зная куда. Никогда, никто из родных не трогал его даже пальцем! Все любили его, а тут мать, да еще на виду у Алешки. Еловым прутом!

Сережка убежал на гумно и зарылся в солому. Вера видела, как брат оставил на грядках даже холщовую сумку с книжками. Аксинья накинулась теперь на зятева брата Алешку, стоявшего в каком-то оцепенении:

— А ты чево стоишь? Чево рыло выставил?

— Мама, опомнись! — Вера Ивановна бросилась к матери, пытаясь ладонью зажать искаженный злобой материнский рот. — Маменька, не говори ничево...

Алешка тоже поплелся, не зная куда, наверное, обратно в Ольховицу. Ведь он был гость в этой деревне...

Большой живот мешал Вере Ивановне, слезы давили горло.

— Олёша, остановись! — кричала она. — Олёша, не бегай, погоди, чего-то скажу...

Но Алешка, не останавливаясь, уходил прочь.

Аксинья хряснулась лицом вниз на прогретую солнцем прошлогоднюю картофельную ботву и начала причитать. Руки ее верстали влажную черную землю. Кокова развязалась, и волосы раскидались:

Ой, да несчастная ты моя головушка,
Ой, да разнесчастная пошто уродилась-то я.
Ой, не троньте меня, нехто не трогайте.
Ой, куды мне тепере деваться-спрятаться?

Вера Ивановна подскакивала к матери то с одного, то с другого боку, большой живот не давал наклоняться:

— Маменька, очнись! Ну, кто причитает на грядках-то? Вставай, ведь мне тебя не поднять! Ой, тошнит, ой, и в глазах потемки...

Вера на коленях стояла на грядке. Аксинья сразу оборвала причитанья, вскочила на ноги и уже сама начала поднимать с колен огрузневшую Веру:

— Верушка, Верушка... Вставай, андели! Ой, чево будет-то... Господи, спаси-сохрани...

— Мама, беги за баушкой Таней, — проговорила Вера, хватаясь за сердце. — Вроде бы время пришло. Беги, да Павла-то не зови и не сказывай. Не веди меня домой, веди в баню-то... еще не выстыла! В баню меня, тут ближе. Под гору-то я и сама... А ты за Таней беги... Да Олёшку-то вороти.... Ради Христа, вороти назад...

В бане было еще тепло с позавчерашнего. Вера опустилась на первый широкий полок, сердце начало биться ровнее. Два-три судорожных рывка вышибли память. На лбу выступил пот. Посиневшие губы чуть шевелились. Вера Ивановна шептала молитву в затемненном сознании.

— Ой, маменька, куда ты девалась-то? — закричала она в страхе и вдруг... Вдруг все кончилось. Вернулась и память, и сердце забилось ровно, как бы ничего не случилось. Она послушала сама себя и со стыдом поднялась на полке: "Господи, зря всех всполошила. Таню-то баушку зря приведут... Стыд. Маменька из-за курицы на Сережку взъелась. Сроду парнишка не колотила. Нонче еловым прутом... Господи, и чего спрашивать? Ревит маменька кажинную ночь. От тяти нет ни письма, ни грамотки, увезли неизвестно куда. Дома все из рук валится, того и гляди и за Павлом придут. А вчера запела еще и курица. Рехнулась рябутка-то, второй день поет и поет. А вить говорят, что когда курица в доме поет — к покойнику... Худо, когда курица петухом поет, хуже нельзя... Сережку кричали, чтобы курицу изловил. Ой, Господи, а Олёшка-то? Что нонче будет с ним, убежал неизвестно куда".

Ее охватил страх, она снова почуяла приближение родовых схваток. "Стыд, — шептала она сама себе. — Куда девался Олёшка-то, куда побежал? Не дай Бог ночевать не придет. Как товды Павлу в глаза-ти глядеть? Свекровушка лежит в Ольховице, едва бродит. Свезли немного харчей, а Олёшка с Сережкой иной раз оба ночуют в Шибанихе. Из школы бегают за шесть верст. Народ говорит, что Олёшка по миру было пошел, а брат — Павло корзину с кусками ногой пнул... Привел парнишонка домой. Никто слова не молвил. А севодни маменька обругала: "Чево рыло выставил?" Кабы свой был... И своендравен тоже, уйдет ведь куда глаза глядят. Господи, вот горе-то! Бежать надо, пока Павла-то нету".

— Павел, пришедший домой на третий день Пасхи, с неделю ходил по деревням, искал деньги в долг, чтобы заплатить две сотни налогу, да ничего почти не

нашел. Мельница, правда, толкла и молола. Только лучше бы она ни толкла, ни молола...

Вера Ивановна вспорхнула с места и схватила было за вересковую гнутую скобу, чтобы бежать искать Павлова брата Алешку. Да и своего брата Сережку надо было найти и приютить.

Все тело ее вдруг замерло и затем сотряслось от непререкаемо-властного внутреннего толчка. "Мама!" — крикнула она в страхе и по-звериному. И сразу забыла про все на свете. Очнулась, когда повитуха, кривая баушка Таня, уже шептала в бане молитву и шмыгала носом. Вместе с Аксиньей она хлопотала около Веры Ивановны:

— Дверинку-то, дверинку-то притвори, Оксиньюшка! Не приведи Господи, мужики-ти учуют да подсоблеть прибегут... Господи, спаси и помилуй! Кричи, матушка, кричи, не томись!

Роженица не хотела кричать. Она душила свой крик, и женщины до пота трудились все трое. Напряженно и хлопотно трудились, пока не стало их четверо. Другой прерывисто-тоненький крик как бы сразу раздвинул каленые стены роговской бани.

В деревне Шибанихе стало больше на одного человека: Вера Ивановна Рогова родила второго сына.

Того же дня, вернее, глубокой ночью, баушке Тане пришлось бежать в избу к Самоварихе. Дочь Евграфа Палашка Миронова, двоюродная сестра Павла, прямо на широкой Самоварихиной печи принесла выблядка. И к полудню из многих домов обеим роженицам люди носили по пирогу. Все поздравляли и глядели младенцев. У Роговых Таисья Клюшина разводила руками. Она только что положила на залавок свежий рыбник:

— У Палашки-то тоже доб ребеночек, только девушку принесла. Добра девушка, носик-то пуговкой, только сразу видать, что вся в Микулёнка!

— Пуговкой, говоришь? — обернулся к Таисье дедко Никита. — У Микулина-то нос не пуговкой, а как весло, все время по ветру.

Таисья не стала спорить.

Зимние рамы были выставлены. Скрипучий дьявольский голос опять прозвучал под левым окном. Рябая курица все так же, через каждые час-полтора, почуяв себя петухом, вытягивала облезлую шею. Скрипуче, надтреснуто изрыгала она нелепый, какой-то совсем дурной звук, лишь отдаленно похожий на петушиное пение.

Вера вся замерла и перестала кормить. Улыбка сошла с лица. Аксинья закидалась ухватами. Сидевшие за столом Серега с Алешкой испуганно закрыли задачник. Одна Таисья Клюшина ничего не уразумела и знай себе судачила про Палашкину девушку. Курица снова запела.

— Ну, вот што, робятушки! — Дедко Никита поднялся с лавки. — Встаньте-ко оба да и пойдем... с Богом! Шапки надиньте, сапожонки обуйте...

Ребятишки сделали все, как было сказано.

— Ступай, Сергей, ты первой! — сказал дедко в сенях. — Бери тятькин топор, он вострой... А ты, Олексий, божий человек, лови ее, стерву. Стой, погоди! Одному не зловить... Надо заганивать.

— Дедушко, а пошто поет-то она? — в страхе спросил Серега.

— Да, вишь, петуху позавидовала. Вон, Зойка Сопронова, тоже вроде нашей рябутки. Остриглась как савдат, шапку носит мужичью. Заганивай в угол! Ловите, пока молчит...

Роговский черно-красный петух дрогнул полукружьем своей черной с зеленым отливом косы, потряс розовой бородой и приготовился спеть. Но раздумал вовремя. Алешка начал заганивать курицу в угол между избой и хлевом. Поднялся оглушительный гвалт. Рябутку загнали-таки в угол, и дедко набросил на нее холщовый мешок. Затем он взял ее за лапу и подал Сереге:

— Не хороша длинная речь, хороша длинная паволока...

Вот вам курица, а вот и топор! Идите под съезд, там чурка широкая.

— Потом-то ее куда, дедушко?

— В крапиву долой! Собаки уволокут...

И дедко Никита только дверями хлопнул. Ушел в избу. Серега крепко держал

рябутку за лапу, двумя руками. Алешка тоже, растерянно, двумя руками держал топор. Осторожно стали продвигаться под взъезд. Там Серега стал класть курицу на широкую чурку, на которой тесали хвою.

— Ты тюкай ее по шее, а я подержу!

— Давай, Серега, ты лучше, а я буду держать, — заупрямился Алешка. Курица подала голос.

— Руби скорей, а то опять запоет, — торопил Серега. — Эх, ты! Давай топор мне!.. На, подержи ее...

Серега одной рукой потянулся за топором. Алешка хотел взять обреченную на смерть курицу из второй руки приятеля, когда курица встрепенулась и выскочила из плена. Бросив топор, Серега ринулся за нею, Алешка тоже, но рябутка с нормальным куриным гвалтом взлетела на изгородь. Только подкрались к ней поближе и хотели схватить — она слетела. Ребята в отчаянии через всю улицу погнались за нею. Рябутка с громким кокотом то бежала, то летела от них. Только бы схватить, а она взлетела на изгородь у старого дома Сопроновых. На изгороди она долго кокотала, как бы ругаясь и негодуя. А когда Алешка совсем близко подкрался к ней, курица с криком перелетела через грядку. Серега перелез в сопроновский огород...

Алешка стоял на другой стороне. Оба переводили дух, тяжело отпышкивались, а рябутка, будто ничего и не произошло, уже порхалась на сопроновской грядке. От злости Серега бросился на нее всем телом, но она с прежним криком опять выскользнула. И юркнула в сопроновскую подворотню. Сережка не мог удержать злых и гневных слез, он вместе с Алешкой ринулся в сопроновские, то есть чужие ворота.

Летала около сенника, шарахалась и квохтала на широкой пустой повети свихнувшаяся рябутка. За ней бросался туда и сюда разъяренный Сережка Рогов. Алешка Пачин всеми силами подсоблял приятелю и родне. Серегу вдруг кто-то сильно схватил за шиворот.

— Ты чего тут забыл? — грозно спросил Селька, неизвестно когда объявившийся на повети. Он держал Серегу за ворот. — А ну-ко, пойдем в избу...

В избе Селька выпустил ворот арестованного соседа. Все трое, округлив глаза, замерли у порога. Мертвый старик с оскаленным ртом недвижно глядел в потолок. Глядел и словно все еще думал о чем-то, словно читал по этим закоптелым щелям и сучкам какую-то надпись, раскрывающую глубокую и ужасную тайну.

II

Не полночный петух и не лошадиное рассветное ржанье пробудили старую бабу Самовариху. Ее подняла с бобыльского ложа раным-ранешенько зеленая вешняя сила... Бывало, еще и на печи Самовариха полежит, прежде чем лучину на растопку щепать. Сегодня с постели как ветром сдуло. В темноте, белея холщовой рубахой, шептала молитву. За веревочку качнула зыбку с Палашкиной дочкой, сама рухнула на коленки. Передний угол с божницей заставлен кроснами. Самовариха своими словами молила Богородицу подсобить. Тут и запел под печкой петух.

Палашка, спавшая на полу, проснулась и затаилась. Подумала: "Экая рань. Куда она поднялась ни свет ни заря?" Палашкина мать Марья с Николина дня ходила где-то по миру. Палашка и Самовариха жили вдвоем. Каждый день по очереди садились они за кросна, ткали холсты. Обряжались у печи тоже которая вздумает. Невелик обряд: нагреть воды в чугуне и заварить для коровы брюквенный лычей. Теплым пойлом напоить корову и суягную овцу, лошадь сгонять к речной проруби. Сами в постные дни питались картошкой да репой, по воскресеньям затевали то полужитные пироги, то блины из овсяной муки. И толокна сколько-то было, и льняного постного масла. К Пасхе и сметанки скопили, а маменька все ходит и ходит. "Где она, бедная? — думает готовая плакать Палашка. — Где тятя страдает, живой или давно уж мертвый?"

Плачь не плачь, а жить надо.

Самовариха поднялась на ноги, большая, как медведица, косматая. Почуяла, что Палашка зашевелилась, прошептала:

— Спи, спи, Палагиюшка! Не гляди на меня-то, лежи...

Натянула Самовариха через голову продольный свой сарафан, помыла лицо за печью из рукомойника, расчесала и завязала на затылке сивую кокову. Обулась в сапоги, надела старый казачок и перекрестилась еще раз, берясь за дверную скобу: "Господи, помилуй миня грешную!"

Вешняя сила летает над крышей, вешняя сила шумит на реке ровным широким шумом. Будто бы самовар закипает... Полевики уркают со всех сторон белого света. За воротами открылась ей золотая и розовая, нет, не заря! Подымалось с востока бесшумное золотое зарево, широко и властно! Бесконечная голубизна небесная открывалась еще страшней и непостижимей. Ничто не пугало шибановскую бобылиху, ничто не остановило.

Она глубоко вдохнула этот свежий и синий воздух, пахнущий водой, землей и травяными корнями, вдохнула и всплеснула руками:

— Господи, благодать-то какая!

... Соха с неделю ждала под взъездом. Не тятя покойничек учил дочерь соху настраивать, не муж, не брателко. Сама училась. Дедко Никита Рогов подсказывал. "Вот шорничать-то Самовариха не навыкла! — подшутила она сама над собой. — Вишь, узда сыромятна, поводки-то веревочны..."

А землю орать выучил муж Трофимушко... Успел перед самой войной. Как увезли на битву с Вильгельмом, так и с концом, ни слуху ни духу.

Самоварихе было некогда утирать слезу на реснице: мерин Сивко заржал в стойле. Открыла ворота, выпустила старика на свет, одного отпустила на водопой. Тут показался слепящий солнечный край, и скворцы самосильно запели, а сердце забилось еще шибче. Она двумя рывками выворотила из-под взъезда тяжелую соху. Мерин пришел с реки и сам сунул в хомут большую свою голову, будто и ждал всю зимушку одного этого.

Самовариха запрягла, привязала к удилам концы вожжей.

Взнуздывать не стала, приподняла за кичиги соху, вставила ее в деревянный полоз и вслух молвила:

— Ну, батюшко! Теперь ты ступай с Богом!

И мерин Сивко забыл про свою старость. Он сам знал куда ступать, где поворачивать, в какие лазеи и в какие прогоны. В коня тоже вселилась веселая вешняя сила. Птичьи клики вели его к родному повытку, к земле, которая приготовилась к пашне сегодняшней ночью.

Деревня еще спала, не спали одни петух и скворцы. И никто не увидел, как чья-то баба с сохой объявилась за околицей в шибановском поле. "Господи, спаси и помилуй!" — произнесла Самовариха, а Сивко не стал ждать понукания. На первую черную борозду опустился старый и опытный смоляной грач. Он деловито, без всякой спешки тюкнул желтым своим носом.

* * *

Тем же часом от деревни Залесной в шибановскую сторону неспешно шла горбатая ольховская нищенка Маряша.

От погоста к погосту, от гумна до гумна, полями и пожнями, по сосновым горушкам, иногда и поскотиной, по коровьей либо конской тропе. Не в первый раз. Тихонько ступает Маряша на двойные еловые лавнины, поперечные болотными низинками и маленьким речкам. На левой руке плетеная боковушка, в правой легкая клюшечка. Новые берестяные ступеньки на ногах, а не какие-нибудь холщовые, стеганые на куделе шоптаники. Они отпечатывают на бестравных местах клетчатый след, любому рассказывают, куда и откуда бредет ольховская богомолка Маряша. Остановится нищенка, раздвинет клюшкой старую кулу: не вырос ли молодой сморчок? А то посидит на теплых сосновых иголках, послушает рябчика-свистуна, да и сама невзначай запоет:

Ехали казаки, ехали казаки,
Ехали казаки со службы домой.
На плечах погоны, на плечах погоны,
На плечах погоны, на грудях ремни.

Увидит Маряша очередную колокольню и перекрестится: "Слава Богу, Никола-батюшко на виду. Все ближе да ближе к дому..." А где у Маряши дом, у Ильи или у Николы, у Михаила-архангела или у Василья-великого? И сама не знает... Пока был жив отец Ириней, постоянно обреталась в Ольховице, перемогала около храма большие морозы. "Нонче-то где уж придется, — вслух говорит Маряша. — Ночевала в Залесной вот, а ввечеру, Бог даст, доплетусь и до Ольховицы. Да нигде крещеные люди не оставят, возьми хоть Залесную, хоть Шибаниху..."

В шибановском поле Маряша отдохнула, погрелась на солнышке у мироновского гумна. Жаворонки в разных местах поднимались высоко в небо. И ведь каждый поет, старается как на клиросе! Пигалицы пищат, кулики заливаются. Да вроде и пахать крещеные выехали. Маряша издали углядела сивую чью-то лошадь. "Господи, царица небесная матушка, люди пашут, а я сижу!" — И горбатая Маряша заторопилась от мироновского гумна.

...Она заходит в крайний дом, не отходя от порога, крестится на икону. Кусок воложного пирога, поданный хозяйкой, она бережно укладывает в боковушку, укрывает чистой холщовой тряпицей. В другом доме ворота еще заперты, в третьем подали два овсяных блина. В четвертом кучилявится дым из трубы. Большухи в избе нету, ушла к скотине. Володя Зырин — здешний прикащик — сонный вышел из другой половины:

— Ну вот, пришла и сарафанная почта! Где, бабушка, была-ночевала?

— В Залесной, милой, в Залесной.

— Чево народ говорит?

— Не знаю я, батюшко, ничево не знаю!

— Все знаешь, не ври!

Пошел Володя-прикащик в куть, отрезал от каравая большую горбушку, посолил добела и подал нищенке.

— Дай тибе Бог здоровья да невесту хорошую, — сказала Маряша и перекрестилась еще раз. Она вышла на теплую солнечную улицу. На очереди была избушка старухи Тани. Но кривая Таня и сама собирала милостинки, у нее избушка на клюшке.

У Нечаевых подали старого пирога, зато с рыбиной, у Роговых напечены картофельные рогульки. Самовар шумит у шестка.

Вера подала Маряше большую еще теплую рогулю. Аксинья оговорила дочерь:

— Зови ее от дверей-то! Садись, Маряша, поставь на лавку боковушку-то да и садись. Вон самовар кипит.

Вера про себя ухмыльнулась: "Ой, маменька-то... Нищенок начала привечать, грех замаливает. Все мается, что Олёшку из дому гнала да Сережку зря выстегала".

Павла в избе не было. Дедко Никита колыхал скрипучую зыбку, где валетом лежали два его правнука. Маряша попросила веревочку:

— Давай-ко, Никита Иванович, я покачею деток-то.

— Покачей, покачей пока. Да оне, вишь, санапалы, пробудились оба. Ванькя, и ты гледишь?

Дедко погрозил зыбке корявым пальцем. Он спросил то же, что и Володя Зырин:

— Чего, Маряша, в народе-то говорят?

— Не знаю, батюшко, Микита Ивановиць, не знаю. Знаю, што в Залесной тожо пахать выехали.

Маряша перепугалась из-за того, что сказала неправду. Мысленно, ругая себя, она начала молиться. Бес, видно, дернул ее за долгий язык, ведь не видела, что в Залесной пахать-то выехали!

Дедко аж крякнул. Сердито и недоуменно уставился на Маряшу. Серега с Олёшкой замерли, отложив школьные сумки.

— Тожо... — Дедко Никита привскочил с лавки. — А в Шибанихе хто выехал?

— Не знаю, Микита Ивановиць, про Залесную-то, а в шибановском поле лошадь вроде бы сивая.

— Верка, беги за Пашкой! Нет, погоди, я сам...

И Никита Иванович не стал даже заваривать чай, что любил больше всего на свете. "Вот, при себе-то и пожить", — говаривал он, когда держал на корявых

пальцах горячее блюдце с янтарным напитком. А тут... Про все позабыл! Торопливо обулся и был таков.

Самовар шумел на столе, рогули горячие во весь залавок в кути, а за столом ни дедка, ни Павла. Вера усадила за стол Серегу с Олёшкой.

— Неужто пашут в Залесной-то? — Она взяла младшего на руки, выпростала из-под рубахи большую белую грудь. Молоко текло по холстине. Младенец начал жадно ухлебывать, не успевая глотать.

— Пашут, матушка, пашут! — сама себе противореча, опять сказала Маряша и качнула зыбку. — Про Залесную-то не знаю, а в шибановском поле лошадь сивая. Не реви, Иванушко, андели, не реви.

— Маменька, чуешь, чево говорят-то?

Вышла из кути Аксинья, взяла из зыбки старшего внука.

Надела на него штаны с разрезом, крохотные валеночки и красную с белым горохом рубашку:

— Вот, вот! Экой славутник у нас Иванушко, экой модник! Ну, беги, ежели не терпится.

Мальчик действительно бегал уже и кое-что говорил. Пробежал до порога. Упал, но не заплакал и добежал обратно к бабушке. Аксинья успела тем временем выставить чайные чашки. Не утерпела, поставила внука на лавку, взялась за его ручонки и, хлопая ими, запела считалку:

Раз-два, три-четыре,
Три-четыре причастили.
Пять-шесть, бьем шерсть.
Семь-восемь, сено возим.
Девять-десять, деньги весят.
Одиннадцать-двенадцать,
На улице бранятся...

— Садись, матушка, садись за стол-от! — Аксинья отпустила ребенка. Маряша помолилась шепотком и подсела на угол. Вера переменила младенцу грудь и тоже подвинулась к самовару. Аксинья достала из шкапа сахарницу.

— Как младеньчика-то назвали? — спросила Маряша.

— Да не назвали ишшо! Все думаем.

— А вот, матушка, я вам чево скажу-то...

Нищенка поглядела на Сережку с Алешкой, усердно дующих в чайные блюдца. Аксинья все поняла и подставила ухо. Она долго слушала шепоток нищенки, затем начала выпроваживать из дому Серегу с Алешкой:

— Идите в школу-то, идите ради Христа! Да пирога-то с собой возьмите...

Вера не успела допить свою чашку: тайная новость, сказанная Маряшей, и ее застала врасплох, как застала врасплох явная новость дедка Никиту....

Аксинья совсем растерялась. Она метнулась зачем-то в чулан, потом в сенник. Хотела одеть праздничное, но одумалась и побежала советоваться к Таисье Клюшиной. Вера велела Маряше качать младенца и тоже пропала. Олёшка ушел в школу, а Серега остался дома. Бродил по сараю, не знал, что ему делать. Болела у него душа, просто раздваивалась! Олёшка-то убежал в Ольховицу, там сегодня праздничный первомайский утренник. Сегодня надо читать стихотворение, а Серега дома, потому что дедко еще зимой посулил, что научит пахать... Сережка нарочно пошел на обман, сказал, что в школу ему не надо, а Олёшке надо в Ольховицу, чтобы матку проведать. Лежит, мол... но в школу-то надо было обоим, там и подарки будут, и стихотворение давно выучено: "Мы с тобой родные братья, ты рабочий, я мужик, наши крепкие объятья — смерть и гибель для владык". Эх, не знаешь, что делать! Может, за Олёшкой вдогон? Нет, будь что будет. Дедко послал за Павлом, чтобы останавливал мельницу и шел домой. Пахать поедут!

В то утро Павел впервые после приезда и после новой болезни уковылял на мельницу. Еще до того, как бабы затопили печь и обрядили скотину... Молоть рожь и толчи овес было нынче некому, кроме Роговых. Ольховская отцовская толчея сломалась, а починить не могут. Рендовая водяная тоже стоит, вода спущена. Даже устащенцы возили молоть в Шибаниху, и Никите Ивановичу отбоя не было от помольщиков.

На ночь мельница была остановлена дедком. Крылья были приперты кольями. Павел взобрался по лестнице на круговой настил, с которого подымаются по лесенке на амбарную площадку самой мельницы. Лесенка оказалась над северной стороной настила, поскольку дедко Никита толк овес за счет южного ветра. Павел оглядел узкий рубленый ряж, на коем вращался мельничный остов. Не пора ли мазать колесной мазью? Нет, дедко уже залил смазку куда надо. Все углядит Никита Иванович, все сделает вовремя.

Наверху, там где ворот для подъема мешков, тоже все чин-чином. Веревка с железным крюком не болтается как попало. Дверка внутрь мельницы плотно закрыта. Здоровой ногой Павел толкнул дверь, она оказалась не заперта. Шибановцы и в колхозе не боятся воров. Павел взял из ступы щепоть овса — чей такой крупный, такой сухой? Дедко собирался толчи до позднего вечера. А вот и мучной ларь. Ручеек, от коего держится вся человеческая жизнь, не течет сегодня, молчат остановленные жернова. Ветер и вчера был слаб, чтобы работать на оба постава. Вспомнилось, как равными, сливающимися в один поток горстями жернова выбрасывали муку в деревянный лоток. Вспомнилось, как сыплется, течет в деревянный ларь мучная струя перемолотой ржи. Иной раз мелют и с ячменем, двоежиток, но все равно струя-то кормилица... Подставишь руку, а по теплу она примерно такая же, как живая человеческая рука. Особенно чувствовалось это в зимнюю стужу.

Он поднялся на самый верх, под крышу, где был ковш, в который засыпалось зерно и под которым покоился посреди мучной обсыпи, в деревянном ящике, обычно шипящий неугомонный жернов. При полном ветре помольщики слушали мельницу, и жернова словно бы выговаривали:

В Киеве лучше,
В Киеве лучше!

А песты упрямо толочили свое:

Што тут, што там,
Што тут, што там!

Тихо. Молчит сегодня жернов. И песты не бухают в наполненные овсом ступы. Снаружи через волоковое окно виновато и ласково веет весенний ветерок. Будто расстроился, что дует напрасно. Подвижный совок под ковшом, через который зерно течет в жернова, висит одним концом на новой сыромятной бечевке. Бечевку можно скручивать или раскручивать специальным устройством. Подымать совок с зерном или чуть отпускать. Чем тоньше струйка зерна из совка, тем мельче мука и дольше надо молоть...

Эх, если бы тот жернов, что лежит на речном берегу! Тот молол бы в два раза могутней. Ведь даже при тихом ветре мельница легко вертела этот, нынешний. Конечно, при добром ветре у нее хватило бы силы и на большой жернов, и на оба постава.

Вспомнилась Павлу суровая зимняя стужа, ледяная купель и брат Васька в матросском бушлате. Вспомнились сутулые плечи бухгалтера Шустова. (Хотел назвать второго сына именем Шустова, да не поддержала что-то Вера Ивановна.) Вспомнил про жизнь в лесу. Схватил мешок, высыпал чью-то рожь в ковш. Проверил ступы. Спустился вниз и выдернул колья, подпиравшие крылья. Они дрогнули и вдруг тихо сдвинулись.

Все забылось... От горя и всех невзгодий как бы отмахнулась, крылатая: тяжелые широкие махи скрипнули, сдвинулись и один за другим поплыли по небу. Да не забыла ли и она самого-то хозяина, пока шастал он по чужим людям, пока болел и собирался с новыми силами? Ан нет, вроде бы помнит.

Крута лесенка, надо бы поотложее. И настил вокруг постамента не мешало бы сделать пошире. С хромой-то ногой лазить даже опасно.

Павел во второй раз взбирается по висячей лесенке на площадку к амбарным дверям. Так занятно, так высоко... Только глядеть на Шибаниху с высоты нет времени, разбирать, где чьи гумна, бани и огороды, некогда. Успел углядеть зеленеющий ельник, близкие сиреневые ольховые заросли и уже напрягшиеся от зеленого сока дальние березняки и осинки. Скорее наверх, где шаркают жернова, где глухо бухают березовые песты.

В Киеве лучше,
В Киеве лучше.
Што тут, што там,
Што тут, што там...

Перед строительством не знал Павел, что дедко тоже полюбит мельницу. Старик чувствует каждый клинышек, каждый стукоток чует и каждый скрип. Выучился даже ковать жернова... При воспоминании о раздавленных дровнях и о камне, оставленном в снегу, у Павла краснеют щеки. (Эх, давно вытаял на берегу брошенный камень! Пахать поедут, увидят... Увезти бы надо, пока не расколотили, пока и самого не отправили в Соловки...)

Толкут тяжелые окованные песты. Или это толочится под пиджаком Павлово сердце? Вторая ступа тоже засыпана, но песты над нею висят безмолвно, лишь слегка вздрагивают словно от нетерпения. Павел по внутренней лесенке опять подымается наверх и вытаскивает из гнезд штыри, освобождает остальные песты. Подымаемые березовыми лопатками, они начинают по очереди вздыматься и падать в наполненную овсом вторую ступу. Павел заглядывает в кош, который засыпан зерном. Еще два мешка, готовые, стоят на приступке. Рожь. Чья? Кто привез?

Ему хочется и эти мешки высыпать в кош. "Нет, пусть будет как есть, — думает он. — Ишь, разбежался, с больной-то ногой... Может, тут ячмень или пшеница..."

Скрепившись, он оставляет все как было, закрывает дверку, бросает на землю дедкову клюшку. Она долго летит до земли. Перед тем как начать спуск, Павел Рогов глядит окрест. Что там за лошадь у края поля? Пашут? Кто? Сивый мерин у одной Самоварихи....

Скоре, скорее вниз. На теплую весеннюю землю.

"Где же дедкова клюшка?"

Он лихорадочно хватает клюшку, ковыляет в сторону дома и вдруг падает от сильного, с потягом, удара в плечо. Павел Рогов хохочет, как в юную пору, глядя на обидчика. Мельничное крыло торжественно и самонадеянно уходит в небесную глубину. Он встает и торопливо идет в деревню, а навстречу уже бежит Серега в новой рубахе. Уже выносили упряжь, выкатывали из подвала железный плуг. Сережка шмелем крутится около дедка, а тот — нарочно, что ли? — как бы и не видел его. Привязанный Карько скреб землю копытом. Солнце слепило и плавилось. Бездонное небо синело над кровлями. Скворец трепыхал крылышками, сидя на крыше скворечника, пел и захлебывался от восторга и теплого воздуха. Пахло в деревне поджаренным на огне сосновым помелом и печеным тестом, сапоги у Сереги пахли дегтем. Овцы выпущены в огород, петух орет как пьяный. Дедко, наконец, увидел Сережку:

— Ну, Серега, где твоя подмога? Счас в поле выедем! Ты только надинь другие штаны. И рубаха у тебя праздничная, беги да надинь другую...

Мальчишка исчез в доме.

И побежали по Шибанихе сразу две новости, одна явная, другая тайная. От подворья к подворью, от избы к избе стремглав пролетела бескрылая птица-весть: "Роговы пахать выезжают!"

В то же время, из уха в ухо, шепотком, старухи и бабы сообщали друг дружке, что в Залесной уже с неделю тайно живет бродячий священник. Исповедует будто бы и младенцев крестит, ежели хорошо попросить.

* * *

Митьку Куземкина каждый день тянуло к погосту, хоть ты лопни! Так тянуло, как тянет к жаркой дородной девке, от которой дурманно пахнет молодым огурцом, когда пляшешь метелицу. Всякий раз, лишь кинется глаз на церковь с крестом, какая-то сила сжимала у председателя зубы. Пальцы в карманах штанов-галифе сразу же собирались в кулак. Церковная главка, плывущая в шибановских небесах, и в обычные дни была для Митьки бельмом на глазу, а ведь сегодня-то Первомай. Забудешь ли, как сидели с Мишкой Лыткиным, дули в кулаки на крыше зимней пристройки? Особо дразнила Митьку, не забывалась частушка, придуманная Киняхой Судейкиным:

Председатель на трубе,
Счетовод на крыше.
Председатель говорит:
Я тебя повыше!

"Подожди, я тебе устрою трубу! — сплюнул Куземкин. — Черт, кривые ноги!"

И хотя у Кинди ноги были совсем не кривые, а прямые, Куземкин, довольный сам собою, отвернулся от церкви.

Было утро, первое мая 1930 года. Председатель шибановского колхоза при распахнутых задних воротах искал на верхнем сарае черень для нового флага. Ничего подходящего не попалось, то слишком толсто, то коротко. Зато церковь, раздражая Митьку, то и дело мелькала в проеме сарайных ворот. "Граблевище отпилить, что ли?" — подумал Митька. Но граблевище было тонковато для красного флага. Да и грабли Куземкину стало жалко. Прямо по стенке вылез Куземкин через ворота в загороду. Старый, еще дедков хмельник выручил председателя. Длинные тонкие еловые колья так и прозимовали вместе с неощипанным хмелем. Обычно их складывают на зиму под навес, но осенью было Митьке не до того. Он выдернул один кол, ровный, тонкий и косослойный.

Живет у черта старова,
Как в клетке золотой,
Как куколка наряжена,
С распущенной косой.

Вполголоса пел Митька Кузёмкин, счищая с кола хмелевую засохшую плеть. Настроение у председателя подымалось вверх вместе с солнышком. Свист и пенье скворцов, голоса петухов и пирожные запахи, а также первые пятачки желтой куричьей слепоты не трогали Митьку, но его волновал и тревожил международный день Первого мая. Из Ольховицы вот-вот приедет уполномоченный, а у него, у Куземкина, не у шубы рукав.

Красный-то флаг в Шибанихе, конечно, был. Он приколочен еще вчера на конторский князек. Контора нынче в избе у Кеши Фотиева, в доме бывшего кулака Евграфа Миронова. Отступился председатель от зимовки Северьяна Брускова, потому как Северьян свихнулся и мало ли что можно от Северьяна ждать. Так вот, флаг-то один был уже. Но председатель хотел удивить уполномоченного, а заодно и всех шибановцев, особенно девок, а среди девок Тонька-пигалица стояла у Митьки на первом месте.

...Он забрался с колом обратно на верхний сарай, обрубил концы, гнилой с комля и тонкий с вершины. Вышел черень длиной в два примерно аршина. А где матерьялу красного взять? Об этом Куземкин не подумал заранее. Держа руки в широких карманах галифе, Митька стоял на повети перед распахнутыми воротами. Нижняя половина проема заполнена постройками, грядками, изгородями. Верхняя половина синеет глубоко и солнечно, а посреди синевы церковный крест. Колет он, тот крест, прямиком Митьку, гнетет, как думает председатель, всю шибановскую округу! Да неужто так и оставить? "Нет, не оставим! — мысленно орет Куземкин. — Мозги есть, пусть действуют".

"Мозги" ничего не придумали. Только вспомнили о красном с белым горошком ситце, купленном в лавке еще на Митькину злополучную свадьбу. Женился-то Митька с бухты-барахты, еще до колхоза. Привел самоходку, а она пожила с неделю да и была такова. Людям сказали, что не поладила с маткой. На самом деле... Ох, лучше не вспоминать! Убежала молодуха не от свекрови, а от самого Митьки из-за того, что целую неделю (отворотили, наверно) ничего не мог с ней сделать. Убежала в свою деревню и ситец оставила. Сестра Фаинка сшила себе из этого ситца три наволочки: тоже замуж-то норовит, хоть и молоденькая. Нынче вот и ее пришлось отправить на сплав. Пришла из района разнарядка на шесть человек. Где было набрать шесть человек? Никто не хотел ехать. Один Ванюха Нечаев согласился добром, остальных, в том числе и родную сестру, пришлось обязать. Теперь вот матка и клянет Митьку, и ругается еждень.

С такими раздумьями Куземкин вяло бродил на верхнем сарае. Но чем больше Митька раздумывал, тем скорее бежало время. Вон уже и брат Санко идет с реки, ходил проверять верши.

— Попало чего? — крикнул Митька.

Санко издалека показал небольшую рыбину. Матка в избе уже закрыла печные вьюшки. Запахло зноем, а он, председатель, не знает, куда податься, то на крест глядит, то на еловый черень.

— Ты чево ворота-ти растворил?

Митька видит, как мать старым серпом через отверстие в стене запирает сенник на внутреннюю задвижку. Она прячет серп в другое место.

"Воров боится", — думает Митька совсем отстраненно. "А где наволочки? — мелькает в Митькиной голове. — В сундуке наволочки, сундук в сеннике".

Открыть серпом дверку минутное дело. Митька подождал, пока мать не ушла в избу. Шмыгнул в дверцу, выругался про себя. Забыл, что сундук у Фаинки на замке. Где ключ? Ключ на божнице в избе.

Куземкин, как вор, кусая губы, вкрадчиво ступает в угарную избу. "Не хватало угореть к празднику, — думает он. — Вон Павла, сопроновского отца, схоронили на днях. Слух прошел, что Зойка нарошно рано вьюшки закрыла. А где сам-то Игнаха? Говорят, засадили за левый уклон".

Сейчас Митьке не до Игнахи Сопронова, умыкнуть бы от сундука ключ. Матка гремит заслонкой. Митька изловчился и к божнице. Нащупал ключ и к сеннику. Санку, братану младшему, что лазал на вышку за новой вершой, Митька показал кулак: молчи, мол, матке не говори.

— Дай закурить! — попросил брат и спрыгнул с лесенки.

— Иди в избу, там в хорошем пинжаке папиросы. Пинжак на гвоздике, — говорит Митька и шныряет в сенник. Красная наволочка как раз поверх всего. Митька хватает ее, запирает по очереди сундук и чулан, нащупывает в тех же штанах-галифе гвоздики. Прежде чем приколачивать, любуется наволочкой. Красная, как петушиная борода! Правда, не совсем красная, белый горох бисером рассыпан по красному, да шут с ним, с горохом! Издалека-то будет не видно. Митька наладил молоток и гвозди, чтобы прибивать. Только он взял наволочку в обе руки, чтобы разодрать по шву, как сильный удар по спине поднял председателя на ноги.

— Нечистый дух, ты это чево делаешь-то? — Мать, с коромыслом в руках, норовила стукнуть во второй раз. — Лешой болотный, это ты чево выдумал-то?

— Мамка, ты это... войди в чувство! На флаг надо, севодни празник.

— Я те покажу празник, я те, сотоне, покажу флаг, лешой болотной!

Она бросилась на него опять и опять с коромыслом, но Митька проворно отскочил в сторону. Она подняла с настила красную наволочку, бросила коромысло и схватила еловый черень, припасенный на флаг.

Митька побежал с повети, прыгнул в чистые сени.

С лесенки, дымя зажатой в зубах папиросиной, улыбалась веселая Санкова харя. Митьку взбесило такое предательство, он хотел тут же как следует проучить родного братана, но матка, как парунья-курица, с новой руганью выскочила в чистые сени.

"Одному супротив двух... — мелькнуло в сознании, — нет, лучше не ввязываться". Митя Куземкин как ошпаренный выбежал на весеннюю улицу. Обернулся, погрозил в Санкову сторону кулаком:

— Ну, ты у меня покуришь нонче дорогих папирос!

Петухи пели по всей деревне, свистали скворцы.

Левой лопатке досталось больнее всего. Митя подрыгал плечом, вспомнил сам про себя, кто он есть и чего хотел. Что делать и как быть? Не такой он человек, чтобы отступать от главного плана. С перворазки не вышло, выйдет во второй раз. Какой он будет, второй-то раз?

Куземкин переключился на председательскую походку и пошел от крыльца. Где еще видел он красный ситец с мелким горохом? У кого? Надо спросить Володю Зырина, он торговал этим ситцем. Да! А у Палашки, Евграфовой дочки, вот где! Видел сам, когда описывали имущество.

Палашка от Микуленка девку родила. Живет с маткой на подворье у Самоварихи. Вишь он как! Микуленок-то... Наблудил да и сам в сторону. "Перевели сперва в Ольховицу, потом в район, — думает Митя с завистью. — Галифе, правда, у Микулина выморщил, считай, ни за что. А времечко-то идет! Эдак и не успею с красным-то флагом. Схожу-ко я к Палашке. Только это... К Палашке за матерьялом? Нет, рано ему к Палашке!"

Тайные мысли насчет Палашки Куземкин прятал от всяких прочих, эти мысли особенно часто приходили к нему по ночам. На людных игрищах он пел частушку:

Скоро буду я жениться,
Скоро буду я женат.
Надоело полосатую
Подушку обнимать.

На самом-то деле не о женитьбе он думал, не о женитьбе... "А чево мне жениться? Не буду пока. Вот пойду в избу к Самоварихе, у Палашки подушка не полосатая. Красная, с белым горошком. Неужто прогонит? Прижму как следует... Деваться-то ей некуда будет. Колькой Микулиным дорожка проторена..."

Забота о флаге грызла Митю Куземкина. Ему пришло в голову сходить к приказчику, но с Зыриным были у председателя нелады из-за того, что Володя совсем бросил колхозную документацию. "У тебя, говорит, колхоз бумажный, и мне с такой бумажной тяжестью не выстоять". Нет, пустое дело ходить к Зырину. Надо агитировать матку, выхода нет.

Куземкин повернул домой. В избе пахло пирогами, пареницей и паленым помелом. Мать из кухни не вышла. Братец Санко сидел за картофельным чугунком, ухмылялся ехидно. Митя скрипнул зубами, но переломил себя:

— Мамка, ты войди в мое положенье.

— Молчи, бес! — послышалось за деревянной заборкой.

— Да ведь севодни праздник, день солидарности. Уполномоченный из Ольховицы вот-вот явится...

Она вышла из кути, сунула на стол полкаравая ржаного, еще горячего хлеба:

— Садись да ждри!

— Отдай хоть временно, я мануфактуры тебе новой куплю. Вот тебе крест!

Но она опять ушла за деревянную переборку. Загремела печная заслонка, упал ухват. Надеяться было не на что. Санко, сидя за чугунком, делал какие-то тайные знаки. Жевал брат хлеб с картошкой, а сам показывал на шкап, ты, мол, постой на страже, чтобы она не увидела, а я шкап открою и потихоньку выволоку что надо. Митя понял, вскочил с лавки и в куть к матери.

— Мамка, мамка, у тебя с чем пироги-то?

— А с чем будут, с тем и будут! — Она все еще не могла успокоиться.

— Ты не подведи ради праздника. — Митя похлопал ее по плечу. — Да. Уполномоченный вот-вот...

И Митя торжественно, по-начальнически вышел из кути.

Санко уже в сенях сунул ему наволочку. Митя затолочил ее за пазуху под пиджак, сбегал на поветь за еловым чернем и опрометью на улицу: там уже стояли с пилой и веревкой Кеша Фотиев с Лыткиным и еще кто-то.

Санко тоже присоединился к честной компании. Все дружно пошли к погосту.

III

Опять, как тогда, зимой, пришлось у роговских баб просить долгую лестницу! Хорошо, что ни дедка Никиты, ни Павла дома не было...

Куземкин-старший первым забрался на зимнюю церковь, кинул конец веревки. Кеша внизу привязал веревочный конец ко второй тоже долгой пожарной лестнице. Начали поднимать. Все с топорами прилезли на крышу зимнего храма. Заволокли туда и еще одну, легкую, но длинную лесенку Евграфа Миронова. Митя не позволил даже закурить, торопил ставить пожарную лестницу к летнему храму.

— Тупицу бы надо, — сказал Куземкин, когда Кеша вострием топора пробил железную крышу. (Требовались гнезда, чтобы лестница не оползла и стояла твердо).

— Так это и есть тупица, — объяснил Кеша. — Я ево все одно не точу.

Долго и осторожно ставили они на крыше эту вторую лестницу. Наконец Митя Куземкин в оба кармана наклал больших гвоздей, привязал к ремню конец еще одного ужища и сказал сам себе:

— Ну, Куземкин, ни пуха, ни пера! Семь смертей не будет, а одной не миновать. Полезу...

Наволочка в кармане штанов, легкий топорик Евграфа Миронова на спине за ремнем, ножовку можно зажать в зубах. Председатель начал подыматься туда, к зеленому куполу... Он гасил свой страх то навязчивой песенкой, то воспоминаниями о теплой Палашкиной пазухе. Он старался не глядеть вниз и по сторонам. Уже вся волость шибановская была под ним, как на ладони. Он чувствовал это косвенно, хотя боялся глядеть. Перекладина за перекладиной, выше и выше... Вот он, край, не широкий, но отлогий карниз высокого летнего храма. Дальше приступок у купола, край с водостоком... Лестницы еле хватило до водостока.

Куземкин перевалился через водосток на отлогий приступок, прислонился к отвесному подножию купола.

— Привязывай маленькую! — крикнул он нижним работникам и невольно взглянул вниз. Митя зажмурился. Страх подступил откуда-то из живота, но Куземкин пересилил себя. Внизу, на крыше зимней церкви Кеша и Латыкин перестали держать большую лестницу. Они привязали веревку к другой лестнице.

Что думал Куземкин, когда подымал и прислонял к куполу эту легкую Евграфову лестницу? Ничего он не думал. Вертелась в его голове какая-то пустая частушка. Митя поднял-таки на выступ эту легкую лесенку и приставил ее к куполу. Упершись в железный желоб водостока, она стояла довольно круто, была ничем не закреплена, но Куземкин отчаянно полез по ней. Когда лесенка кончилась, крыша купола стала отложе. До перехвата и небольшой луковицы с крестом было еще далеко. Митя отдышался, не глядя окрест. Достал со спины Евграфов топорик, забил в железо первый гвоздь, второй... Вбивая в крышу купола толстые гвозди, он подымался по ним выше и выше. Ножовку пришлось бросить, веревка тянулась следом. Страх иногда зарождался в животе и в груди, отдавался чуть ли не в пятках, но председатель упрямо забивал гвозди и медленно, осторожно подымался к небольшому восьмеричку, на котором держалась луковка. Лежа на купольной крыше, он доставал очередной гвоздь и вбивал. Хватался за него, подымал ногу, по-пластунски подымался к восьмерику. Вдруг, когда лезть было уже некуда, вся сила в руках пропала. Его охватил ужас... Председатель долго лежал так, пластом, на зеленой купольной кровле. Вот сила опять вернулась в руки и ноги, он вытянул веревку и начал бросать конец, чтобы обвить ею восьмерик. Конец не долетал. Куземкину пришлось бить новые гвозди. Но вот ему удалось обвить восьмеричок веревкой и закрепить петлю глухим узлом. Он отрубил остаток вожжей, сунул один конец за пояс.

Теперь, держась за глухую петлю, можно было встать на ноги и даже обойти вокруг самой маковки. До креста можно было достать рукой...

Куземкин победно взглянул вниз, где, стоя на крыше зимней церкви, махали руками брат Санко, Миша Лыткин и Кеша. Пусть машут и пусть кричат... "Девок-то, никого не пришло?.." — подумал Митя, но думать ему не было времени. Он проверил глухую петлю, державшую его около маковки. Отвяжется или лопнет — крышка... Полетишь вниз... Веревка держалась за восьмерик прочно. Для страховки Куземкин пристегнулся к ней кожаным солдатским ремнем, обнял маковицу, достал из кармана красную наволочку и начал махать. Сам собой получился у Мити крик:

— А-а-а, едрена мать! Во! Во!

Он держался левой рукой за крест, а правой махал распоротой красной наволочкой... Внизу лежали серые полевые клона, огороды, прошитые строчками изгородей, грудились вокруг погоста постройки гумна и сеновалы. Деревня Залесная и все остальные оказались совсем близко. Дороги бежали туда и сюда. Озеро синело в лесу. Вороны и галки летели не вверху, а внизу... Председатель кое-как двумя узлами привязал наволочку к железному кованому кресту. Ее подхватило порывом южного ветра.

Хотелось Куземкину гаркнуть еше раз, победно и торжественно заорать на весь белый свет, и он уже набрал было побольше воздуху. Но крик не вылетел из председательской глотки. Застрял крик, когда Митя снова взглянул окрест...

У прогона, в четвертом поле, ближе к поскотине, там, где был земельный повыток вдовы Самоварихи, чернела вспаханная полоса, и вдоль нее ходила сивая лошадь с сохой. Пахала какая-то баба, и свежая полоса земли ясно и четко выделялась на поле.

Как так? Во-первых, праздник 1 Мая, во-вторых, колхоз хоть и разбежался, но председатель остался. Кто разрешил? Ну, я ей задам! Обнимая церковную луковицу руками и ногами, Митя очумело глядел вдаль. Он боялся пошевелиться, но его всего трясло. Матерясь и отплевываясь, Митя рвал свои рукава, спускался

по гвоздям. Он торопился, неосторожно коснулся сапогом лесенки, а она свихнулась, поползла и упала.

Митя захолодел, его опять охватил ужас. "Господи, спаси!" Хорошо, что не выпустил конец веревки. Он привязал вожжину к одному гвоздю и по ней спустился к подножию купола. Ненавистная Евграфова лестница лежала у купольного подножья.

— Держу, держу! — послышалось снизу. Митю трясло, но он перевалился через водосток, нащупал ногой большую лестницу и начал спускаться. Он все еще мысленно твердил: "Господи, спаси. Господи, спаси и помилуй..."

На крыше зимней церкви его ждал один верный Миша Лыткин. Братана Санка и Кеши не было. Куземкина возмутило такое предательство, он заматерился и снова стал прежним.

— Стой, Мишка! Не трогай, оставь лисницу тут! — сказал Куземкин, когда окончательно отдышался. — Мы потом ишшо слазаем... Крест после спихнем... Дай закурить!

Митька затянулся раз или два и бросил цигарку. Оба с Лыткиным по очереди спустились вниз по роговской лестнице. На земле он сокрушенно пересчитал дыры на пиджаке: "Галифе-то... Устояли и на гвоздях. Не зря сшиты из чертовой кожи".

Он велел Лыткину собрать "струмент", сам чуть не бегом заторопился в деревню. У лошкаревского дома неожиданно встретились трое нарядных женщин. Они так и охнули! Все трое хотели повернуть обратно, словно бы испугались. Одна была с ребенком на перевязи, другая держала за руку роговского Ванюшку. Он уже начинал ходить. В сапожонках и опять же в красной рубахе с белым горохом. Из того же ситцу, что и флаг на кресте. Председатель оглянулся на церковь, но тут же насторожился. Что такое, куда направляются?

Бабы остановились, растерянные. Куземкин строго оглядел каждую:

— Так. Далеко ли?

— Митрей да Митревич, — очнулась и заговорила мать Ивана Нечаева. Она в пояс поклонилась Куземкину. — С праздником тебя, батюшко, с праздником!

Широкий, едва не до земли дольник-сарафан радугой поплыл перед Митькиным взором. Губы его тоже поплыли в довольной улыбке:

— Также и вас! Взаимно!

Председательский возглас совсем ободрил старуху:

— Погода-то, погода-то, Митрей, будто Христов день! Совнышко теплое, надо бы уж и пастуха подряжать.

— Да, да, погода самая празднишная, первомайская. А вы это куды эк, в парадной форме? — опять насторожился Куземкин.

— Дак ведь на митингу! — сообразила Людка Нечаева, и Аксинья Рогова ее тоже подвыручила:

— Ишшо вчерась Селька загаркивал... Стой, не верти головой, кому говорят! — Для надежности она шлепнула по спине Ванюшку. Мальчик заревел.

— Робенков, особо грудных, не стоит ташшыть, — заметил Куземкин. — Оставить дома!

Довольный, он пошел дальше, но оглянулся еще раз:

— А хто пахать выехал?

— Самовариха, батюшко, Самовариха! — закричали бабы чуть ли не хором. — Пронеси, Господи...

Аксинья подхватила на руки обиженного ни за что ни про что Ванюшку, утерла ему нос:

— Не реви, батюшко, не реви. Вон, вишь, Петька-то не ревит, а ты ревишь. Не стыдно ли?

Петька Нечаев, по-цыгански устроенный на перевязе на спине у Людмилы Нечаевой, действительно, и не думал реветь. Все кругом было так занятно...

Женщины подождали, когда председатель скроется за углом, воровски огляделись и торопливо, чуть ли не бегом, к гумнам, на залесенскую дорогу.

* * *

В избе Самоварихи Вера с Палашкой спешно кормили и пеленали младенцев, торопливо укладывали узлы, рассчитывая догнать Аксинью с Людмилой.

— Верушка, Верушка, крестик-то не забудь!
— Поди-ко с ночлегом надо, домой севодни не выправить.
— Знамо, за один день не выбраться, ночуем у баушки Миропии.
— Дак где там попа-то искать? — спросила Вера и поглядела в окошко. — Ой, Куземкина лешой несет! Ой, к нам вроде бы, ой, и ворота не заперты...
Вера с Палашкой заметались, забегали по обширной Самоварихиной избе. Палашка убрала оба узла в куть, под лавку:
— Верушка, ты садись-ко за кросна! Тки шибче, а я буду вроде бы лучину щепать...
Какая уж тут лучина! Один младенец запищал, укутанный. Видимо, стало жарко. Вера едва успела сесть за кросна, в дверях Митя Куземкин:
— Здраствуйте пожалуйста! Чево обе воды в рот набрали? С праздничком!
Митя хохотнул и уже запустил правую руку к Палашке за пазуху, та, в сердцах, обеими руками оттолкнула его:
— Уйди к водяному!
— Экая строгая стала....
— Какая была, такая и есть.
— Как девку-то назвала? — спросил Куземкин, и Палашка сразу стала другая. Заулыбалась:
— А не скажу.
— Воспу надо привить! — строго промолвил Митя. — А где Самовариха? Правда, што пахать выехала?
Вера незаметно вошла в азарт, сильно хлопала бердом. Челнок у нее так и летал туда и сюда. Скрипели подножки, нитченки мелькали то вверх, то вниз. Она остановила тканье:
— Правда, правда, Митрей Митревич! Пашет на Сивке Самовариха. Все утро. Ты-то пахать не думаешь?
— Ну, я ей устрою посевную кампанию! — сказал Митя и выскочил из избы. Вера с Палашкой переглянулись и не смогли удержаться от смеха.
"Господи! — хохотали они обе. — Уж и пахать-то стало нельзя! Побежал! В поле ринулся, как настеганый. Ой... А мы-то, дуры, чево сидим?"
Обе враз перестали смеяться.
— Верушка, Верушка... — Палашка снова принесла из кути узлы. — Ведь не догонить нам будет Людмилку-то и Оксинью, не догонить. А ежели нам к озеру да на лодке? Напрямую бы, прямо в Залесную. Царица небесная матушка, спаси, подсоби...
Недолго думали. Укутали деток тепло и плотно. У каждой широкие полотенца через плечо, на перевязи легче нести. У той и у другой по узлу на левой руке, в узлах пироги да по холсту в оплату священнику. Денег нету ни у той, ни у этой...
Уходили задами, около изгородей, прятались за амбары и гумна, полем да скорее к болотному лесу. Вроде никто не видел. А и видел, так теперь-то никто уж не остановит! "Какова-то там маменька со старшим сынком? Далеко, ой далеко идти! — думала Вера Ивановна. — Ну, да Бог милостив, Людмила Нечаева нести подсобит. Нечаевы-то пошли двое с одним... Тетка с баушкой. А мужики и знать ничего не знают. Пахать выехали..."
Палашка ходко ступает по тропе еще не везде просохшим болотцем, отводит ветки берез, уже с набухшими почками. Крушина и болотная ива стегают ее по белым ногам. Палашка подняла сарафан выше коленок. Лягушки урчат в прогретых лужицах. В болоте веселые переливчатые голоса куликов сменили писклявых полевых чибисов. Закраснела клюква на мшистых кочах.
"Сапожонки у девки старые, наверно текут, — жалеет подругу Вера Ивановна. — Все у нее отнято, вплоть до сапогов. Ни отца, ни матери... А мой-то тятенька где?"
У Веры щиплет от горя в носу, вскипает обида в горле, а Палашка возьми и запой, как, бывало, пела на игрище:

Запевай, подруга Вера,
Нам никто не запоет.
Невеселое-то времечко
Не скоро, да пройдет.

Сглотнула Вера Ивановна горловой ком да и спела в ответ:

Задушевная подруга,
Как мы раньше жили-то.
Ты вздохни, а я подумаю,
Ково любили-то.

Палашка идет да идет. Не осталась в долгу, на ходу выдумала частушку:

Шла я лесом-интересом,
А по лесу ягоды.
Дорогово за изменушку
Любить не надо бы.

Что скажешь на это, чем утешишь Палашку? Бросил ее Микуленок, начальником стал. Вера Ивановна подобрала наугад, что пришло в голову:

Заростай дорога лесом,
Заростай поляночка.
Не воротится по-старому
Моя гуляночка.

Не успели пропеть все, что скопилось на сердце, — засинело впереди озеро. Осторожно прошли по узким мосткам, к лодкам. Палашка положила закутанного в одеяло ребеночка на сухой деревянный настил под отцовым навесом. Мироновской лодки у причала не было, лишь обрывок мерёжи качался на жердочке.

— Лешие, лешие, — заругалась Палашка, — опеть, наверно, залисенские угонили! Ивановна, я тебе чего расскажу-то...

Палашка начала спихивать в воду клюшинскую долбленку:

— Ты не видела Акимка-то? Вроде бы к Тоньке ходит, а все только про тебя и спрашивает...

Вера вспыхнула. Свежий ветерок с озера погасил жар на щеках, согнал с них краску стыда. Нет, не видела она Акима Дымова и видать его ей ни к чему! Но знала Вера Ивановна, что парень все еще сохнет по ней. Давно бы должен жениться, и было ей иногда приятно подумать, что такой парень все еще жалеет ее.

"Господи, прости меня грешную, — мысленно произносит Вера Ивановна. — Разве дело, ежели ходит к Тоне, а сохнет по ней, по давно замужней? Ну-ко, ежели Павел про то узнает, что тогда будет. А может, и знает уж, ежели народ говорит".

Палашка ищет весло, кидает оба узла в нос и в корму, а сама молотит свое:

— Я Тонюшке говорю; чево это он, ходит к тебе, а поклоны в другой дом заказывает? А Тонюшка сама вроде ево. Ольховскую-то гостьбу никак не может забыть... Этта меня увидел, Акимко-то, скажи, грит, Вере Ивановне...

Вера всерьез рассердилась и перебила подружку:

— Отстань к водяному! Чево здря языком-то молоть? Ведь я тебе не красная девка! Вон двое уж в люльке-то...

Палашка притворилась, что ничего не случилось, затараторила:

— Ой, ой, Верушка, а у меня молоко потекло. Чево делать-то? Надо бы покормить, а и ехать надо. Время-то к обеду поворотило... Давай-ко, может, вытерпят до Залесной, на том берегу и покормим! Красное солнышко, свичушка моя светлая, глазки-ти синие...

Оба младенца проснулись, закряхтели.

— Вся в отца, — сказала Вера, все еще злая от ненужного разговора. Палашка ткнулась на чью-то перевернутую лодку.

— Да не реви ты, не реви ради Христа! — Вере снова стало жалко Палашку. — Где мое-то весло?

Как ни искали, второго весла не нашли. Рыбаки прятали свои весла в лесу по укромным местам.

— Придется, видно, на одном плыть! — вздохнула Палашка. — Господи, пособи, царица небесная... Ивановна, бери деток да садись после меня...

Узлы лежали в корме и в носу. Палашка с веслом уже сидела на одном рундучке, Вера с детками на каждой руке — на другом. Корма вся сидела в воде, нос еще держался за берег. Палашка долго отпихивалась веслом. Лодка, наконец,

оторвалась от суши, качнулась. У Веры екнуло сердце: вода плескала прямо в бортовые набойки. Вылезти бы, пока не отъехали? Не приведи Господи, волной захлестнет. Вот ветер подул да и детки зашевелились. Мокрые, наверно, и кормить бы надо. А молоко тоже течет, как у Палашки.

... Весло брызжет на Веру, когда Палашка перекидывает его со стороны на сторону. Высокие прошлогодние хвощи касаются бортовых набоек, крупная зыбь идет слева и поперек. Две гагары качаются на воде, отплывают подальше и ныряют по очереди. "Господи милостивый, — слышит Вера Ивановна громкий Палашкин шепот. — Господи, не оставь, царица небесная, матушка и заступница..."

Вера Ивановна тоже читает молитву. И всего-то знает она две: "Верую" да "Отче наш". Научил дедко Никита. Третью в школе учила да так и не выучила... Она читает молитву, а волны брякают в борт. Качнись немного, и лодка зачерпнет холодной воды, что тогда? "Ой, Палагия! Ой, что будет, оба плачут!" Вера качает укутанных в одеяла деток, а они оба ревут, пищат как птенчики. Уже и забыла, который свой, который Палашкин, качает, и обе руки уже затекли, а озеру конца нет!

— Палаша, чево делать-то? — плачет Вера. — И держать не могу, а оба ревят... надрываются.

Палашка веслится изо всех сил: два гребка слева, весло на другую сторону. Два гребка справа и опять слева, а лодка будто на месте стоит.

— Титьку-то дай своему, моя-то сидит и так. Титьку ему сунь! — кричит Палашка.

— Да как я суну-то? Руки-то заняты! — в отчаянии тоже кричит Вера Ивановна. Палашка положила весло и на коленях, осторожно, чтобы лодка не перевернулась, подползла к Вере, расстегнула ей казачок и новую кофту. Высвободила Верину грудь. Вера притянула ребенка поближе, приноровилась, и он жадно поймал сосок.

— Вываливай и эту титьку, — говорит Вера Ивановна, а Палашку не надо долго просить. Подсобила сунуть в розовый ротик второй сосок, и оба младенца сразу стихли. Ухлебывают обильное молоко, жадничают, а вода так и шлепает в борт. Лодку несет по ветру, качает ее на волнах. Палашка задом, задом да на корточках подвинулась на свой рундучок и схватила весло. Скорее, скорее! Оказались на самой середке, до берега еще плыть да плыть. Что это? Воды-то много на дне лодки, сейчас подмочит узлы...

Палашка побелела от страха. Вода била фонтанчиком в круглую дырку. Как тогда, у Игнахи Сопронова, выпал рассохшийся сторожок. Господи! И берег еще далеко! Руки у нее ослабли от волнения и страха. Глянула перед собой: Вера сидит с голыми титьками, по ребенку на каждой руке. Платок съехал, волосы рассыпались, сосит, кормит деток, а вода прибывает. Волны опять развернули лодку. Палашка перекинула узел из кормы на середину лодки, прямо в воду. Начала веслом выбрасывать копившуюся воду. Дыру-то заткнуть бы чем. Вот опять прибыло! Скорее, скорее...

Она веслится что есть мочи. То опять воду выкидывает, то веслится, а вода в лодке все прибывает, вон вся лодка огрузла, сейчас волной через борт захлестнет...

Палашка взвыла от страха, сила в руках пропала. Но взглянула на белую как холст Веру Ивановну и снова: два гребка слева, два справа, два слева, два справа. Повернется назад, откачает немного воды за корму и опять гребет. Уже волны захлестывают воду поверх бортовых набоек, уже и узлы в воде, а залесенский берег только-только поехал навстречу. "Нет уж, Коленька, нет! — мелькает в уме (даже тут Микуленок). — Нет уж, нет уж!" Что, нет уж? Она и сама не знает. Тонуть начали, погружаться в воду, когда лодочный нос ткнулся в твердое место на залесенском берегу. Лодка, наполненная водой, окунулась и захлебнулась, но дно было твердое и место у берега не глубокое, всего на аршин. Вера Ивановна первая выскочила на берег. Палашка, стоя по пояс в холодной воде, выкидала узлы. У нее не хватило сил вытащить на сухое место затопленную лодку. Села на берегу на какую-то доску и заревела навзрыд...

Вера положила спящих деток на сухой деревянный настил под чьими-то рыбацкими вешалами, начала торопливо застегивать кофту... Ноги и весь подол

праздничной юбки были мокрые. Она опустилась рядом с Палашкой и тоже взревела.

Только сейчас, рыдая, обе начали приходить в себя, а младенцы пробудились и спокойно покряхтывали, укутанные и запечатанные в сухие стеганые одеяльца. Как Вера Ивановна ухитрилась не замочить дорогие те упаковки? Она и сама не знала. Гладила понемногу успокаивающуюся подружку по мокрой спине, глядела на темно-синюю озерную ширь. Подсобляла снимать мокрые полусапожки.

— Сними и сарафан-то, ведь простудишься, — выговорила наконец Вера Ивановна.

Переливчатые голоса куликов, обогретых теплым, уже почти летним солнышком, запах весенней воды и первой лесной прели веяли над двумя еще не крещенными младенцами.

* * *

Серега потерял ременный кнут и удрученно бродил по полю. Павел велел ему наломать в прогонных кустах ольхового сушняку. Подал ему спички, чтобы развести теплинку. Еще раз поглядел у Карька под хомутом. Не жмет ли где, не давит ли... Потрогал оглобли: чресседельник свободно перемещался по седелке. Железный прицеп ловко сцепился с плужным ушком. (Перед тем, как начать пахать, Павел распрягал Карька и дал ему покататься на весеннем уже теплом лугу.)

Дым от Сережкиной теплинки волновал и лошадь, и пахарей, еще волновали переливчатые голоса куликов. Жаворонок тоже был не дурак: так он заливался, так старался, подымаясь все выше и выше. В синеве небесной редкие облака шли с юга вместе с теплым непорывистым ветром. Пахло просыпающимся кореньем. Павел сказал Сережке стишок:

На широком на лугу
Потерял мужик дугу,
Шарил-шарил, не нашел,
Без дуги домой ушел.

Сережка потерял не дугу, а погонялку. Искали вместе, искали да так и не нашли, а она и лежала чуть не под носом...

"Черт, черт, поиграй да обратно отдай, — добродушно проговорил Павел. — Не тужи, Сергей, нашему Карьку без погонялки-то лучше".

Поле, названное четвертым, хотя и с уклоном в холодную сторону, и каменья на нем уродилось не меньше, чем на прочих полях Шибанихи, было любимым Павловым полем. Почему четвертое, ежели и всего три поля: паренина, озимь и яровое? Еще до столыпинских отрубов кое-кто пробовал перейти с трехполки на четыре и даже на пять полей, для чего начали сеять горох и клевер. Горох сеяли, конечно, и раньше, но как придется, а клевер был внове. Клюшин Степан привозил агронома откуда-то с Вожеги. А может, и с самой Вологды? С того и пошло название: четвертое поле. Долгие полосы и клона большие, но никакое оно не четвертое, это поле, а по-прежнему третье. Когда при Столыпине выходили на отруба, все перепуталось. Кое-кто и хуторов нарубил, а война с немцем тут как тут и была. Фронтовики пришли, начали наводить новый порядок. Разделили землю по едокам. Опять не до четырех полей, управиться бы с тремя. При переделе Роговым достались в четвертом поле две полосы, в соседях оказались Клюшины да Володя Зырин. Одну полосу Иван Никитич вспахал с осени под зябь, вторую Павел попросил оставить для сравнения: узнать, много ли зябь дает прибавки.

Вспахать надо было всего один загон, как называли в Шибанихе полосы. (В Ольховице говорили почему-то не загон, а повыток.)

— Бог помочь тибе, Павло Данилович!

Самовариха, вспахавшая свой повыток, держась за кичигу, правилась к дому. Соха ее ехала на деревянном полозе.

— Спасибо, спасибо, — пристыженно отвечал Павел Рогов.

"Надо ж, как получилось. Баба, бобылка, вспахала раньше всех..."

— А чево не боронишь сразу? — спросил Павел.

— Да у меня бороны-то нет, у Жучка надо просить...

— Ну, мы вон с Серегой забороним и тебе к вечеру. Припасай, чево рассевать.

— Ой, как бы эк-то! Я бы не стала у Брусковых просить. Да он, может, и борону спрятал.

Павел твердо посулил Самоварихе заборонить и ее повыток, когда будет боронить свои полосы. Она обрадовалась и отправилась к дому.

Сережка совсем смутился. Он потерял погонялку, то есть сыромятный кнут на рябиновом черенке.

— Не тужи, — опять успокоил его Павел. — Карько у нас и без кнута добро ходит. Он не обидится...

— Да воно она, воно! — неожиданно заорал парнишка. И даже заплясал, заприскакивал. Погонялка висела на ветке, брошенная на ивовый куст. Нет, что ни говори, а надо иногда что-нибудь потерять: так приятно потом невзначай обнаружить пропажу...

Павел улыбнулся Серегиной радости и взялся за ручки плуга. Сказал:

— Ну, с Богом!

Карько оглянулся назад. Левое ухо мерина повернулось, наставилось в сторону пахаря, конь переступил с ноги на ногу, как бы желая удостовериться в правильности хозяйской команды.

— Пошел, пошел, Кареван...

И Карька напряг гужи. Плуг мягко вошел в землю. Зачирикали под лемехом некрупные камешки, свежая борозда запахла влажной землей. Шла черная лента, переваливалась на правую сторону. Опытный мерин не рвал плуг, не останавливался и не спешил. "Не нужна нам, Серега, твоя погонялка, нет, не нужна!" — подумал Павел. И хотелось запеть, так приятно было ступать за плугом. В самом конце полосы Павел принагнул вправо плужную ручку, и плуг вышел из земли. Павел закинул его опять же вправо и шевельнул левой вожжиной. Мерина можно было и не учить. Он сам знал и куда зворачивать. Встал Карько в крайнюю прошлогоднюю борозду и подождал, когда хозяин выпрямит плуг.

—Эх! Давай, брат...

И пошла, пошла черной бечевой еще более радостная обратная борозда! Завораживала, словно закручивалась. Павел слышал чириканье мелких камней, слышал ровное мощное дыхание лошади. Вдыхал сырой земляной дух и глядел, глядел, как плужный отрез отделяет от полосы новую ленту и как щетина стерни уходит под перевернутый пласт. Но в чем дело? Карько остановился, не дойдя до конца. Павел поднял глаза.

Дмитрий Куземкин левой рукой держал мерина под узцы. Павел, с удивлением оставив плуг в земле, подошел к Митьке. Тот отпустил Карькину обрать, как-то не по-своему сказал, крикнул почти, а не выговорил:

— Доброго здоровья, Павел Данилович! Труд на пользу. Только ты здря тут пахать начал.

— Как так здря?

— А так. Четвертое поле нонче будет колхозное.

— Что значит колхозное?

— То и значит.

Куземкин стоял в своих растопыренных галифе, улыбался и вроде бы что-то насвистывал. Павел почувствовал слабость в ногах. Куземкин снова заговорил по-обыденному:

— Ты в колхоз вступал? Вступал. Вот и делай вывод.

— Я свой вывод сделал, — сдерживая ярость, проговорил Павел. — Я мерина вывел пахать... Понимаешь?

— Понимаю, только тут мы тебе пахать не дадим.

— А ну, отойди в сторону! — удушливо сказал Павел и, хромая, вернулся к плугу. — В сторону, кому сказал! Карько, пошел вперед...

Сережка, с открытым ртом, испуганно глядел на все это. Карько навалился, снова напряг гужи, но плуг не сдвинулся с места: Митька, видимо, дернул за кончик супони и хомут раздвинулся. Карько стоял, прядая ушами.

Павел в ярости тихо сказал Митьке:

— А ну, засупонь... Засупонь, кому говорю... Сделай, как было!

Митька улыбался. Он стоял перед Павлом, держал руки в карманах галифе и

стоял. Павел подскочил к Сереге, выхватил у него погонялку, закричал на Куземкина:

— Счас я тебе устрою колхоз...

Кнут со свистом стегнул по ногам Митьки Куземкина. Сыромятная плеть обвила сапоги, дернулась, и председатель Куземкин упал на луг. Павел успел выдернуть погонялку и начал стегать Митьку.

— И... э-э-эх, погань, ты у меня запляшешь. У-у-ух, блядь шибановская, ты у меня завертишься... Р-р-рых!

Куземкин крутился на земле, пробуя встать, но его снова сапогом кувыркали на луг, снова стегали. Так славно гуляла Серегина погонялка по Митькиной заднице, не один раз обвилась вокруг поясницы, досталось ногам, да и по роже разок вроде заехала.

Митька, наконец, увернулся от очередного удара. Вскочил и бежать к деревне. Отбежал саженей на десять, обернулся. Подтянул галифе и показал роговским пахарям кулак. Павел поднял с полосы увесистый камень, побежал, бросил в Митю, да не попал. Куземкин убегал без оглядки, а Серега тоже начал палить камнями вдогон Куземкину.

Один Карько, шевеля большими ушами, видел, что случилось в четвертом поле около роговской борозды.

Павел ударил о землю шапкой, схватился за буйную голову:

— Все, Серега... Теперь упекут... Беги домой к дедку, скажи... Беги, говорю! Не плачь...

Павел и сам не знал, что надо передать дедке Никите. Его все еще трясло от гнева.

Держась за оглоблю двумя руками, пахарь прямо лбом уперся в теплый пах мерина:

— Каюк...

Мерин вздохнул глубоко и шумно.

IV

За неделю до Николина дня распустилась черемуха. Она забелела по всем опушкам и распадкам лесным, по скотским прогонам, над рекой и в родниковых овражках. Но особенно густо цвела на огородах и в палисадах. Недвижным кремово-белым облачком нежданно-негаданно явится под окном либо на задворках, окутает дом и все около дома сладковатым терпким своим духом, разбудит стариковскую память, кинется в голову, одурманит, растревожит юное сердце.

Но в самый разгар черемухового буйства грозно вздохнуло Белое море. Пронизывающий холод сочился с севера сквозь таежные гривачи. В боязни ночного инея люди закрывали старыми половиками обрубы капустных и огуречных рассадников. На ветру средь чистого поля мерзли задубелые уши, а в лесу либо на солнечном усторонье прошибала жара до пота.

Шибановцы общей артелью еще ходили к осеку, догораживали в лесу большую поскотину. Так уж хотелось Палашке Мироновой, как раньше при отце и при матери, сходить со всеми в лес к осеку! Да не уйдешь, нет ни отца, ни маменьки, ни родимого дома. Правда, сама стала маткой, хоть сирота-сиротой и ночует в чужом доме. Зыбку драночную с березовым очепом и ту отняли... Когда семейство Брусковых вселилось в свой дом, Самовариха раздобыла откуда-то очеп. Она же нашла большое старое веко*, вытряхнула из него в сундук веретена и подвесила на веревочках к очепу:

— Рай, не зыбка! — сказала. — Так сама бы и поспала в эдакой-то...

Самоварихе, правда, некогда спать и на широкой горячей печи. Обрядила скотину, топорик на плечо, кусок в зубы и в лес, к осеку, с ватагой баб и подростков.

Палашка с утра — за кросна. Скрипят подножки, челнок летает справа налево, дважды хлопает бердо. Младенец пробудится в зыбке, мать качнет за веревочку и снова хлоп-хлоп. Не пройдет и часу — пол-аршина холста! Отпустит

* Плетеная из дранок плоская корзина для хранения сушеных грибов, ягод и т. д.

Палашка притужальник, расстопорит тюрик с основой, переведет готовый холст на валик, закрепит основу и опять хлоп да хлоп.

А за низким окном Самоварихиной избы встало кремово-белое облачко. Запах белых черемуховых цветов проникает в избу и в окна, и в двери. Палашка ткет. Порою она качает зыбку, и хочется ей то запеть, то заплакать. Но некогда ей ни попеть, ни поплакать. На тюрике еще много основы. Хлоп-хлоп...

Вдруг в сенях, на мосту, упал то ли водонос, то ли воротный засов. Двери в избу распахнулись.

— Здоро́во живем!

Акимко Дымов, в хромовых сапогах, в праздничном пиджаке,на один только миг приостановился посредине избы под матицей. Сразу шагнул к Палашкиным кроснам. Палашка остановила тканье, поздоровалась.

— А где Самовариха? — Дымов оглядел избу.

— Тебе на што Самовариха? — спросила Палашка. — Тоньку-пигалицу в те разы требовал, нонь подавай ему Самовариху.

— Палагия, вся на тебя надия! Не надобна мне ни та, ни эта, а ты у нас лучше всех!

И Дымов запустил обе руки под мышки ткачихе.

— Отстань! — обозлилась Палашка. — Лучше всех... И у тебя одно на уме.

Она вылезла из-за кросен. Качнула зыбку, сдернула с гвоздика рукотерник и промокнула глаза. Дымов сник, сел на лавку к столу и вытащил из кармана початую бутылку.

— Ладно, Палагия Евграфовна. Ты не сердись. Дай-ко лучше ножик да луковицу. Ну и черепяшку какую-нибудь.

— У тебя, Акимушко, что северни за праздник? — усмехнулась Палашка, подавая хлеб и луковицу с солью. — До Николы-то вроде бы не до̀жили, а ты ходишь в хромовых сапогах. А много ли жита насеял? Чево опеть прибежал в Шибаниху?

— Чево? — не по-людски засмеялся Дымов. — А вот чево. Слышно, у вас в Шибанихе объявился поп! Дак я к ему на исповедь... Правда ли, что поп третий день у вас в деревне ночует? У Пашки Рогова в доме? Дак вот, сходила бы ты...

Палашка качнула зыбку и в тревоге присела на табуретку. Гость махом опорожнил стакан, приставил к носу разрезанную луковицу.

— Где Самовариха? — тихо спросил он.

— Ушла к осеку. Тонюшка тоже в лесу, шел бы ты туды...

— Палагия Евграфовна... — Дымов долго глядел в пустой стакан. — Может, выпьешь со мной? Не будешь, я тебя знаю... Дак я тебе поклонюсь хоть в ноги, сделай одно дело... Сходи... Сходи за Верой Ивановной! Сбегай... А я и зыбку качну и чего хошь для тебя сделаю.

— А ежели не пойдет?

— Дак ты сделай, чтобы пришла!

Палашка видела, как Дымов сжал кулак, слышала, как скрипнул зубами. "До чего же парень хорош, до чего ядрен, какая сила в руках, какая жара в глазах! Да на Тонькином месте босиком бы по снегу за ним бежать, не то что узориться. Ой, дура какая! Да и ему вроде бы не нужна, Тонюшка-то... За Верой послал... А што я-то? А ничего, возьму да и сбегаю! Вот!"

Такие мысли промелькнули в Палашкиной голове, пока надевала казачок и сапоги на босу ногу.

Выглянула за ворота — на улице никого. Все равно, лучше задами. Шмыгнула в загороду, перебежала хмельник и вниз к реке, как будто бы к бане. Снизу поднялась к роговскому подворью. Летние ворота открыты. На припеке, укрытый от холодного ветра южной стеной, возился с топором Сережка. Новые, только что вырубленные ходулины лежали на земле. Палашка сказала:

— Дома Верушка-то? Скажи-ко ей, чтобы пришла поскорее ко мне! Не надолго, чтобы подсобить пряжу сновать! Скажи, батюшко!

И Палашка теперь уже напрямки через огороды побежала обратно. Она спряталась в хмельнике Самоварихи, притихла и вскоре увидела Веру. Та, укутанная в зимний платок, прошла мимо изгороди и хмельника. Ворота в сени хлопнули. Палашка совсем обезумела. Какая-то горькая злость вскипела в горле и вместе со слезами от холодного ветра сочилась из глаз, волнение мешало обду-

мать все как следует. "Вот! — мысленно что-то доказывала она кому-то. — Вот! Пусть. Так и надо, пусть..." Что пусть? Кому и что так и надо? Про это она себя не спрашивала и ни во что сейчас не вникала. Через некоторое время она решила выйти из хмельника. Палашка этого не запомнила. Запомнила она лишь то, что уже на рундуке Самоварихиной избы встретила Веру. Вся в слезах, подруга остановилась, дрожащими руками перевязала платок и сказала Палашке:

— И не стыдно тебе? Неужто не стыдно было? Ведь я мужняя жена, у меня двое деток, оба крещеные. А ты позоришь меня... Тьфу!

И Вера отвернулась от задушевной подруги. Не оглядываясь пошла она от подворья, а Палашка обозлилась еще больше и вбежала в избу.

Ребенок плакал в плетеной зыбке. Аким Дымов стоял посреди избы, голова под самую матицу, весь красный, с нездешним лицом. Не глядя на Палашку, он рванул рубаху. Пуговицы покатились по половице. Сдернул с головы новую кепку и бросил ею прямо в божницу.

— Все одно, рано или поздно моя будет! — сказал он, скорее себе, чем Палашке. Повернулся и сапогом ударил тяжелые двери.

Палашка в страхе и в диком отчаянии ничком кинулась на кровать, ткнулась мокрым носом в жесткую Самоварихину подушку.

* * *

Павел ждал ареста если не с часу на час, то со дня на день. Едет ли кто берегом, идет ли незнакомый шибановской улицей, щеколда ли на воротах брякнет, телега ли скрипнет в заулке — все казалось, что это за ним. Давно налажена котома сухарей. В четвертое поле Митька больше не появлялся. Вспаханы и посеяны оба загона. Дедко насеял ячменя и овса, уже проклюнулось. Небольшой пригончик по бабьим просьбам выкроили под лен. Вот и картошка в огороде посажена, и к осеку схожено, а за ним все не идут. По ночам не вовремя просыпался, думал: "Женка вся извелась. Сразу бы, что ли... Чего они тянут?" Когда подряжали пастуха, Павел видел Куземкина. Как будто ничего не случилось. В другой раз у клюшинского гумна встретились лоб в лоб: Павел хмуро прошел дальше, а Митька даже кивнул, вроде бы поздоровался. Не знал Павел, что и подумать.

Так дожили до Николина дня...

И до Троицы дожили, а за Павлом все не шли. В сухарях завелась какая-то моль. Аксинья вытряхнула их из мешка и вручную пестом истолкла в березовой ступе. Споила корове...

На Троицу выросла в загороде трава, привезли с дедком брошенный у реки жернов. Серега с Аксиньей надрали много корья. Павел Рогов с часу на час все ждал собственного ареста.

Не приходил в голову Павлу Рогову простой и ясный вопрос: а отчего это в Шибанихе нет никаких разговоров ни про Митьку Куземкина, ни про Павла Рогова? Разговоры были, конечно, но по отдельности и совсем не о том. Куземкин просто-напросто никому не сказал, как пороли его в четвертом поле. Ни одна живая душа, кроме Сереги да мерина, не знала, что случилось в четвертом поле! Серега давно научен молчать кое в каких делах, даже Олёшке не рассказал. Или рассказал все ж Олёшке-то? Павел попробовал выведать у брата, что он знает, что не знает. Нет, ничего Олёшка не знал. Вот так Серега! Вот так Митька! Опять у Куземкина пролетарский колхоз, даже напахали с Кешей Фотиевым да с Мишей Лыткиным. Пахать, можно было и не пахать, у Евграфа было под зябь вспахано. Заборонили колхозники, овса и ячменя посеяли. (Рассевать в колхозе Самовариху звали.) Митька Куземкин опять ходил с документациями. В Николу напился, плясал под лашкаревской черемухой:

Старая сударушка,
Глазам не поводи,
Ты сама не ладно сделала,
Сказала — не ходи.

(Тонька-пигалица только в платок прыснула, она и не подумала водить перед Куземкиным невеселыми своими глазами.)

В Троицу председатель плясал в Ольховице, был там в гостях. Отчего и там не сказал никому, не нажаловался, как пороли его в четвертом поле?

Может, Куземкину стыдно было, что пороли кнутом и что сдачи не дал? Может, бумагу не настрочил на разу, а потом и зло прошло? Может, и совесть засказывалась, припомнил грех с пачинским пиджаком, с маткиной наволочкой, с меерсоновскими червонцами. Кто знает? Не трус же был Митька, не боялся же он, что убьют. Вот как высоко на церкву лазал и то не боялся. Правда, гороховый флаг одним углом от креста отцепился, прибило материю первым летним дождем и обмотало вокруг луковки травяным ветром.

Павел как будто бы слегка успокоился насчет Куземкина. Но не узнаешь вовек, с какой стороны встанет ненастная хмарь, откуда дунет поднебесная злоба... Бумага в район ушла отнюдь не от Митьки, и совсем не про четвертое поле писалось в этой бумаге.

В начале Петровского поста умерла в Ольховице мать Катерина Андреевна. Отстрадалась сердешная на банном полке! Павел приехал было за ней, привез корье и хотел на обратном пути увезти в Шибаниху. Но везти уже было нечего: лежала Андреевна сухая и легкая в прохладной бане. И был у нее настоящий пост. Третий день ни крошечки в рот не брала, хотя Матрена и Славушко носили в баню еду. И воду Андреевна глотать уже не могла, а когда Павел хотел унести ее в одрец, очнулась, заплакала: "Паша, не трогай меня, схорони тутотка..." Под вечер благословила обоих с Алешкой. Постонала немного и снова впала в беспамятство. Павел отправил подводу в Шибаниху с Иваном Нечаевым. Бродячий священник, что пришел из Залесной и с неделю тайно прожил в Шибанихе у Роговых, был, по слухам, где-то поблизости, то ли на Горке, то ли в Ольховице. Когда Андреевна умирала, Павел послал Матрену искать его, чтобы почитал хотя бы псалтырь, но она не нашла попа. Славушко утром с помощью других соседей выкопал могилу. Матрена с Маряшей обмыли Андреевну, мужики выстрогали сухие доски и сделали гроб. Едва ли не все ольховские бабы и старухи оказались на похоронах, пришли кое-кто и мужской пол. Павел послал Славушка в магазин, Матрена раскинула скатерть, образовались вроде бы небольшие поминки. Как раз в этот момент и прибежала из сельсовета растрепанная Степанида:

— Павло Данилович, ведь меня за тобой турнули!

— Кто? — Павел отставил поминальную стопку.

— Да этот, с лысиной-то. На гармонье-то который играет...

— Фокич? Пусть играет, а мне не до пляски.

— И милиция тут, — добавила Степанида.

Павел оглядел поминки, извинился перед мужиками и, стараясь быть спокойным, спросил Степаниду:

— А на што я им?

— Да все попа-то ищут! Акимко им грит, что видел попа в Шибанихе.

— Ну дак с Дымова бы и спрашивали! — сказал Славушко, подавая Степаниде налитую рюмку.

Павел не пошел в сельсовет. Вместе с братом Алешкой он пешком ушел домой в Шибаниху, а через неделю с конным нарочным из Ольховицы привезли повестку. На серой толстой бумажке со штампом в левом углу печатными буквами значилось:

д. Шибаниха Ольховского с/с

гражданину Пачину П. Д.

На основании постановления ВЦИК от 15.II.30 г. вы привлекаетесь к уголовной ответственности по статье 61 УК РСФСР. Вам следует явиться в Народный суд к 10 часам утра 12.VII. 1930 г.

Нарочный — ольховский подросток — попросил расписаться в получении, спрятал карандаш и бумагу с подписью в карман и стукнул по лошадиным бокам босыми пятками.

— А где живет Акиндин Судейкин? — спросил нарочный. — Ему тоже повестка.

Павел не слушал. "Вот тебе и весь сенокос, — мелькнуло в сознании. — Откосился..." Руки ослабли. Новое березовое косьевище лежало у ног. Опустился на дедков чурбак под взъездом. Что за шестьдесят первая статья, какое постановление? Фамилию ставят старую, отцовскую...

Двенадцатого к десяти. Пешком уже не успеть, надо ехать на лошади. Даже в голову не пришло, что обратно могут и не отпустить. Какая за ним вина? Митьку выстегал погонялкой? Дак в праздники с усташенскими дрались бывало и кольями. Никого не судили. "До чего дожил, в суд вызывают, как колодника..."

Светило теплое, ясное, слепящее солнце, ветер дул теплый, настойчиво давил с юго-востока. Махали над миром крылья роговской мельницы. Скворцы в березах все еще пели, не могли угомониться с весны. С поля веяло духом цветущего в сто цветов разнотравья. Снизу, с реки долетали голоса купающихся ребятишек. Все везде бы ладно, тепло, солнечно... Лишь в роговском доме нависла невидимая печальная мгла. Всех, вплоть до младенца, ознобила сердечная стужа, когда узнали, с чем приезжал нарочный. Молчал большой роговский дом... Не скрипела плетеная зыбка, не стучали в зимней избе неустанные кросна, не звенели ведра, не хлопали ворота. Один петух то и дело глупо орал в хмельнике.

Павел сидел на чурбаке под взъездом в тяжком раздумье. Из летней избы долетел сначала приглушенный, словно бы собачий скулеж. Он становился громче и громче, перешел уже и на два голоса.

— Иди, скажи бабам-то чего-нибудь, — услышал Павел дедка Никиту. — Когда ехать-то надо?

— Завтре... За што, дедушко? Чево им надо от нас? — Павла и самого чуть не трясло.

— То и надо, чтобы все хромому бесу служили. Да не эк служили, как богоборец Митька Куземкин, а почище. Кресты своротить много ли надо ума? Да ведь и мы с тобой от ево, антихриста, не далеко ушли, от Митьки-то.

— Выходит, у тебя что я, что Митька...

— А кто лучше-то, где? Вон в люльке ногами мелет. Может, этот будет воин Христов...

— Да ведь не дадут и ему на ноги встать! — в отчаянии закричал Павел.

Дедко ничего не ответил и побрел в загороду.

Пришел босиком Киндя Судейкин, испуганно показал Павлу свою повестку:

— Вызвали! В свидетели! А чему я свидетель? Вон Селька Шило у их главный свидетель, пусть он и идет в ихние района! Разгребы... Пашуха, ты гляди, што у меня есть...

Судейкин оглянулся и вытащил из кармана школьную тетрадку. Отогнул листок с печать, зашептал:

— Ежели тебе справка нужна какая, написал и дело в шляпе. Бери, ежели...

Павел покачал головой:

— Где ты взял-то?

— А какое твое дело, где, бери да и все! Мало ли где. Ты в суде-то раз им бумагу. Нонче вся жизнь на справках.

— Нет, Акиндин, обери... Не буду и связываться.

— Ну, гляди сам, — обиделся Судейкин. — Я думал как лучше. Не! Эти гумажки нам ешшо пригодятся! Только ты — ни-ни, чтобы глухо.

К ночи о двух судебных повестках знала и говорила вся Шибаниха. Пришел Володя Зырин, сказал, что и ему надо ехать на станцию за вином, что лучше бы ехать вместе. До Ольховицы корье повезет, еще просятся Киндя и Тонька-пигалица с поповной-учительницей.

Павел не спал всю ночь, держа на сгибе правой руки голову Веры Ивановны. Рука была мокрой от женских слез. С вечера Аксинья все же сумела затворить, а рано утром испечь подорожники. Дедко еще до восхода успел помазать колеса одноколой телеги. Когда показалось солнышко, он запряг ленивого с ночи мерина. Потыкал бока, спину, шею и брюхо лошади дегтярной мазилкой, чтобы меньше садилось оводов. Кубышку с дегтем привязал к тележному передку, обвязал тряпицей отбитую косу.

Народ, кое-кто с косами, копился в заулке.

— Чево Володя-то Зырин, тоже в суд?

— За вином!

— Небось свою лошадь дома оставил, запряг ковхозную.

— Какая она ковхозная? Евграф Миронов в ковхоз не записан.

— Зато кобыла записана.

Зацепка пряла ушами, она чуяла, что говорят про нее. Тоня с учительницей

привязывали свою поклажу сзади двуколой зыринской телеги, груженной сухим корьем.

— А куды Антонида-то? Тоже в Вологду?

— Нет, эта еще дальше. Завербовалась, говорят, в Архангельскоё.

— На корье-то, не больно и мягко.

— Уйдут и пешком, не маленькие.

Вера Ивановна вынесла корзину-пирожницу, Павел, в сапогах, в шерстяном костюме, воткнул в тележную щель дорожный топор:

— Не реви! Через три дня буду дома!

Она ткнулась ему в плечо, осушила слезы о его синюю ластиковую косоворотку. Он запрыгнул в телегу, схватил ременные вожжи. Дедко перекрестил Павла и мерина:

— Поезжай низом до Ольховицы. У реки травы накосишь.

На большой-то дороге и оводов больше...

Вера открыла отвод, и Павел, не глядя на жену, направил мерина под гору, к мосту. Зырин, груженный сухим корьем, вместе с учительницей и Тонькой-пигалицей поехали большой дорогой. Судейкин догнал их уже за отводом в поле.

Карько ни с того ни с сего остановился на средине моста. "Не хочешь идти, знать, не к добру..." — подумалось Павлу. Пришлось ударить вожжиной. Вспомнилось то лето с купанием коня, когда только что вышел в примы и стал Роговым, когда задумал про мельницу, вспомнилось и про огнестрельный прибор, брошенный в глубину омута. "Может, не надо было бросать?" — мелькнуло в уме. Еще горше стало, когда проезжал заречной пожней. Накосить бы сразу травы, но у сеновала, где была схватка с Игнахой, даже Карько не захотел останавливаться. "Пошел, Кареван! — крикнул ездок. — Вперед, заре навстречу..."

Солнце едва оторвалось от горизонта, заслоненного березовой и ольховой порослью. Еще пищали ночные кровожадные комары, а первый матёрый овод с желтым полосатым брюхом уселся на репицу лошади. Павел смахнул его вожжиной, подумал: "Хитер кровосос... Вишь, уселся на самое безопасное мето, ни мордой, ни ногой, ни хвостом тебя не достать. Напьются чужой крови и улетают. Вот так и нашего брата. Кусают почем зря, клюют, а оборониться нечем". Он старался не думать о том, что творится там позади, в доме жены. На пожнях трава была высока и густа, вся она полыхала молодым зеленым своим огнем, пронизанным разноцветными бликами. Особенно ярко светились малиново-розовые полевые гвоздики. Яростно-желтые, почти золотые купавы уже отцветали, уступали место под солнышком синеве колокольчиков. Семена многих трав осыпались. Можно бы и косить, успевать, пока стоят знойные дни...

Павлу не хотелось являться в Ольховицу. Проехать бы мимо, чтобы никто не увидел, да больно много надо открывать отводов и раскладывать заворов, если ехать полями. Пришлось правиться через родную деревню... Эх, ступай, Карько, не косись в родимый заулок! Нету там никого, кроме Гривенника. И у лавки нечего нам делать, и у сопроновского мезонина. Пошел дальше! На кладбище заезжать тоже не стоит. Еще и земля на материнской могиле совсем свежая. Ступай дальше, друг бессловесный!

Так бы и проехал Павел без остановки всю Ольховицу, но на выезде, около прозоровского дома, где была теперь контора и жил председатель Димитрий Усов, дорогу у отвода загородила чья-то пустая подвода. Павел вылез из телеги и хотел отвести подводу в сторону, чтобы открыть отвод и выбраться, наконец, в чистое поле. Едва он взялся за-под уздцы, как от прозоровского флигеля долетел голос Митьки Усова:

— Стой, стой, погоди, Павло Данилович, я тут...

Усов, закидывая хромую ногу, спешил к отводу:

— Погоди, Данилович! Я тоже на станцию! Попутчиком будь...

— А чего? Откуда знаешь, что и я в район? — спросил Павел, здороваясь с Митькой.

— Да уж знаю, паря. Давай ты спереди, а я-то сзади тебя.

И Митька открыл отвод, пропустил Карька вперед.

— А ты чего на станцию-то? — спросил Павел.

— Да вишь, за вином послан. От потребиловки...

— Володя Зырин за вином да и ты за вином, — сказал Павел, но Митька уже

не расслышал. Обе лошади дернули. Оводы не давали стоять спокойно. Павел пустил Карька одного, а сам сравнялся с телегой Усова. Митька предложил ему место в своей телеге. Павел отказался. Обоим надо было накосить травы, чтобы мягче ехать.

— Я косы-то не взял, накидал старого сена, — оправдывался Усов, закуривая. — И колеса скрипят, не мазаны. Не знаю, как и доеду... А чем мазать-то? У нас в Ольховице ни мази, ни дегтю нету. Вон на Горке есть дегтярники, да скалья-то не надрано. Без дегтю сидим... Сапоги и те нечем помазать.

Павел усмехнулся, не стал говорить, почему Ольховица осталась без дегтю. Все дегтяри, так же как и мельники, вплоть до самой Пунемы записаны в буржуазный класс и обложены налогом. Все забросили свое дегтярное дело. Усов про это и сам как член ячеи знал да ведал, чего он сам на себя жалуется?

Во ку, во кузнице,
Во кузнице молодые кузнецы, —

запел Усов и хлестнул по кобыле, чтобы не отстать от передней подводы.

"И во кузнице та же стать, много не накуешь, — подумалось Павлу Рогову. — Один только и есть простор, что вина зелена в лавке досыта..." Осталась и Ольховица позади, скрылась из виду. У Карька свихнулась на бок шлея, оводы облепили конскую репицу. Надо было остановиться, подмазать это место дегтем и накосить травы.

Вот и отворотка к водяной мельнице, вот знакомые с детства пожни. Нет, лучше уж не тут покосить, лучше проехать подальше. Душа скорбела от всего, что было перед глазами и в памяти. Сердце билось неровно, зубы сжимались. Что ждет его в районном суде? Вон Усов, этот сидит да поет, видать, опять с похмелья. В похмелье поет и с похмелья поет...

На отворотке около безымянной полянки съехали с большой дороги. Ездоки отпустили чересседельники, чтобы лошади попаслись. Павел взял обмотанную тряпкой косу, пошел в траву. Чья пожня, не Насонова ли Гаврила? Она и есть. Мышьяк да клевер. Усов, хромая, подоспел сзади:

— Дай-ко я покошу. А ты клади.

Павел подал косу нежданному спутнику. Усов с прикряхтыванием начал косить. Павел взял беремя тяжелой душистой травы, понес к подводе. В телеге ольховского председателя лежало прошлогоднее сено. Павел сдвинул его в передок, чтобы положить траву, и удивился: под сеном лежала прозоровская берданка. Она! Та самая, из которой целился в Павла Игнаха Сопронов. Для чего в дороге нужна она Митьке Усову? И как попала она в Ольховицу? Павел завалил ее свежей травой и сделал вид, что ничего не заметил.

Усов оказался добрый косец. Вскоре обе телеги доверху набили хорошей травой, надо было подтягивать чересседельники и ехать.

— Садись на мой воз! — предложил Павел. — Твою кобылу пустим вперед. Колхозная или своя чья?

— Нонче дома одна баба своя, остальное все колхозное.

— А не боишься, што и бабу отымут?

— Пускай! — отшутился Усов. — Только чтобы вместе с детишкой. Мне было бы вино кажой праздник, проживу и без бабы...

Павел обвязал тряпкой косу и пристроил в передок вострием. Усов залез в телегу. Павел вывел усовскую подводу на большую дорогу, но тронуться не успели. Подъехал Володя Зырин на своей обширной двуколке. Он сгрузил в Ольховице шибановское корье. С одного боку сидела учительница, с другого Тонька-пигалица. Киндя Судейкин топал пешком рядом с телегой:

— Вот, поехали девок на государство сдавать, больно много их развелось! Зырин, ты погляди, почем нынче девки-то? У тебя записано.

Зырин не отозвался. Тоня не утерпела, сказала:

— Заодно, Акиндин, и тебя примут!

— Устарел. Кому я без зубов-то нужен? А вот на тебя, Тонюшка, много будет охотников. Пашка, давай я к тебе за кучера!

— Давай, — согласился Павел и залез к Усову. — Только бегом не гони.

Киндя переложил свою котомку в роговскую телегу и взыкнул. Недовольный мерин оглянулся на нового ездока, но пришлось дернуть. Теперь тронулись сразу три подводы, получился малый обоз.

Зной становился все гуще, солнце поднялось над лесом, стаи оводов гудели и кусали теперь не только лошадей, но и возниц. Да и всех попутчиков без разбору. Было уже около девяти часов. Телега усовская и впрямь пела с каждым поворотом левого колеса. Павел прихлопнул ладонью на колене сразу с полдюжины оводов:

— Ты, Дмитрий, скажи, чего это их так много?

— Ково?

— Да кровососов-то этих... Жучат и жучат...

— Иной чуть ли не с воробья, — согласился Усов, не догадываясь, о ком толковал Павел Рогов. — Проткнет, как шилом сапожным. Кожу-то...

— Да. А ему вон и брюхо проткнешь, хоть бы что. Гляди вот!

Павел поймал крупного овода, вытянул из прошлогоднего сена сухую былинку. Проткнул ее сквозь полосатое брюхо и отпустил овода. Тот полетел прочь вместе с грузом, и его долго было видно в знойном воздухе.

Нет, не выходил разговор с трезвым Усовым. Даже о колхозе ничего не рассказывал ольховский председатель. Злость и горечь все больше копились на языке, но Павел сдерживал и злость, и горечь. Он вынул из пиджака судебную повестку и показал Усову:

— Вот! Погляди. Не боишься, што и тебе такую пошлют?

Митька крякнул. Дернул веревочными вожжами.

— Боюсь, Павло Данилович! Как не бояться? Нонче таких нет, чтобы не боялись... Ты вон гляди на дорогу. С левой стороны канава, и с правой канава. Игнаха Сопронов уж на што упруг, и то загребли.

— За што его загребли?

— Не знаю! Вроде за левый загиб.

Павлу хотелось спросить, против какого загиба припасена под сеном берданка. Вновь утерпел, ничего не спросил. Уж не его ли караулит с ружьем Митька Усов? Это подозрение волной прошло по всему и без того жаркому телу. Захотелось одним пинком вышибить спутника из скрипучей телеги, исколотить берданку о Митькину спину. Но вспомнилось, как порол погонялкой другого начальника, и стало смешно. Злость пропала так же быстро, как накатилась.

На волоку догнали Гурю, залесенского дурачка. Тоже с котомкой. Сапоги не по росту и вроде бы разные. В шапке. Идет, котомка на палочке через плечо. Холщовый балахонишко на левой руке.

— Гуря, а ты куды? — крикнул Судейкин.

— Здраствуйте пожалуста, здраствуйте пожалуста, — бормотал нищий и, не глядя на ездоков, ступал по обочине.

— Садись, Гуря, подвезу до деревни! — кричал и Зырин, но Гуря лишь бормотал свое "здраствуйте пожалуйста" и не глядел на Зырина.

— Ну, дурак недоделанный, — в сторону плюнул Зырин. — А куды, Гуря, правишься нонче?

— В район, в район. На комиссию. В районе меня ждут, в район, в район!

— Многих вызвали-то? — подделался Зырин под Гурю, но дурачок все твердил про комиссию да, сторонясь от подвод, ступал и ступал по обочине.

Зной трепетал вдали над березами и над сосновой поскотиной, скрипело усовское колесо, чихали от пыли потные кони. Дороге не видно было конца, не было счету ни оводам, ни белым облачным пуховичкам, медленно и лениво идущим с юга на север.

Зырин не унимался:

— А скажи, Гуря, оводы-то тебя тоже кусают?

— Оводов-то я боюсь, боюсь, летают оводы-то, летают, боюсь я их, убегаю от их. В район, в район, там оводов-то нет.

Гуря так и не сел в телегу.

— Устанешь, дак скажи, я тебя тоже подкачу, — сказал Киндя Судейкин, который ехал на роговской лошади. Гуря ничего не ответил. Он топал да топал, подобно тому, как топал вспотевший Карько, как ступала зыринская, вернее мироновская кобыла Зацепка. Та ольховская лошадь, что везла сейчас Павла с Усовым, была уже без всякого имени. Долга дорога до района, ох долга! Успеешь вспомнить всю свою жизнь, с начала до теперешних оводов.

Павел приткнулся к тележной обшивке, замолчал в тревожной дремоте. Усов же запел было свою обычную, про отряд коммунаров. Запел да не допел, тоже

задумался и долго сворачивал табачную самокрутку. Махорочный дым не испугал оводов, они гудели еще настойчивей.

Впереди всех правил роговским Карьком Судейкин. Его высокий купеческий картуз мелькал за усовской дугой, а что творилось под картузом, никому не известно. Может, думалось Кинде про своего Ундера, может, вспоминал голоногих своих девчонок, которым насулил привезти гостинцев. А на какие шиши покупать гостинцы-то? Киндя не боялся суда, хотя знал свою вину. Какая вина? Частушки в Шибанихе пели испокон веку, хоть при старом режиме, хоть при новом. А ежели оштрафуют? Возьми с меня горсть волосья... Киндя и сейчас, в жаре и на оводах, придумывал коротушки.

Последней в обозе бодро ступала Зацепка, хотя ей-то было потяжелее всех, она везла трех человек. Зырин давно отдал вожжи Тоньке, а сам сидел свесив ноги. О чем думал Володя Зырин? Обо всем, что приходило в голову. Но больше всего его волновала учительница Марья Александровна. От нее веяло на Зырина чем-то приятным и ему неизвестным. Сборчатая, с пышнями, белая кофта и черная юбка учительницы были Володе не интересны, а вот запах... Запах от нее не позволял Зырину ехать спокойно. Он то и дело косился на полные, в черных чулках, ноги учительницы. Тонька давно углядела, куда Зырин то и дело косит глаза, хотела сказать что-то ехидное да не придумала. Потом ей стало почему-то смешно, она еле сдержалась, чтобы не фыркнуть.

Марья Александровна еще во время масленицы уговорила Тоню вместе поехать в Вологду за покупками, и Тоня с ранней весны, когда отелилась Пеструха, копила деньги. Носила чуть не каждый день утренний удой, сдавала Зое Сопроновой. Маменька с братьями знали, куда и для чего она копит деньги, никто из родных на нее не сердился. Поедешь и поезжай. Как раз перед сенокосом и время свободное.

Но вот, когда объявился в Ольховице архангельский вербовщик, за одну слезную ночь удумала девка подписать вербовочную бумагу. И ни мать, ни брат с невесткой не могли своротить: поеду и все! Шесть месяцев не велик срок. Спасибо брату Евстафию, один он встал на ее сторону. Все равно, сказал, весною на сплав пошлют либо зимой в Сухую курью, пускай едет в Архангельск. Не пропадет, не маленькая...

Что думала, какие мысли таились сейчас под синим платочком? Никому, кроме Веры и Палашки, эти думки не доверила бы, а им-то обеим не до нее нынче, ничего и не спрашивали. А спросить-то было чего...

Аким Дымов всю зиму выходил на шибановские беседы. Вроде бы к Тоне ходил, но они-то с Палашкой знали, из-за кого ходит в Шибаниху Аким Дымов. Ухаживал за ней только для виду, самого тянуло в другую сторону... Какая ему та сторона! Зря только ноги мнет... Новый начальник Митя Куземкин тоже к Тоне подсватывается, сулил у столбушки новую кашемировку. Нет, не нужна ей Митькина кашемировка. Не было ни одного дня, ни одной ночи, чтобы не вспомнилась ей гроза над ночной Ольховицей и та гостьба у ольховской божатушки, то сусло и тот запах от керосиновой лампы, те белые лавки и те половики, по которым ходила в ту темную, теплую грозовую ночь. Где он сейчас? Увезли и ничего не известно. Прошли слухи, что видели Владимира Сергеевича в Архангельске, в Соломбале. Но кто знает? Далеко до Белого моря...

Тоня задумчиво шевелит вожжиной, отмахивается от оводов. Платочек вышитый белый давно мокрый от пота. Володя, словно угадывая ее невеселые думы, шутливо обнимает ее за плечи, но она знает, что Володя обнимает ее вместо Марьи Александровны. Того и гляди, и за пазуху сунет свою ручищу. Тоня ругается с Зыриным и слышит, как Усов кричит Кинде Судейкину:

— Сворачивай ближе к мостику! Покормим часик-другой...

Лошадей распрягли около моста у какой-то речушки, пустили кормиться. Зырин, не раздумывая долго, побежал за кусты купаться. Усов начал развязывать свою корзину с харчами. Тоня отряхнула пыль с нового бордового сарафана и разулась. Материнские с пуговками полусапожки она берегла больше всего. Марья Александровна тоже спрыгнула на траву.

— Иди, Гуря, сюды, пирога дам, — крикнул Судейкин. — Иди, не бойся.

Но Гуря не остановился. Он уходил по дороге все дальше и дальше.

Часа полтора кормили у мостика лошадей, подкормились немного и сами.

И опять запело Митькино колесо, вновь отдохнувшие кони вывезли ездоков на большую дорогу. На привале Павел хотел отвязать кубышку с колесной мазью, но Усов отказался мазать колеса:

— Доеду и так!

Судейкин предложил:

— Ты, Димитрей, посси в ступицу-то, оно и не будет скрипеть. Сурьезно советую...

Усов не знал, обидеться или нет за этот совет.

Павел, сдержав улыбку, пересел на свою подводу, к Судейкину. Взял вожжи в свои руки. Проехали еще один волок. Поле еще одной волости встретило путников полуденным зноем, легким, еле заметным, но слегка освежающим ветерком. Оводов сразу убавилось. В струях дальнего марева дрожали, переливались очертания полевых изгородей, сеновалов, амбаров и бань. Приоткрылся вид большой деревни. Павел обернулся к Судейкину:

— А куда Антонида-то собралась, в Вологду, что ли?

— Туды. Говорит, в гости к наставницам. А я так думаю, что убегает от сплаву. Куземкин ее замуж тащит, она упирается. Вот он и пригрозил, што на сплав отправит.

— А что, и отправит ведь!

— Отправит, — согласился Киндя. — Это дело такое. Чево нам-то с тобой будет, не знаешь? Сроду перед судом не стоял, под старость сподобился. Эх, ёствой корень, куды нас кривая власть вывезла! А, Данилович? То сплав, то лесозаготовки. Вон теперь пятилетку придумали, заем какой-то. А у кого займуют? У меня взаймы дать нечего, одна пустая мотня. Только и знают мужиков пугать, прижимать, судить да ругать да в турму сажать. Да ведь и стрылят, возьмут не дорого! Вон про Фоку Бебякина из Устюга в газете написано. Калинин помиловать отказал, стрылили как зайца. Либо вон братанов из Катромы, тож стр...

— Молчи! — Павел оборвал Судейкина. Тот заглох на полслове. Сжимал челюсти Павел, шел рядом с телегой, сделанной дедком Никитой. Читал он про все расстрелы, о которых писали газеты, знал он, что и отец Данило Семенович, и кузнец Гаврило по прошлогодним постановлениям подлежали расстрелу. Где лежат отцовы-то косточки? Где тесть, Иван Никитич? Тоже, может быть, нету живого.

— Молчи, Киндя... — потише, примиряюще добавил Павел. — Лучше не говорить...

— Да как, Данилович, промолчишь? Тебя вот в суд, меня в свидетели. Вон подъезжаем к большой деревне. Ты тут не ночевал? Я-то в этой деревне, помню, огурцы воровал. Ехали мы, значит, с Ванюхой Нечаевым из Онеги. После Успенья дело было. Проголодались. Ночью, людей будить неохота. Я чужих огурцов нарвал. Через год еду мимо того дома, покраснел что красная девка. Чуешь, вроде гармонья поет?

Они подъезжали к большой деревне. Павел открыл отвод, пропустил все три подводы, закрыл за ними ворота и догнал обоз.

У часовни, посредине деревни, оказалась порядочная праздничная толпа. Нарядные девки и бабы глядели на чью-то пляску, играла гармонь.

— Киндя, а што за праздник?

— Видно, Петров день, — ответил Судейкин.

— Петров день? Дак ведь я именинник! Стой, Карько, тпры! Поглядим, как в чужих волостях гуляют.

Судейкина не пришлось уговаривать. Он по-ребячьи ловко спрыгнул с телеги, бросил мерину охапку травы:

— Вишь, как пляшут, может, и коммунистов у их нет. Наверно, и пива наварено.

Две другие подводы тоже сделали остановку.

V

У часовни две девки плясали кружком да так тщательно, что касались плечами друг дружки, когда в середине частушки смолкали, затем поворачивались и дробили в обратную сторону. Гармонист помогал руками белой нестриженой

головой, перекидывая ее со стороны на сторону. Играл натужно, будто дрова рубил, однако ж гармонь пела приятно, звонко, с печальной нежностью в ладах под правой и с приятной хрипотцой на басах под левой, не совсем умелой рукой. Павел сразу почувствовал все это. Девки и бабы расступились, давая у часовни место проезжим.

Да, гармонь не вздыхала в своей печали, как подобало ей по ее тону и голосу, она захлебывалась от веселого праздничного восторга. Переборы у парня были все одинаковы, но в одном месте Володя Зырин ревниво изловил неизвестный ему переход.

Бабы и старухи пооглядывались на новых зрителей да и отступились, а одна спросила откуда едут: "Не ольховские ли? Ольховские, нечего отпираться".

— А ты как узнала-то? — восхитился Судейкин.

— Да по телеге! — старуха хихикнула. — У вас, у ольховских, всю жизнь копылья-ти низенькие...

— Зато пляшут у вас, как принудиловку отрабатывают, — буркнул Киндя. Нарядная старушонка не расслышала. Она уже обсуждала с товарками достоинства и недостатки своих плясуний.

Сначала при виде гуляющих у Павло защемило что-то в груди. Затем веселое безрассудство родилось где-то в ногах, от земли, что ли, стремительно бросило в жар щеки и уши. Он крепко сдавил зыринский локоть:

— Нет, Володя, твои переборы не хуже... Возьми тальянку-то, а?

Зырин стоял вроде бы в каком-то раздумье.

Две девки заканчивали свой выход, упевали гармониста своими словами: "Еще тому спасибо скажем, кто любил да изменил". Киндя подскочил к Зырину, когда гармонь стихла:

— Иди, Володька, играй! Иди! Пашка спляшет, он сей день именинником.

Зырин прямо через круг решительно двинулся к гармонисту. Тот встал с камня и подал гармонь проезжему. В толпе смолкли все громкие разговоры, женщины заперешептывались, заговорили, заспрашивали, чьи да откуда, куда едут. "А вот мы покажем счас, чьи!" — подумал Киндя и хлопнул по колену своим картузом:

— Пашк? А ну, покажи выходку!

Сердце Павла сильно забилось. Бесшабашное веселое безрассудство, как в детстве, когда нырял в глубокий омут, охватило его всего. Боль последних недель и вся усталость, вся горечь тяжких обид, скопившихся в один тяжкий сердечный ком, вдруг исчезли, когда Зырин взыграл на этой незнакомой чужой гармони. И Павел вышел на середину круга...

Он пропустил один проигрыш без движения. Дождался чего-то непонятного, какого-то самого нужного момента и пошел по вытоптанному девками плотному пятачку, пошел с дробью и с каким-то до сих пор даже самому себе незнакомым переплясом. Земля глушила сапожный топот, но люди-то видели, что и как!

Прошел проезжий сразу два круга, остановился и, покачиваясь в такт игре, спел:

Разрешите поплясать,
Эх, я давно не плясывал.
Потерялась моя доля,
Все ходил расспрашивал.

И опять ноги (о девяти-то пальцах в сапогах) сами понесли Павла. Он слегка раздвинул круг, прошелся вплотную к стоящим бабам и девкам, остановился перед Володей и спел вторую частушку:

Незнакомая деревня,
Незнакомое село,
Незнакомая хроматика
Играет весело.

Зырин играл на чужой "хроматике" так, как никогда ему не игралось, пляска Павла Рогова заразила его, заставила позабыть и про лошадь, и про все остальное. Руки и пальцы Володи кидались и бегали по всему гребню гармонии, меха раздвигались слишком широко. Игрок вошел в такой же азарт, в каком плясал и пел Павел Рогов:

Ох, родина смородина,
Зеленая река,
Ты куда меня направила,
Таково дурака!

Павел на ходу придумал эту частушку. После очередного круга хотел еще спеть что-то про себя, но сбился и замотал головой. Он пропустил один круг, притопывая на одном месте:

Извините, в песне спутался,
Дела не веселят,
Мне на этой на неделюшке
Изменушку сулят.

Народ вокруг все прибывал, но Павел еще раз с дробью и новым для него узором движения прошел круг, остановился напротив Судейкина, топнул, вызывая его на выручку:

Мы с товарищем плясали
У высоких у рябин,
Я досыта наплясался
Ты пляши буде один...

Судейкин только того и ждал. Павел разжал кулак со скомканной кепкой. Обессиленный, опустошенный, не глядя на расступившийся перед ним народ, хромая, прошел к лошадям. Дмитрий Усов, наблюдавший за пляской, начал восторженно что-то говорить, хвалить Павла и Зырина, но Рогов скрипнул зубами:

— Поехали...

— Так ведь вон Судейкин пошел выделывать!

— Поехали... Оне догонят. Киндя не скоро выпляшется...

Из круга долетел скрипучий голосишко Кинди Судейкина:

Не плясальник я,
Опоясали меня
Не широким ремешком —
С огорода колышком.

Павел дернул за вожжи, Карько взялся с места бегом. Хромой Усов еле успел вскарабкаться в тележный задок. Усовская подвода с пустой телегой тронулась следом. Хозяин ее, разволнованный пляской, крутился в телеге:

— Ну, Данилович! Ну, парень! Да я... Это... Как ты без пальца-то? Ух! Мне бы хорошую ногу. Да я... Это... Где мои годики?..

Павел ударил по мерину. Обиженный Карько в галоп вынес телегу в зеленое поле. Отвод в другом конце деревни оказался настежь открытым. Митька затих надолго. Лошадь его поленилась их догонять. Дорога была не больно ровна. В колеях телегу кидало то вправо, то влево.

— Стой, Рогов, остановись! — приказал Усов. — Кобылы не видно...

"Чего останавливаться? Берданка, что ли, потребовалась? Не остановлюсь!" — подумал Павел и снова ничего не сказал. Мерин все же сам остановил скачку, перешел на обычный шаг. Хлопья мыльной зеленоватой пены стекали по конским ляжкам.

— Так... — заговорил председатель. — Нонче, Данилович, ты послушай меня... Вот цигарку только сверну. Неужто не чуешь, куды я поехал-то? Как да пошто... Ведь миня над тобой конвоем послали! Ведь и ружье в телеге лежит...

— Да ну! — притворился Павел, что ничего про берданку не знает. — Заряжено?

— Заряжено. И два патрона в запасе. Картечь на волков. Фокич уполномоченной лично ружье вручил. Вези, грит, глаз с Рогова не спускай. Пали при первом случае...

— Дак ты чево не стрылял, когда я плясать-то вышел? Надо было палить...

— Эх, Павел Данилович, тебе легко говорить! А мне чево было делать? Может, красный билет на стол? Оне вызвали, оба с милицией! Вот, говорят, патроны и вот ружье, поезжай. Я тебе, Данилович, так скажу, у меня выходу не

было. А штоб ты в моей дружбе не сумневался... Вот што я тебе скажу! Это... Уходи! Вон кустики, лес рядом. Я для виду пальну в другую сторону. А ты котомку на плечи и в лес! На какой-нибудь разъезд, после на паровоз. Только и видели. Уезжай! Все одно тут тебя упекут. Беги! А я лошадей заверну да обратно в Ольховицу. Фокичу доложу, что я хромой, не мог догонить, патрон пустой покажу...

Павел крепко обнял Митькины плечи. Переборол волнение. Его и самого трясло:

— Упекут, говоришь?

— У их все уж налажено! Не отпустят, может, и суда-то не будет. А знаешь, кто на тебя бумагу послал? Акимко Дымов послал.

— Какую бумагу?

— А такую, што ты гарец не свез, што три дня у тебя поп ночевал. Я эту бумагу сам видел у Веричева...

Павел мотал головой от горя:

— Чего говоришь? Какая нужда Дымову меня в тюрьму садить?

— А ты не мотай головой-то. Думай сам, какая нужда...Видать, есть нужда, коли написал да и вручил Фокичу. Говорю тебе, уезжай куда глаза глядят. Беги в лес! Потом смекнешь. Тпры! Забирай котомку! Беги! Пока нет никого...

Мерин остановился. Павел начал было отвязывать корзину с харчами, но вдруг замер:

— А за што? Эх, Митя... Разбойник я, што ли? По лесу-то бегать... Нет, брат. Никуда я не побегу... Я што, тать ночной? Убил кого или зарезал? Нет, брат, уж будь что будет! Явлюсь в райен. Закон-то есть какой-никакой или его совсем нету?

Усов ничего не ответил. Сник, сидя с понуренной головой. Ничего больше Митька не сказал, только пересел в свою телегу. Павел всхлипнул. Казалось, что от всего этого даже Митькино колесо перестало скрипеть, что оводы перестали гудеть, что потускнело солнце вечернее. "Дымов. Акимко... Дымов ходил до него к Вере Ивановне. Холостяком у столбушки с нею сидел. А может, у их и еще было чего?" Он зажал голову руками. Всхрапнул сдавленно, зубами скрипнул и треснул кулаком по тележному краю.

Волок тянулся дальше и дальше. Солнце садилось. Карько устало фыркал, отмахивался от мелкой вечерней мошки и от комаров. Запахло ночной росой, солнце скрылось за лесом. Приближалась другая большая деревня, где приставали с ночлегом шибановские и ольховские ездоки.

* * *

Карько сам нашел знакомый заулок. На подворье, в большом доме, похожем на роговский, со взъездом и двумя летними избами, в иную ночь размещалось по десять — двенадцать ночлежников. Хозяйка всегда ставила для них ведерный самовар. Кипятку и посуды хватало богатым и нищим. Заваривали кто чего мог. Спали тоже кто где, а утром со вторым петухом люди оставляли около самовара по двугривенному, запрягали коней и ехали в свою сторону.

Мужики распрягли коней, не заходя в дом. Чего спрашивать? Если в избе будет много народу, можно подремать и под взъездом либо в своей же телеге. Главное, чтобы напоить и выкормить лошадей.

Павел распряг мерина. Не снимая хомута и седелки, подвел к телеге с травой, сказал Усову: "Гляди, Митя. А я пойду поищу... Через полчасика можно и напоить..."

Усову было понятно, куда и зачем уходил Павел Рогов. Кандейка в деревне, другими словами, потребиловка вроде зыринской лавки, размещалась в другом конце. Лавочник наверняка еще не спал, а ежели и улегся, то ничего. Его будили, бывало, и в полночь.

Настроение у ольховского председателя слегка повысилось. Он пощупал в телеге ружье, завалил его травой и поковылял вверх по взъезду. Надо было заказывать самовар. Время позднее, тянуть нечего. Завтра к десяти Пашку Рогова приказано сдать в районной милиции. "А чего его сдавать? — проскочила в голове

мысль. — Он и сам уедет... Завернуть бы оглобли да и обратно в Ольховицу... Телега не мазана. В колхозе силосовать велят. Новая мода..."

На взъезде, где лежало прошлогоднее сено, наглухо укрывшись овчинным тулупом, спал какой-то мужик. В избе, уже за вечерним самоваром, сидели вместе с хозяйкой три сестры, три украинские выселенки. Усова не однажды по телефону и так трясли из-за этих черноглазых миловидных сестер.

— Здоровоте, бабоньки! Чай да сахар, хлеб да соль! — бодро заговорил Митька. — Разреши, хозяюшка, пристать, лошадей покормить.

— Пожалуста, пожалуста! — Хозяйка мыла уже чашки. — Много ли вас? Тоже ольховские?

— И шибановцы есть! — подтвердил Усов. — На станцию правимся.

— А вон мужик-то на зъезде спит, тоже вроде шибановский, — сказала хозяйка.

— Да ну? Кто, интересно?

— Не знаю, батюшко, не знаю. К самовару не стал садиться. Попросил тулуп да лег на сено.

Трое украинских сестер-выселенок сидели ни живы ни мертвы. Они уже имели дело с ольховским начальством и знали Усова.

— Бабоньки, а вы-то куды правитесь?

— Да какие оне бабы, — со смехом перебила Митьку хозяйка.

— Мне што девка, што баба, лишь бы мягкая.

— Оне у меня девушки все три. Замужем не бывали. Овдотьюшка, надо бы самовар-то вдругорядь налить, — попросила хозяйка.

Та, что была самая молоденькая, вышла из-за стола и проворно унесла самовар в куть, две другие за ней следом.

— Оне у меня пятой день живут, — рассказывала хозяйка. — Летнюю избу штукатурят, уж и старика моего выучили глину-то жамкать. Потолок сделали. Сперва-то драноцками околотят, потолицины-то, после глину копают да коневий кал с глиной мешают. В цетырех домах зимние избы оштукатурили.

Митьке было не интересно, сколько домов оштукатурили украинки. Он ждал Павла, а вместо Павла в дверях оказался Зырин:

— Э, вот он где! Еле вас догонили. Девки, и вы с нами? Ночуете? Ох, это добро!

И Зырин схватил Авдошку в охапку. Она ловко вывернулась из Володиных рук. В избе появились Тоня и Марья Александровна. Положив на лавку свою корешковую боковушку и увидев Груню, Тоня всплеснула руками. Она обрадовалась выселенкам словно родным, достала воложный пирог, даже вроде бы прослезилась, но три сестры молча, одна за другой, исчезли куда-то. "Чего они, бедные, тут делают? Наверно, опять штукатурят". Тоня хотела спросить об этом хозяйку, но появился Киндя Судейкин, шумно потребовал самовар:

— Где жареная вода, севодни праздник! Оксинья, а ты, может, и пиво варила?

— Это ты ли, Акиндин Ливодорович? Проходи, проходи, давно не бывал.

Судейкин давно знал здешних хозяев, много раз останавливался в этом дому. Самовар у хозяйки был скороспелый. Едва уселись на лавках, он уже зашумел.

Усов подался на улицу, чтобы напоить лошадей, чтобы освежиться и встретить Павла с бутылкой. (В том, что Рогов обязательно вернется с бутылкой, а может, и с двумя, Усов нисколько не сомневался.) Спящий на сене тревожно ворочался под овчинным тулупом и бормотал что-то. "Во сне говорит, — подумал Усов. — Пьяный, видать". Других причин сонного говорения Усов не знал не ведал.

Он спустился со взъезда, взял у колодца бадью, надел ее на длинный березовый крюк и начал поить лошадей.

Залесенский дурачок, отбиваясь от ночных комаров, стоял у зыринской телеги и тоже, как тот, кто спал под тулупом, разговаривал сам с собою.

— Гуря, и ты тут? Иди в избу-то, там тебе пирога дадут.

— У меня есть, есть пирога-то. Есть, — быстро заговорил Гуря.

"Чего у тебя есть, — подумалось Усову. — Ничего у тебя нету". Он выпоил коням по две бадьи. Павла все еще не было.

Комары налетели со всех сторон. С писком, с ходу влипались в кожу. Кричал в поле ночной дергач. Кони шумно хрупали, ели траву. Стемнело. Зарница по-

лыхнула. Заржала вдали чья-то местная лошадь. Павел вывернулся из-за угла совсем неожиданно:

— Зови Володю и Киндю! В избу не пойдем... Не станем тревожить. Попроси только две черепяшки... не украли ружье-то?

Усов не уловил насмешки в голосе Павла. Он заспешил по взъезду в избу, мимо спящего под хозяйским тулупом странника. Вскоре он явился обратно вместе с тремя фарфоровыми чашками, а также с Володею Зыриным и Акиндином Судейкиным. Павел сказал:

— Садись! Кто в телегу, кто на оглоблю...

Мерин Карько насторожил уши, его встревожил необычно прерывистый голос хозяина. Павел развязал котомку, достал рыбник и посыпушку. Усову хотелось сказать, что пироги-то Рогову надо бы экономить. "Неизвестно, чем его завтре в районе накормят... А может, и ничего? Оштрафуют да и отпустят... Ох, нет, не отпустят..." Усов вздохнул, взял налитую наполовину чашку:

— Ну, Данилович... Не обессудь. Я тебе чево знал, все сказал. И сделал, чево мог.

Павел налил Володе и Кинде:

— Выпейте...

— А ты сам-то чево, а, Данилович?

Судейкин ответил Володе вместо Павла:

— Да вишь, посуда в чужих людях по очереди. А кто там спит на взъезде-то? Фуражка вроде знакомая...

* * *

Не в небе, а словно бы из-под земли ехидно и грозно рычали небесные громы. То надвигались издалека, то удалялись, ворчливо стихая. Или гремели это вагоны железной дороги, бегущие за паровозом, пробуя обогнать окутанное черным дымом чудовище? Жалобный комариный стон тоже то нарастал и приближался, становился похожим на детский плач, то снова стихал, растворялся в глухой и вязкой, такой непривычной тишине ночлежной деревни. Какая это деревня и где он?

Игнатий Сопронов давно отвык от такой вязкой всепоглощающей ночной тишины. После всего, что видел и слышал он за последние два месяца, после тюремных тревог и допросов, после архангелогородских чекистов и дорожного лязга, он не мог пересилить такой тишины. Ему хотелось проснуться, сбросить какое-то душевное удушье вместе с этим овчинным тулупным запахом. Темя болело во сне еще больше. Наверное, приближался очередной припадок. Кошмарные образы толпились над ним, менялись. Боль разрывала голову, страх и отчаяние нарастали во сне. Он услышал собственный стон, но никак не мог освободиться от болезненной дремоты, не мог сбросить с себя этот страшный тулуп, душивший его.

Близкий мужской говор прогнал от него слуховые призраки. Сознание его прояснилось, он встрепенулся по-птичьи и, наконец, вспомнил, где он. Голова болела, но Сопронов все осознал и вспомнил. После двухмесячного ареста, после всех приключений он идет пешком со станции. Ночует на середине пути. Не хотелось и вспоминать, что случилось за два этих летних месяца, но тюремные вши, ползающие под гашником и под воротом гимнастерки, снова напомнили обо всем. Скачков, это он виноват, гад ползучий! Он оформил уголовное дело за левый уклон. Ладно еще вовремя подвернулся Яков Наумович. Он переправил Сопронова из Архангельска в Вологду и не допустил суда. Скачков за все это еще ответит. Еще вспомнит Сопронова, сука. Отрыгнется и Микуленку за тот очный допрос. Колька бумагу не подписал, гад, а в устных-то словах почти все подтвердил.

Игнаха сел. Сквозь звон в ушах в эту тошнотворную тишину вплетался какой-то неспешный мужской говор. Что это? Кто? Вроде знакомые голоса... Игнаха прислушался. Ольховские! Свои. Куда едут? Митька Усов, еще кто-то. Игнаха узнал глос Володи Зырина:

— Ты, Усов, своим колхозом особо не хвастай! Всю коммуну с прозоровскими хоромами в неделимый фонд записал? Гаврилину кузницу прибрал к рукам? Еще шустовское подворье да и пачинское. Ково ставишь на очередь?

— Ставлю, Володя, не я, — уныло возразил Усов.

— А кто? — включился Судейкин. — Ты предводитель, ты и ставишь! Скажешь: всем делом командует партейная ячея. Да вон Шустов-то Саша сквозь вашу ячею давно проскочил! Сопронова вычистили как вредного алемента. Веричев да ты и осталось-то. Да еще Дугина! Вся табаком пропахла...

"Кроме Зырина да Судейкина с Митькой Усовым есть кто-то четвертый, — подумал Сопронов. — Довезут, ежели к дому правятся".

Распряженные кони ели с телег траву. Очертания домов расплывались в туманных сумерках, близилось утро. Сопронов нырнул под тулуп, когда Зырин неожиданно ступил на взъезд.

"Куда это он?" — подумал Сопронов и услышал ответ Кинди Судейкина:

— А не наше дело куды! Нам с тобой, Данилович, в телегу да храпака. Ежели комары позволят поспать. К девкам Володя ударился! К выселенкам... Я, грит, всех троих давно знаю, еще с весны... Из трех-то выбирать легче...

— А вот нам-то с тобой и выбирать не из чего, — услышал Игнаха голос Павла Рогова. — Одна осталась и та неполная. Усов уснул...

Сопронова перекосило от этого голоса. Опять откинул тулуп, сел, скребя в потных подмышках.

"Пьют... — подумал Игнаха. — И пироги в котомках. Нет, оне не домой едут. На станцию..."

Голодная тошнота подступила к самому горлу.

* * *

Зырин, осмелевший от выпитого, с бьющимся сердцем пробрался в темноту верхнего сарая. Он уже знал, где ночевали сестры-украинки. В этом большом доме было два сенника: в одном спали хозяева, а во втором предположительно ночевали три сестры. У Авдошки такие густые и черные брови... Эх, не успел Зырин приударить за ней как следует, когда выселенки жили у Тоньки-пигалицы! Была такая возможность... Девки только отштукатурили зимовку у Клюшиных, собирались переходить к Новожиловым, а Селька Сопронов с Куземкиным тут как тут. Спугнули, болобаны! Три сестры в одночасье, ночью, снялись и ушли из Шибанихи. Не умеешь, дак не берись! А что ежели в этом сеннике Тонька с учительницей? Нет, не должно... Оне в избе разместились, на лавках...

Зырин подкрался к дальнему сеннику и услышал испуганный громкий шепот:

— Вой! Шо це таке? Хто?

Зырин узнал Груню, старшую. Вкрадчиво, как кот на шестке, зашептал Зырин, зауговаривал: "Грунюшка, матушка, и ты тут? Не бойся меня, я не к тебе... Я к Авдошке... Тише, тише. Я в чуланчик...

— Ни! Не шукай ты их... Господи... Володя, миленькой! Ради Христа, не ходи туды... Не надо туды ходить, не надо...

Но у Зырина было другое мнение. "Как это не надо, ежели очень даже надо?" Зырин заговорил тихо, но вслух:

— Пропусти! Не мешай... Чево это постелили тебе у самых дверей?

Слезные, умоляющие слова выселенки не поколебали зыринскую решимость. В темноте он хотел было перешагнуть через Груню, чтобы проникнуть в сенник, а она, не вставая с постели, обеими руками охватила его ноги, зашептала горько, прерывисто:

— Не пущу! Хлопчику, миленький, не трогай дивчину, ради Христа! Остановися... Все для тебя сделаю, только... туда не надо....

— Сказал тебе, не мешай!

В слезах, путая украинские слова со здешними, Груня увлекла Володю Зырина, уронила на широкую, набитую соломой постель. Зырин враз одурел от бессвязных ее слов и от ее слез, от женского сладкого пота и огуречного запаха из ее рта...

Когда под взъездом во второй раз запел хозяйский петух и в щели верхних ворот начал сочиться рассвет, Груня растрясла голову крепко уснувшего Зырина. Он очнулся и снова потянулся к ней, но она отстранилась:

— Тише! Ничего не говори... Иди! Иди, хлопчику, и никому ничего не сказывай. Не был ты туточки ни утром, ни с вечера... Иди!

Володя Зырин не стал ни спорить, ни объясняться: не был так не был. Вскочил Зырин с постели и по-кошачьи тихо прошел через весь верхний сарай, открыл бесшумные воротца, ведущие в сени.

На верхней площадке взъезда, в ночной тени, еще хранились остатки вчерашней жары, а снизу тянуло утренней росой. Солнышко еще не всходило, за березами палисада заря едва золотилась. Трясогузки, синицы и ласточки только-только проснулись: кто ощипывался, кто пробовал голосок. Внизу стоя спали отдохнувшие кони. Судейкин, Усов и Павел Рогов спали в телегах. Зырин хотел уж было по-разбойничьи свистнуть, чтобы поднять их на ноги. Но... что это? Кто там развязывает роговскую котомку? Человек, спавший с вечера под тулупом, оторвал от роговского пирога большой ломоть, затолкал остаток обратно. Поспешно завязал котомку и начал жадно кусать.

Зырин медленно, даже с некоторой торжественностью сходил со взъезда:

— А што, Игнатей Павлович, может, тамо и выпивка есть? В котомке-то... Мне дак не мешало бы опохмелиться...

Игнаха вздрогнул и подавился. Успел сунуть пирог в карман и нарочно долго откашливался. Когда Зырин подошел ближе, Сопронов вздумал здороваться и протянул Зырину руку. Но Володя как будто не заметил сопроновского движения.

— Как знаешь, — сказал Сопронов.

— А чево тут знать, давно все узнано.

— Я два дня не едал...

— На третий малость закусил... — Зырин свистнул. — Вставай, мужики! Ехать пора. Пока пироги не кончились... Откуда правишься, Игнатей да Павлович?

Игнаха поднялся по взъезду, нашел там свою фуражку, отряхнул. Прежняя злоба вывела его из неловкого положения и решительность вернулась к нему:

— Откуда правлюсь? Отсюды не видно.

Павел проснулся и сел в телеге, ткнул в бок Судейкина:

— Киндя, чево спишь? Комиссары приехали!

Павел выпрыгнул из телеги и прошел к колодцу. Достал бадью с водой, две пригоршни плеснул на лицо, остальное понес лошади. Карько высосал из бадьи не всю воду. Остатки Павел выплеснул на траву.

— Не надо было в траву; давай выльем на Усова, — сказал Зырин. — Вишь, спит как убитый. Гуря, а ты где ночевал?

Неизвестно откуда появившийся Гуря весело забубнил:

— У меня есь, есь где ночевать-то, есь!

— Все-то у тебя, Гуря, есть. Молодец ты у нас. А чего в котомке-то? Ну-ко, покажи, чево у тебя в котомке? Игнатей Павлович, иди, поглядим, чево у Гури в котомке. Устроим ревизию...

Судейкин пробудился в телеге. Зевнул, спугнув с лысины опузыревшего от крови, беспечного комара. Уставился на Игнаху:

— Ты ли, Игнатей? Али во сне снишься? В какую сторону нонче, вперед к коммуне или назад? Митька, вставай, нечего дрыхнуть. Гляди, должность проспишь... Долго ли до греха?

Усов пробудился, слез на землю:

— О, вот так номер! Игнатью да Павловичу. Откуда куды?

— Домой!

Сопронов за руку поздоровался с Усовым...

Всходило за полисадом солнышко. В доме тоже встали, и проезжие, и хозяева. Уже кипел, наверное, самовар, но Павел торопил Киндю, надо было ехать, пока не было оводов. Он быстро запряг мерина и подошел к телеге Усова.

— Поезжай, Димитрий, домой! Не подведу я тебя, куда надо явлюсь в срок. Чего здря кобылу гонять? Поезжай. Вези теперь нового седока!

Павел Рогов стремглав подскочил к телеге Усова и выдернул из нее прозоровское ружье. (Или оно было шустовское? Нет, вроде бы то самое.) Сопронов побелел, коленки у него дрогнули. Павел Рогов играл ружьем, как сенокосным граблевищем:

— Гляди, Митя, в оба, будь ему хорошей охраной! Не подпускай ни конных, ни пеших, береги пуще глаза! Есть патрон-от? Есть! На месте...

Павел поиграл еще раз берданкой Шустова (или Прозорова?), у Игнахи снова затряслись поджилки. Поиграл Павел и вдруг подал ружье Митьке. Прыгнул в свою телегу.

— Садись, Киндя!

Судейкин успел заскочить на воз.

Карько рысью вынес телегу из заулка на большую дорогу.

Зырин все еще не отступался от дурачка:

— Ладно, Гуря, поедем. Не будем глядеть, чево у тебя в котомке. Иди, возьми пирога... Не хошь? Совсем ты, Гуря, заелся...

Зырин не спеша напоил Зацепку. Запряг и тоже не стал подниматься по взъезду, попросил Усова, чтобы Тоня и Марья Александровна не задерживались за самоваром. К нему совсем близко подступил Игнатий Сопронов:

— Куды Рогов поехал?

— Ты, Игнатей Павлович, за ворот меня не бери! — обозлился Володя. — Ежели один на один, дак за ремень бери, как мужик мужика.

— Ну?

— Чего ты нукаешь? Нукай лучше на свою бабу! А то она без тебя совсем скурвилась...

Сопронов был и так бледный, а тут начал белеть:

— Кто говорит?

— Да все! Сам чул, в лавке бабы рассказывали.

— Врешь! — Опять схватил Игнаха Володю, но уже за рукав. — Кто в лавке был?

— А пошел ты... — всерьез обозлился Зырин. — Ты у братана у своего, у Сельки спроси. Тот знает, кто с твоей бабой ночует... Во всей точности...

Тоня и Марья Александровна спускались со взъезда, и Зырин проглотил матюги. Он сбегал в избу, положил на стол деньги за ночлег, за себя и за Павла.

Когда прибежал обратно, то не поверил глазам: на его двуколой телеге вместе с Тонькой и Марьей Александровной сидела в лазоревом сарафане радостная Авдошка. "А ты куда? — хотел спросить Володя, но раздумал, хлестнул по кобыле. — Ладно, узнаю после..."

Несколько местных баб с косами, в праздничных белых рубахах судили-рядили у соседнего дома. Ждали восхода, чтобы всем вместе двинуться на косьбу. Они затихли при виде проезжих. Зацепка бодро топала по деревенской улице.

У отвода Володя спросил-таки Авдошку, куда она навострилась. Оказалось, что Марья Александровна еще вчера сманила ее ехать в Вологду, узнать там что-нибудь о своих земляках, кое-чего купить.

— Не боишься одна-то? Там... в городе-то, — спросил Зырин.

— Ни! С Марьей Александровной я не боюсь. Меня мамо на три дня отпустила.

— Кто, кто? — громко переспросил Зырин. Тоня оглянулась вокруг и сильно ткнула Зырина в бок. Сказала шепотом:

— Ты бы кричал на весь-то свет. Им запрет семьями жить. Груня-то им не чужая и не сестра, матка родная... Узнают, неизвестно што сделают.

Зырин оторопел так, что выронил вожжи. Совсем очумел Володя, от чего и спрыгнул с телеги. Тоне пришлось брать вожжи в свои руки.

Колки тележные стучали на неровных местах. Зацепка ритмично, в лад своим же шагам, отмахивалась от комаров. На очередном волоку снова догнали Гурю, который терпеливо шел неизвестно зачем и куда. Он не просил подвезти, шел да шел вдвоем со своею котомкой. Куда второй день шел дурачок, к чему стремился? Никто не знал, не ведал. Не знал, может быть, и сам Гуря.

(Окончание следует)



ВИКТОР КОЧЕТКОВ



СЕРДЦЕ СОГРЕТО НАДЕЖДОЙ

СТЕПНАЯ КОЛЕЯ

Снеговая, степная, бескрайняя ширь.
Только нить колеи.
Только дуб на пригорке...
Вот глядит с покачнувшейся ветки снегирь,
а глаза у него терпеливы и зорки.

Только синяя стынь.
Только небо над ней.
Только мертвый репейник
поземка полощет.
Только стонут полозья калмыцких саней
да раскатисто фыркает старая лошадь.

Только жалит мороз
сквозь сукно епанчи.
Только ноги и руки тепла запросили.
Накричался в столице, теперь помолчи.
Постигай вековечную думу России.

Постигай этот мудрый язык немоты,
где развилку отметила скифская веха,
где загадочный идол глядит с высоты
насыпного кургана четвертого века.

КОЧЕТКОВ Виктор Иванович родился в 1923 году в деревне Балахоновка Самарской области. Окончил Кишиневский государственный университет и Высшие литературные курсы. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг стихотворений "Росный час", "Весть", "Осколок" и многих других. Член Союза писателей. Живет в Москве.

Нашу русскую боль не излечит Восток,
и на Запад не стоит бежать за советом.
Здесь, на этой земле, —
наш исход и исток.
Надо помнить об этом...
Надо помнить об этом...

Здесь, где снегом присыпало скудный подзол,
где окутаны дали тревожною тайной,
разрешение всех наших бедствий и зол,
исполнение всех наших русских мечтаний.

НИКОЛАЮ БЛАГОВУ

За Волгой ходит гром, рассерженно ворча.
За Волгою туман, как вымокшая вата.
А здесь шуршат дубы да робкая свеча
во мраке шалаша мигает виновато.

А здесь тревожат тишь лишь редкий стук весла
да голубиный стон в прибрежной чаще где-то.
Перетекает ночь. Вытаивает мгла.
Алеет полоса холодного рассвета.

Как думается здесь отважно и легко
наедине со всем, что было пережито.
И прошлое опять не очень далеко,
и будущее вновь и близко и открыто.

О жизнь, ты все дала и снова все взяла.
Но сердце до конца надеждою согрето.
Перетекает ночь. Истаивает мгла.
Белеет полоса холодного рассвета.

Нам выпали с тобой нелегкие пути.
За долгие года мы всякое знавали.
Хоть мужество порой держали взаперти,
но совести своей в аренду не сдавали.

За все, чем жизнь красна и чем горька была,
пусть судит время нас. Готовы мы к ответу.
Перетекает ночь. Истаивает мгла.
Алеет полоса холодного рассвета.

ДЫМКА

Сонь полустанка. Кружок фонаря.
Старая, милая Дымка.
Рядышком тут затаилась не зря
юность моя — невидимка.

Выйди на свет фонаря, покажись,
бойкая и озорная.
Прожил я долгую, долгую жизнь,
редко тебя вспоминая.

Блещет во мраке железная нить
главной российской дороги.
Думал тебе, моя Дымка, скормить
беды свои и тревоги.

Вижу теперь — ты своими сыта.
Вволю всего натерпелась.
Время тебя поприжало.
Из ста
Десять избенок осталось.

Сумрак ночной начинает редеть.
Дымка над Дымкою тает.
Юность моя, чтоб тебя разглядеть,
глаз молодых не хватает.

* * *

Мальчонка глазастый, живущий во мне,
тебя пощадили на прошлой войне,
тебя не скосили в бою на Дону,
тебя не забили в немецком плену,
овчарки фашистов не устерегли,
и в СМЕРШе состарить тебя не смогли.
Прикрытый моим стариковским плечом,
живешь ты, и годы тебе нипочем.
Из-под седых погустевших бровей
глядишь ты лукаво, как тот соловей,
как тот соловей на вишневом кусту,
глядишь ты в предутреннюю темноту.
И слушаешь шелесты листьев и крыл,
как будто бы только что мир ты открыл.
Как будто бы видишь ты ныне впервой
и звездный цветок и цветок полевой.

ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ

Он стоял перед нами на мокром плацу
в генеральской немецкой шинели,
и улыбка лениво ползла по лицу,
как у девки с берлинской панели.

А за ним были оберст[1] со стеком в руке,
капитан со значком ветерана,
и ефрейтор с овчаркою на поводке,
и четыре солдата охраны.

За колючей оградою царствовал май,
полдень был непростительно ярок.
Генеральская речь походила на лай,
словно был он одной из овчарок.

---

[1] Оберст (*нем.*) — полковник.

Не в морщинах лицо я запомнил тогда.
Сапоги его жгуче блестели,
и чужие слова "Господа, господа..."
изо рта, словно пули, летели.

— С нами фюрер! — кричал, поправляя очки
волосатой рукой тонкопалой.
И сквозь толстые стекла тускнели зрачки,
как две лужицы в наледи талой.

— Я свободу несу, я Россию спасу
из чекистского страшного мрака!
— Продающий страну уподобится псу, —
прошептал мне сосед по бараку.

Мог ли знать я тогда, что наступит пора —
и пора эта не за горою, —
когда будут оравой лакеи пера
перебежчиков двигать в герои...

ТРИ ВРЕМЕНИ

Томишься ль без дела,
иль трудишься ты на износ,
идешь ли в Медину,
торишь ли дорогу ты в Мекку,
три времени боги
даруют любому из нас,
три времени боги
ссужают в кредит человеку.
З а в е т н о е в р е м я,
в котором он мир познает,
в которое он
свою вещую книгу листает,
у р о ч н о е в р е м я,
в котором он горько живет,
и в е ч н о е в р е м я,
в котором он сладко мечтает.

Заветное время
исчерпано мной до конца.
Пролистана книга.
Услышано вещее слово.
Прошел-прошагал я
с наивной надеждой бойца
по длинному полю,
по минному полю былого.
Урочного времени
также запас не велик,
легко просочилось
водой родниковой меж пальцев.
Давно позади
мой Шенграбен
и мой Валерик,
давно позади
каменистые тропы скитальцев.

Лишь вечное время
еще не рассталось со мной,

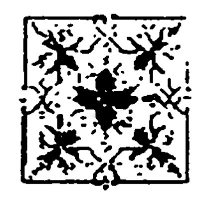
лишь в нем утверждаюсь,
лишь в нем я себя обретаю.
Как ясень приречный,
обглоданный бурей ночной,
дождавшись рассвета,
стою. Холодею. Мечтаю.

* * *

Всему свое время:
птенцу отлетать от гнезда,
листку отрываться
от ветки родимой березы,
реке затихать
под сверкающим панцирем льда,
окну индеветь
под тяжелым дыханьем мороза.

Всему свое время:
медведю в берлогу влезать,
плоду покидать
материнское жаркое чрево,
смирнеть старику,
а юнцу не дерзать, а дерзить,
характер ковать
на огне и восторга и гнева.

Но, праведный Боже,
как замысел Твой понимать,
в свой срок разрешил Ты
от сладкого бремени мать,
в свой срок погасил Ты
пожар увядающей розы.
Птенцы оперились,
птенцы отлетели давно.
Под ветром январским
давно индевеет окно.
И только листок
все трясется
на ветке березы.





ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

РАСКОЛ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Крестный путь

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Есть ли что вольнее, любезней охотничьей птицы, когда она, опираясь крылами на плотные воздуха, воспаряет как бы к самому Господнему престолу, и только острый взгляд ловчего и сокольника может наискать это маковое зернышко в небесных голубых проталинах средь белоснежных весенних ворохов; соколы с ангелами рядом живут, они Господа зрят, а может, и служат у Него на посылках, и, падая с горних сияющих вершин назад к земле, несут Его благословление ко всем грешникам, что колотятся в наказание в бесконечных трудах. И как тут не позавидовать гордой птице, что с ангелом вровню. Ангел недоступен даже православному смирному взгляду, сливаясь с прозрачной небесной водицей; лишь порою серебристая пыль на покатях неба дрожащей мгновенной полосою выдает его след к земле за отлетающей душой праведника; а кто бы и увидел ангела въяве, тот бы и ослеп сразу от красоты. И вольной птице, что у ангела в пособлении, что у Господа на посылках, не гоже быть в затрапезном одеянии, ютиться на своей колоде в кречатне, как нищему-прошаку в притворе сельской церкови. Государь наш до Бога приимчив, поклончив и устрашлив, он всечасно всякого монаха, иль соборного служку, иль отца духовного просит молить у Господа за здравие и отпущение грехов; оттого и кречетов велит уряжать со тщанием и роскошью. И ежли для обыкновенных охот у ловчей птицы полевой наряд из добрых, но простых материй, то для сердечной радости, для похваления и умаления собственной гордости украшивает Алексей Михайлович птицу в шелка и бархаты, осыпает жемчугами и драгоценными каменьями, не прижаливая всяческой дорогови из своей казны...

Вчера царев поезд прибыл в Коломенский дворец, завтра первый выход на весеннюю охоту. Нынче же в передней избе Сокольничьего пути поджидают государя: на лавку кинут ковер диковатый да сголовье полосатое бархатное, а пух в нем из диких уток, против царева места поставлены четыре стула нарядных, а меж стулов втолстую настлано сена, покрытого попоной. Любимко принят кормленщиком на птичий двор за Елизаровой просьбою. Но ему в преднюю избу нет ходу, он украдкою подглядывает в окраек раздернутого волокового окна, как первой статьи сокольник Парфентий Яковлев сын Табалин готовит для показа

Продолжение. Начало в № 10, 11 за 1993 год.

Любимкиного белого кречета. Стол накрыт ковровой скатертью, и разложена на нем птичья стряпня, сверкающая золотом.

Кречатня за высокими дубовыми палями, въезжие ворота постоянно на засовах, возле — стрелецкая неусыпная вахта: это царев дорогой мир, его единственная сердечная утеха и прибегище, куда доступ для людей прочих редок. Да и что им тут особо смотреть? Жилые избы, поварня, дворы скотские и всякие иные службы для складского хранения; под особым же призором длинное сушило с чуланчиками для птиц, да голубиное житье у дальней стены, откуда соколам несут живую ествy. Нынче на Коломенской кречатне особенно пристрастная охрана. С зимы обещалась дурная болезнь, и Алексей Михайлович волнуясь за целость красной охоты и здоровье служивых, наказывал подсокольничьему Петру Семеновичу Хомякову, чтоб тот запасов всяких свежих наготовил загодя из здоровых мест, а для вящего опасения приискал место или два в лесу, где б близко вода, и те места осек. И Любимко с дворовой подначальной службою, с ловчими и псарями, и дворцовыми топорниками по коломенским лесам и под Покровским, и под Туфиловым ходили с думным дворянином Хомяковым, и в борах лес валили, и делали засеки, и избы новые рубили, и огорожу городили, и дозорные вышки вязали, и на высоких местах погреба копали, и ледники набивали последним, уже сопревшим льдом и уталкивали натуго снегом, и резали скот, и в один месяц управились. Но все, слава Богу, обошлось.

На дворе лужи, серенькое небо глядится, ветер-летник морщит воду меж гривок жирной грязи, в завитерьях уже трава наклюнулась, а на березах грачи развернули свою шумную домовую стройку, ратятся меж собою за добрый отвилок и хворостяную прошлогоднюю шапку. Грустно и странно Любимке. Так рвался к Олисаве и вдруг с охотою спровадил назад родных печищан, как бы обманул их в последнюю минуту, поманился на посулы Елизара и вступил в цареву службу с жалованьем в четыре рубля годовых за клятвою и крестным целованием. Незнаемо, что толковал сокольник Елизар Афанасию Матюшкину, но только ловчий оказался неожиданно благосклонным к молодому парню, сделал уступку и похерил досюльный обычай, ибо в птичьи охотники брали лишь по родове и наследству. Да еще и обещал Матюшкин за белого кречета государеву милость.

А сейчас вот все ждали государя, а больше того Любимко, и сердце у парня часто упадало, зажимало дух. Каков нынче государь? с милостью, иль грозою? Может и вон выпроводить, ежли не в духе: повелит, де, ступай-ко, холопишко, прочь, откуда ветром надуло. С год, почитай, не был в престольной, стоял под Ригой, но и из дальних мест не позабывал потешников, слал Афанасию Матюшкину деловые грамотки, даже в боях, за городовыми бронями неотступно помня охотничий регул: "...А будет вам помнитца, что засидятся птицы, иль позабудут добычу, и вам бы Адара и иных, которые поспевают кречеты, пускать в субботу вечером на однова коршака; а будет вам помыслитца, что запускать от субботы в субботу, и тебе б подумать с Васильем и Петром Хомяковым. Как приговорите, так и сделайте: пускать ли до меня, иль не пускать, а мне вам указать для того нельзя, ибо долго к вам не буду из походу: теперь кладуся на вас во всем, как лучше, так и делайте. А будет вашим небрежением Адар, или Мурат, или Булат, или Стреляй, или Лихач, или Салтан умрут, или утекут, и вы меня не встречайте. — А в конце письма приписал государь, желая умягчить суровый тон: — Брат, как тебя здесь не стало, то меня и хлебом с закалою накормить некому. Будь здрав..."

Любит Алексей Михайлович, чтоб хлеб с исподу был не пропечен, отдавал сырым тестом, и лишь ловчему Матюшкину удавался такой походный каравашек.

Испереживались охотники, все эти дни готовя птицу к первому полю. Всяк хотел угодить Отцу, потрафить счастливым промыслом в коломенских ухожьях. Случалось же, что кречет, добыв утицу, учнет валяться с ней, рвать черева и, жадно нахватавшись горячих мясов, напившись крови, заленится вдруг и отстанет от дальнейшей потехи. Иной же сокол, своенравный и отбойчивый, взмоет в занебесье, где и острым взглядом птичьего стрелка не отыскать его, и утечет в дальние веси, и тогда в поиски приходится спроваживать во все стороны верховых сокольников и гонцов; но еще обиднее для охотничьего сердца, если при государе

сокол не слезает с добычи, не может завершить ставку и смертно мякнуть жертву в зашеек.

Для того и подгадывали кречатники птицу к предстоящему полю, чтобы не осрамиться в глазах государя, доглядывали здоровье челигов, и того сокола, что погадку не скинул, не срыгнул, в поле не брали. Сильных и резвых птиц кормили водяниною и вполсыта, чтобы они не взыграли на охоте, а слабосилых кормили досыта...

Любимко не знал, что делалось на дворе: он притулился, робея, к волоковому окну и видел сейчас лишь четырех начальных сокольников, в столовых червчатых кафтанах с высокими воротами, и подсокольничьего Петра Семеновича Хомякова: был тот по чину в золотной ферязи и бархатной шапке, сдвинутой, искривя, к затылку, и зеленых сафьянных сапогах, расшитых серебряными травами. Голова у Хомякова выбрита и от черной щетины кажется синей; лицо изсмугла с реденькой, в кукишок, бородою, глаза чуть вздернутые, с голубыми крутыми белками и насмешливой коричневой искрой. На впалых висках и яблоках скул вылился пот усердия и послушания. Этакий черкас из плавней, угодивший с разбою в государевы угодья, и недостает ему лишь кривого ятагана за поясом. Хомяков коротко, упруго оборачивался, так что вспухал желваками загривок, ревниво дозирал стол, застланный брусеничными дорогами, и разложенную соколью стряпню, и начальных сокольников, слегка сомлелых от жары и долгой жданки. Близок путевой царский Дворец от кречатни, да долга к ней тропинка; и то, что государь неожиданно мог явиться в любую минуту, пригнетало и утомляло служивых. Голубая ценинная печь была жарко натоплена, так что в пазьях новой бревенчатой клети колыбался моховой волос; в крохотное слюдяное оконце, разделенное переплетом на четвертушки, падал полуденный солнечный луч и искрящимся широким мечом разваливал чистую переднюю избу наполы, настраивал кречатников на праздник. Медово и пряно пахло свежими опилками, сомлелой древесной плотью, и сеном, и коврами, и кафтанами, выданными из царской казны на торжественный случай, птичьим сухим лайном и кожею — всем тем, чем пахнет охотничий сряд. Рядовые сокольники и поддатни дожидались царя на сушиле, возле птичьих чуланчиков, готовые исполнить волю подсокольничьего; они выросли возле двора, по семейному преданию и по наследству во всем корне знали досюльный обычай и богатый степенный чин, и приход государя на кречатню был им за обыденку, за свычную службу, за рядовое дело, из коего вытекало мудрое житейское правило: чем меньше знаешь, тем дольше проживешь. А этому увальню, этому северному отелепышу, что чудом вдруг проник в Потешный двор, втерся в цареву службу, надобно приобсмотреться и наполучать тумаков да батогов, чтобы с годами выпестовался из него истинный служивый. Вот почему Любимко дожидался царя в сенях, жадно приникнув к продуху, и никто не теснился возле, не гнал прочь.

Прямь его в избе сутулился Парфентий Табалин, искривясь левым плечом и часто однобоко припадая. Седые изжелта косицы волос неряшливо, по-стариковски падали на высокий ворот кафтана, обшитый шелковым голубым позументом. У старого охотника мозжели к перемене погоды кости, но он крепился, чтоб не выдать немощи своей государю, не опечалить его. Парфентий был давно вдов, одинок, бездетен, в тверском поместьи кособочилось неприюченное житьишко. Никто не дожидался Парфентия дома, и он дослуживал жизнь, тянул лямку до смерти. К широкому поясному ремню из лосиной кожи были приторочены яркие крылья, украшенные цветными шелковыми лентами, но эти крылья, опадая по взгорбку спины, не выпрямляли Порфентия в его охотничьей гордости, не красили начального сокольника, но делали унылым и жалким, как бывает неприглядно-тоскливой старая ловчая птица, доживающая свой век на сушиле лишь по прихоти хозяина. И Любимко искренне зажалел Парфентия, как пожалел бы стареющего батьку. Лишь бревенчатая стена мешала ему из сеней приобнять ловчего; он собрался даже окликнуть Парфентия, но тут увидел, как по кромке широкого поясного ремня несуетно, с раздумьями ползет Божья тварь в алом зипунишке с черными горошинами. И парень, прыснув в кулак, дурачась, тихонько загугнил: "Божья коровка, вылети на небо, там твои детки..."

Вдруг спина начального сокольника дернулась, воспрянула вся его присогнутая болезная фигура, и бархатный колпак лихо присвалился на правое ухо, а

десница в широкой с раструбом кожаной рукавице уперлась в бок. И тут Любимко запоздало увидал государя. Он как бы бесшумно выткался из ничего, из сизого марева, из затенья дальнего угла, из душного запечья, из блекло-лазоревой небесной ширинки в распахнувшемся проеме. Алексей Михайлович явился запросто, как селянин иль простой тароватый гость, вошел с легкой одышкой один, и кто-то невидимый за его спиною беззвучно притворил тугую дверь. Царь перевел дух, на коник у порога сбросил однорядку и низко поклонился иконе Николы-путеводителя, размашисто перекрестился, сильно ударяя себя по плечам и лбу, и от келейницы, от ее голубого кроткого сиянья пошли по избе круги. И ангел небесный, с лету проломившись в оконный проем, пролил на серебряной сулеице пряные тонкие звуки, от коих не только слезливо зашибает сердце, но и в глухую зиму на снежной лесовой поляне прорастает разрыв-трава. Государь был приземист, плотен и плечист, в бархатной шляпе, обложенной соболями, с тяжелой темной копной волос, опадающих по плечам суконного темно-синего зипуна. Любимко во все глаза уставился на Родименького. Он был вовсе иным, истинным Отцом, не таким, как вчера, когда Коломенское встречало торжественный выезд государя, весь праздничный ратный строй, что струился по дороге на добрую версту, и в середке сияющей цветной колыбающейся змеи, как в прозрачном достакане, увидал Любимко государя в аглицкой карете, запряженной шестериком темно-карих возников с крашеным немецким перьем в начелках. Против государя сидел боярин Морозов, по правую сторону у дверцы — князь Трубецкой, по левую — князь Одоевский, и зажатый средь первых людей Алексей Михайлович походил на повапленную идолову куклу, убранную в лисьи меха; за горлатными шапками паревых ближних иногда показывалось бледное и блеклое задумчивое, какое-то мрелое лицо с набеленными, вроде бы, щеками и насурмленными широкими бровями, с нелепо выстриженной бородою, уложенной на золотые кружева. И хоть перед тем долго гатили, умащивали дорогу дворцовые крестьяне ближних сел, но весенняя распута, постоянная небесная мокрядь и выбраживающая, как жилое тесто, земля свели все труды в напраслину; аглицкая карета качалась всеми колесами, переваливалась в просовах и выбоях, колыбалась на ремнях, как в толчее морского сулоя, вслед за сотнями конных стрельцов и рейтар, и жильцов, и детей боярских, и стряпчих, уже растоптавших, измесивших путь до жидкой хлюпающей каши. В Коломенском ударили колокола, и народ пал ниц по обочинам дороги на кислую травяную ветошь, проваливаясь коленями в мышиные пролазы и кротовины. И Любимко повалился, путаясь в ездовом кафтане, и никак не мог совладать со строптивой бугристой молодой плотью и тугим загривком, упрямо задирающим вверх голову. И Любимке показалось, что он встретился взглядом с государевыми печальными очами, и в глазах царя мелькнуло, как таежная векша, благосклонное участие. Ну, конечно, почудилось, ибо карету со стороны тесно обжимали боярин Стрешнев, да князь Хворостинин, да князь Григорий Черкасской, да двенадцать рослых жильцов на гнедых конех. Наснилось все, конечно наснилось, как в легком хмельном опое.

...А тут в переднюю избу вступил Хозяин, простец-человек с помятым, рыхловатым лицом и с ржавчинкой в морщиноватых обочьях, с тугой каштановой бородою и с той ровной ласковостью во взоре, что всяких, даже дальних людей, вовсе чужих, делает братовьями. Царь приблизился к своему месту, и сокольники, торопливо содравши шапки, низко ударили челом, а государь ответил легким благословляющим поклоном, каждого служивого одаряя той невидимой, незапечаленной милостью, от коей становится куда легше доживать. Хомяков отодвинулся от стола, как бы давая ходу иным чинам, что дожидались на кречатне, а государь опустился на ковер диковатый, возлег на пуховое сголовье, просунув ключку из слоновой кости промеж ног и возложив обе ладони на золоченый рог. И снова подивился Любимко из своего схорона, какой государь простец-человек, слегка лениво-усталый, но благосклонный и свойский, и тайно возбужденный, ибо широко взрезанные ноздри пригорблого тонкого носа хищно вздрагивали, втягивая в себя дух любимой кречатни. Зараженный охотою человек заявился на птичий двор, и каждая знакомая мелочь была ему приятна, но всякая распустиха печалила. Год не бывал в Коломенском, и сейчас государь был пристрастно ревнив, приглядывая, как тут хозяиновали без него, и его внешняя приветливость, однако, таила близкий гнев. Это знали сокольники и сейчас вытягивались в нитку.

"Время ли, Государь, образцу и чину быть?" — наконец молвил подсокольничий с поклоном, подгадывая минуту. И царь ответил: "Время, объявляй образец и чин". И Парфентий Табалин крикнул Андрюшке Кельину, своему поддатню, чтобы тот тащил новодоставленного канского кречета-дикомыта пред царские очи. Андрюшка Кельин, нескладуха, путаясь в собственных длинных ногах, с каким-то слепым творожистым взглядом пронес на рукавице через сени сокола, едва не прищемив полы кафтана в дверях сушила. И провожая взглядом свою птицу, которая нынче уже не принадлежала ему, Любимко с невольной кручиною мысленно поклонился Спасителю, завидуя молодому поддатню: "Господи, Отец родимый, Солнышко незаходимое, понорови так, чтобы государь призвал меня пред себя, чтоб ему икнуло! Свет наш, надуй мне в ухо, чтобы такое намудрить, чтоб пасть пред очии!"

...Экий разварня, соплей зашибить, на базаре таковских на полушку сотня, а ишь ли наловчился ногами кренделя писать, — возревновал Любимко к поддатню.

Но Бог весть, были ли мысли завистливые: но ежли и были они, то пропали, как скорый утренний волглый туман под солнцем оседает в кочкарнике, оплетая слюдяными волотями тугие травяные стоянцы.

Нет, не зря взрастал Любимко под отцовым приглядом: из-под его руки все до самой малой заусенки прилежно вычел он из стародавнего птичьего промысла, и, знать, в эту минуту в Окладниковой слободе грустно заскрипело стареющее отцово сердце, что вот понапрасну с такой легкостью отпустил он младшенького, надею свою, из гнездовья, может, и навсегда. Подпенная змея коварно ужалила Созонта блазнью, когда, позарясь на сыновьи желания, захотел поноровить им, усластить дитячьи задумки, спустил несмышленыша-гнездаря без призору в чужедальнюю сторону: де, лети из дому, коли взяла думка. А как мечтал удержать возле себя. Вот и хлебай нынче лаптем шти, старый...

Четыре начальных сокольника сплотились у стола, окружили птицу, и Парфентий Табалин принял белого кречета из руки помощника, справно и с достойной опаскою, и с тайным восторгом, и веселием; он властно ухватил кречета за опутенки, посадил на рукавицу, дивясь редкостной птичьей стати. Кречет лишь раз взмахнул белоснежными крылами, погнал по избе воздуха и, умащиваясь, горготнул с тоскою, оборотясь к прорубу в стене, откуда источался слышимый лишь ему дух молодого хозяина, запах оленной одевальницы, морского ветра, ледяных Шехоходских гор, кислой северной помаковки, зимней стыни родимого засторонка и прели весенней цветущей тундры. От проруба доносило духом милой родины. Но в слюдяное оконце проламывалось апрельское солнце, такое жаркое в избе, морошечной желтизны лужицы растеклись по полу, и в одну из них погрузился, не забрызгав сафьяна, изузоренный государев чеботок. А в дальнем конце сушила в своем чуланчике на колоде мостился молодой челиг, ее сын, уже позабывший мамку, но у нее-то в груди еще не пожухла и не отпала волосинка родства. А в щель неплотно притворенной двери сочился влажный сквозняк с воли, тонкая прохладная струйка, пахнущая зацветшим мохом, грибами и елушником, и свежей кровью только что забитой скотины. И это тоже была родина. Все смешалось в птичьей душе в один оранжевый сгусток, кречет издал прощальный клекот и прицельно воззрился на государя, выметнув розовое змеиное жало. И государь подивился редкостной красоте дикомыта: широкая снежного окраса грудь с атласным пером, умощенным в непробиваемую кольчужку, меченая чернобурыми копейцами; махалки в аршин, перо к перу, уложенные вдоль литого тела упругими клиньями; бурые пронзительные глаза в зеленоватых ободьях, желтый венчик на голове, будто наведенный вареным золотом. Птицы в венце государь еще не видывал. Это царь небесный смотрел на царя земного; воистину гонец Господень спосылан в подручники и для особой вести, и надобно урядить его по-царски. И накрыли начальные сокольники кречета клобучком, шитым из веницейского алого бархата, низанного жемчугом, процвеченным зеленым шелком и серебряным репьем, утыканным золотыми цевками; а к среднему хвостовому перу приторочили серебряные колокольцы; а лапы в седых пуховых штанах покрыли сафьянными онучками, шитыми волоченым золотом, и поверх онучек повязали сильца с золотым кольцом, и через него продели шелковый плетеный шнур с кляпышком, а грудь покрыли золотным бархатным покровцем с алмазом

чистой воды. Солнечный луч упал на голубой адамант, изломался в камне на сотни волокон, потом взялся пламенем, и птица вспыхнула жарким светом, слепящим глаза. Подсольничий Хомяков вздел руковицу с притчами и, прекрестясь, перенял уряженного сокола, приблизился к государю, как того заповедал урядник сокольничьего пути, но встал поодаль, с опаскою, чтобы Алексей Михайлович мог подивиться красоте птицы и погордиться ею.

Государь восхитился, в лице появилось детское, удивленное, ликующее. Только зараженный птичьей потехою человек, истинный охотник мог так обрадоваться столь дорогому подарку.

"Гамаюн... чисто воин! Так и звать впредь! — вырвалось невольно. — Откудова и чьих мест?" — спросил государь с хрипотцою, после некоторого молчания, не сводя с белого кречета завороженного взгляда.

"Поднес от себя мезенский помытчик Любимко Ванюков и взят велением Афанасия Матюшкина на сушило кормленщиком впредь до твоего указа", — Хомяков покосился на волоковое оконце, и Любимко зарделся густо, сердце его возликовало. Услышал Господь его молитвы, отворил слух и уста; вот сейчас возвестит государь, де, призовите служивого пред мои очи. Любимко оправил кафтан, пробежался пальцами по гнездам пуговиц, шапку заломил круче. Но государь отчего-то потускнел лицом, слинял взглядом, будто внезапно уязвила нутряная хворь, и объявил подьячему Василию Ботвиньеву с досадою: "Пиши... Велю наградить двумя портищами сукна настрофиля лазоревого... Ну, самочинщики..."

И тут Любимку позвали из сушила, пришла пора прибираться.

Вечером в задних хоромах царские начальные сокольники пировали ествою с царской кухни; послал государь своим любимцам и по чарке меду стоялого, по кубку ренского, да ведро пива выкислого. Поддатень Андрюшка Кельин крутился возле хором, где гостевал с Хомяковым и его отец, начальный сокольник пятой статьи; от него перепало из ковша и сыну. Тот, захмелев, хватил еще и браги, потом долго маялся на сушиле, пел песни и смеялся дурашливо.

Во втором часу ночи в окно постучал Любимко, попросил овчинный кожушок со своего ларя. Любимко не мог уснуть в избе. Стояло влажное весеннее тепло с близкой грозою, и парень решил завалиться спать в телегу на воле, на сенной клок, накрывшись кожушком, уставясь мрелым взглядом в иссиня-черное со сполохами глинистое небо и вспоминая родину. Андрюшка выдернул из вертлюгов раму, подал овчину, поставил окно обратно в колоду, а запереть, такой разварня, позабыл спьяну. Ночью рама возьми и пади в чулан, и зашибла Парфентьева челига Мальца.

...Утром Андрюшку Кельина драли на конюшне, разложив на скамье, в два батога, вбивали науку, чтоб не дурил, а после ссадили на неделю в застенку на хлеб-воду. Но многие из рядовых сокольников оказались на тот день в гулящей по своим домам, и Любимко угодил по Парфентьевой статье на государеву пробную охоту в Коломенские поля.

Господь услышал его мольбы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Видел бы сейчас батько Созонт сына своего в этих сырых утренних низинах, принакрытых сизым дымным туманцем, из которого выныривают кожаные капелюхи всадников. Туго екает селезенка в лошажьей утробе, гнется под седлом мягкая, отмокревшая спина под тяжестью седока, будто навалили кобыле на бедную хребтину лиственничный елуй, и вот волоки этот необхватный кряж по водомоинам, с трудом выдирая ноги. Тихо. Только звякнет иногда стремя, глухо кашлянет в кулак пеший псарь, с головой утонувший в дремной сыри, проскулит ищейная собака на сворке; борзые на длинных вязках струят по скисшей летошней траве меж мягких бородатых кочек, наискивая и взрыдывая от запахов болотной дичи. Прострижет со свистом всполошенный барашек, проблеет сладко — и опять все тихо. Хлюпая сапогами, проваливаясь в просовы и водомоины, пешие приказчики несут в берестяном коробье птицу с великим тщанием, боясь помять перье. Скрипнет арчак под грузным Любимкиным телом, и охотник неловко хватается

за деревянную луку седла; не привыкший к верховому пути, уже истомленный до крайности, с потертостями на ягодицах, приискивает он покою разгоряченным немятым стегнам. Любимко боится обернуться, где саженях в двадцати от него, плотно окруженный охотничьими стрелками и стремянными конюхами, едет государь, да дядька его боярин Борис Морозов, как и царь, также зараженный охотничьей страстию. Боясь потревожить тишину, Любимко откидывает на спину наползающее на живот саадачное лубье с луком и черкасскими стрелами, выданными из приказа Тайных дел. На поясе у сокольника с левой стороны вабило с крюком, подвешено на кольцо, рукавица полевая заткнута за лосиный пояс; под правой рукою — ващага, рог серебряный, полотенце, лядунка и нож. И только нож свой, домашний, испроточен на промыслах в долгие зимние вечера, с рукоятью из рыбьего зуба, в берестяном влагалище, задубевшем от воды. Нож в две Любимкиных ладони и может прохватить медвежье сердце насквозь.

Любимке жарко, он отпахивает верхние крючки ездового кафтана, размыкает кляпыши киндячного зипуна, подставляя грудь воле, и чувствует, как сырые змеиные хвосты скользко вползают под тельную рубаху, однако не в силах остудить разгоряченного тела. Любимко насторожен, он страшится опростоволоситься, взгляд его зорок и схватывает каждую видимую пядь наволока под ногами, залитую молоком; он старается ехать след в след за Парфентием Табалиным, что сонно качается в седле, как тряпошная кукла. Но душа-то Любимкина простодушно ликовствует, она поет высокую храмовую песнь, похожую на аллилуия, и сердце его захлебывается горделивой радостью. Иногда лошадь по бабки проваливается в водомоину, и Любимко вздрагивает, захолаживает грудью, и ему мнится вдруг, что все наснилось...

* * *

...Царь-государь, очнися, стряхни с себя тугу и военную надсаду, что оковала тебя в кольчужку, изгони из сердца полковые хлопоты, тягости и неустрой долгого похода, молящие взгляды раненых, что провозили осторонь станового шатра, немой упрек скрипуче-говорливых телег, поднимающих облака пыли, внавал нагруженных закоченевшими телами. Однажды царь подъехал к грустному ковчегу, накрытому пестрядью с пятнами рудяной ржавчины, нагнувшись с седла, откинул оголовком плети край покровца и увидел на подводе ангела во плоти с открытым лазоревым взглядом, уставленным в небеса, льняную подковку волос над мраморным лбом, темный пушок над улыбчивыми червлеными губами, обведенными голубой каймой... Господи, мальчик же совсем, вьюнош, едва оперившийся, вставший на крыло, не сокол-дикомыт, а слеток, и уже покрыл себя бронями, и на тонкой, неловко заломленной шее красела крохотная ягодка крови, окруженная синими проточинами. Пуля из свейского солистра укусила пчелино, отравила жизнь, усыпила навечно, и, заваливаясь в траву, боярский сын Пересвет Тороканов, наверное, и не знал еще, что уже у Христа в вечных воинах. И царь странно позавидовал покойному и устыдился своего здоровья, и своей чести, и вселенской славы. Так бы кротко умереть, это ли не счастье, это ли не подарок Господень за безгрешие? — он вздохнул, спешился, поцеловал юношу в лоб и в уста, перенимая в себя неземной, ни на что не похожий небесный холод. Вечером царь писал в Москву: "Добиваюсь зело, чтобы быть не солнцем великим, а хотя бы малым светилом, малой звездою там, а не здесь..."

И вся-то руськая земля была сейчас тем вьюношей, принакрытым пестрядинным рядном; лишь откинь эти волокнистые, свивающиеся в змеи студенистые покрова, и там покажется прекрасный лик, исполненный спокойной нежности, выплывающий из сна, как из недолгой смерти, в жизнь вечную, чтобы вскоре вновь замириться, утихнуть в предночном закате и умереть, коченея, будто навсегда.

Попробовала свой голос малиновка и поперхнулась; заливисто, с придыханиями, во все концы света прогулькал на гульбище тетерев и захлебнулся ранней истомою. Ночь сдвигалась нехотя, окутывая дремою всякую малую живулинку. И в который раз государь подивился тугой тишине, обнимающей землю, еще не могущую растворить чугунные, цепенеющие от сна вежды свои. Даже скрип

кожаного тебенька о голенище, короткий звяк стремени и прерывистое хлюпанье копыт в мочажинах не разрушали тишину, но лишь усиливали предутренний покой, охотничий настрой и то ожидание, коим полнится страстное сердце. Служивые меркло качались в седлах, перехватывая сна. Царь же почасту подымался в стременах, вглядываясь в туманное молозиво, и снова нетерпеливо опускался в седло, покрытое барсовой шкурой; он колыбался на арчаке, как в детской зыбке, сызмала привыкши к походам, развалистой иноходи ногайского рысака чистых кровей, к лошажьему поту, к тому жару, что изливался из коньего тела по всему естеству охотника, лишь усиливая его азарт. Алексею Михайловичу хотелось взовопить, поскакать, устремиться к присмотренному заранее загону, куда гуськом, неспешно двигалась дворцовая ватага. Но птичьи стрелки с пищалями и стремянные конюхи, как бы упреждая азарт царя, туго обжимали, почти теснили его лошадьми, осторожничая даже в этой предутренней тишине, кою в любую минуту мог распороть хищный свист невидимой стрелы. Тела служивых были царевой бронею, и хотя государю была досадна эта живая кольчужка, но и радовала его, подчеркивала божественную нерушимую власть. Да и было чего стеречься: потерял ровный отпечаток, но сохранялся в памяти давний случай, когда в угодьях у Саввина монастыря он случайно, или по чьему-то злому умыслу, вдруг остался один на один с выгнанным из берлоги медведем, и нож, вытащенный из кобуры, постоянный спутник государя, тут не придал ему особой силы. Лишь Божье провидение спасло тогда...

Всадники выбирались из тумана, с мокрого наволока на веретье один за другим, и когда лошадь государева, оседая крупом, ступила на песчаную проплешину, избитую коньими, тут на востоке зарябило, сдвинулось, и оттуда полились по небу багровые реки, и туман прямо на глазах стал свиваться кольцами, западать в лога, оседать бисером на травяных клочах, и вся земля открылась государю от края и до края, осыпанная драгоценным крошевом, окрашенная пепелесыми и таусинными, рудожелтыми и лазоревыми, голубыми и вишенными цветами, и на озерца, разбухшие от половодья, с низкими охряными берегами, с аспидной темью под кряжами, упали огненные перья. И все покатое небо увиделось слегка осыпанное сумеречной пылью, сквозь которую уже пробивалась густая синь, еще прохладная, тянущая льдистым сквозняком, но обещающая день добрый, куражливый, горячащий кровь. Видно было, как на стеклянной глади, по заливчикам, прижимаясь в затенье рыжей травяной ветоши, табунились утки. Господи, как хорошо-то! — вскричало сердце государя. И вмиг забылся русийский разор от долгой войны со свеем, и козни латинов, и горькое лихо от бескормицы, и тощая государева сума, совсем впавшая в бедность, загнетившая все серебро в походы, как в прорву, и коварство падких до ефимок купцов и дьяков, добро нагревших руки на перекупке медных денег, что обесценили изъязвили державу; и на эту хворь, на эти болячки, как синие мухи, слетелись греки и фрыги, и свеи, и деги, и всё уволакивают с собою за рубеж, не жалея меди, скупают меха и золото, и оттого казна еще более испроточилась, а смердам с тех медных денег туга и кручина...

— Гляди, Борис Иванович, на Русь в смарагдах. Гляди, как изукрашена, сколь весела! — не сдержавшись, воскликнул государь, обернулся к Морозову. Из толстого, подбитого лисами ездового кафтана, как из беличьего гайна, глянуло на него заспанное бритое лицо боярина с набрякшими покрасневшими глазами. Морозов шире разлепил веки, пообсмотрелся нехотя.

— Как баба на сносях, — буркнул с тайным вызовом. Достал из зепи хрустальный штофик, обтянутый серебряной проволокой, и, не чинясь, промочил горло брусничной наливкой.

— Баба?.. Сам ты баба, — шутливо возмутился государь. — Што-то тебя на дурное потягивает? Не баба, а девка на выданьи... Да нет, княгиня венчается с солнушком. Бобыль ты и нехристь. Брадобритенник...

— Не бобыль я, батюшко, помилосердствуй. За что холопа своего честишь? На-ко умягчи сердце, — не смея пообидеться, боярин протянул царю штоф.

— Я-то воистину молвлю. А ты вот чествуешь меня, как ярыгу кабацкую. Иль с опойцей Пожарским спутал, сукиным сыном? Да и глядишь ты окрест, как бобыль на пустоши... Шучу, шучу, помилуй, боярин. А все ж, Борис Иванович, благословенна, стойна и урядна жизнь наша. Вечно жить хочется, когда вот так.

Есть ли еще на свете такая земля? — Перекрестясь, государь запрокинул штоф и чуть не ополовинил его решительным глотком, утер усы. — Ловко мы удрали, а?

И засмеялся.

И тут увидел государь, что передние сокольники уже обогнули озеро, встали против ветра, приготовляясь к охоте, и оборвал разговор.

* * *

"...Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, истрясла мужику черева, — бранил Любимко лошадь, уже с тоской вглядываясь в спину начального сокольника. — Привезут до места костей пестерь".

Неожиданно разведрило, развернулись небеса, грянул оттуда холодный, лазоревый с прозеленью зрак. С востока потянуло сквозняком, и от фиолетовых лесов, из-за червчатых зоревых полотнищ, развешанных по окоему, как бы воспели божественные накры. В ту же минуту протяжно, гнусаво вскрикнула выпь, и мир благословенный очнулся, встал из сна, как из смерти, восшумел на сотни голосов в любовном ератике. И это пенье на многие лады, это всеобщее пробуждение, этот прозрачный до хрупкости воздух, насквозь пробивающий гортань до самой утробы, невольно умилостивили дремлющую душу и воспламенили кровь. Всадники воспрянули и скоро спешились в схороне за ивняком, уже сиренево набухшим, с желтыми циплаками на сизых от сока ветвях; осторожно, приняв от приказчиков коробье с птицами, вытаились из засады. Парфентий из плетухи повабил на рукавицу молодого челига. Смышляя, что-то шепнул ему на ухо, погладил по затылку взъерошенное перо и слегка откинул сокола вверх, отпуская должик. Птица резкими взмахами пошла в небесную прорубку, на которую уже ложился латунный блеск близкого солнца, а потешники снова взлезли на лошадей. Из-за кустов было видно, как на веретье, окруженный стремянными, слез с коня государь, медленно спустился с горушки, поросшей вереском, почасту прикладывая ладонь горбушкой ко лбу, заслоняясь от солнца. Вода в озере стала малиновой, а птицы черными. Они уже почуяли грозу, ходили по стеклянной ломкой воде кругами, селезни, упруго махая крыльями, садились на гузку, пытались взлететь, но птичий грай, беспечность крякв, пылающее костром солнце и небесное голубое водополье смиряли, снимали испуг.

Тут достиг своего верха сохол, и Парфентий Табалин поспешил вкруг озера к государю и доложился, что "сокол стал в лету и ждет убою", и спросил, не будет ли указа гнать дичь из уромин. Тем временем служивые отстегивали с седельных ремней тулумбасы, снимали с поясных колец вощаги, иные же доставали дудочки и манки, жалейки и пищухи. И лишь вернулся Парфентий, подсокольничий Хомяков, подбоченясь, взмахнул рукою, и десятки колотушек, окружая озеро полукругом противу ветра, ударили деревянными шарами по кожаным бубнам. Светлело небо, и на самом дне его черной порошиной мерно кружил и кружил челиг, оперев махалки на воздушный столб. Утки всполошились, встали на крыло, скоро потянули над озером. И сокол, вроде бы внезапно изрешетив крылья, незаметно глазу камнем пал в середину стаи, как бы провалился сквозь нее, но осадил, разбил утей на гнезда, разогнал по-за леса, хотя того желанного пера, кое должно бы, медленно паря, опадать в латунную гладь озера, не появилось. Значит, промахнулся челиг, не угодил в зашеек свиязи, не заразил добычу; но он тут же выправился и снова взошел над отбитой от стаи уткой, спешащей в ухоронку...

"Эй, парень, чего рот разинул? Не у тещи в гостях. Уставился! Давай готовь Гамаюна. Будем пробовать! — приказал Парфентий новому поддатню. Начального сокольника он непонятно чем, но досадил, был не по нутру. Вроде бы и слушался служивый и споро чинил всякое дело, но был себе на уме, исполнял без старания и покорства, не сымая с толстых губ постоянной ухмылки. — Чего лыбишься-то? Готовь, говорю, птицу, чувал с мякиной". Обидел и разом осекся Парфентий, когда слегка подался поддатень над плетухой, расправил плечи и пристально оглядел старого сокольника.

"Тьфу на тебя, леший!" — мысленно сплюнул Парфентий Табалин и, отступаясь, не сказал ни слова более, с тревогою отыскал взглядом челига. А Любимко

добыл из короба белого кречета, развязал кожаные задержки на затылке, сдернул с головы полевой клобучок. Гамаюн, разминая умиренное водяниною тело, резко взмахнул крылами, сбил овчиный треух с головы поддатня. Зазвенели серебряные колокольцы в срединном хвостовом пере. Белый кречет успокоился, принял стойку, в бурых змеиных глазах его появилась змеиная жесточь. Но он не крыгал, не скрипел, не щелкал клювом, не клохтал гортанью, не булькал зобом, срыгивая погадку, но был молчалив и недвижен, как бы высечен из белого с прожилками камня, и только белые пленки век, как совки клобучка, изредка накрывали, прятали его настороженный взгляд.

"Ну, братец, порадуй мою и цареву душу, понорови, — шепнул Любимко, без боязни наклоняясь к кречету, и подул ему в темечко, в золотые кружева короны. — Повитерь тебе в зад, разбойник..."

Сокол снова встряхнулся, малиново воспели колокольцы. Тем временем челиг в небе травил, гонял зазевавшуюся утю, как бы нехотя садился на нее и снова взмывал, потешая охотников, веселя душу. Птица металась, не зная, куда деваться. Сокол долго не слезал с птицы, не мог ее смертно заразить, не хватало силы, потом с великим трудом разбил свиязь, смертно заразил ее, свалился в приозерный чапыжник, делся прочь с глаз и учал валяться на дичи, истеребливая ей брюшину. Знать, худо был кормлен накануне, без радения. Хорошо, не было в охоте поддатня Андрюшки Кельина, иначе бы ведать ему скорый царев гнев за дурную службу. Потешники поскакали, отняли у челига добычу, подсокольничий отправился к государю дознаваться, вершить ли охоту дальше, иль свертываться, иль сбираться в Тюхали на утреннее кушанье, где дворцовою службой, засланной заранее, была изготовлена ества, иль досматривать дальние кулижки, луговые проточины и водомоины, и прыски, куда затаилась спугнутая птица. А уж день вовсю разгорелся, солнце по-весеннему парко ярилось, накатывался клубами тяжелый густой дух нагретой воды, травяной ветоши, близких болотин и калтусин. Лениво вдруг стало и истомно, Любимко с трудом ворочал сонной головою, разглядывая угодья. К какой-то иной, незнаемой допрежь жизни случайно прикоснулся он пока лишь краем, и эта жизнь, откушенная с краюшки, оказалась нажористой, плотной, но с напрягою, когда всякую минуту надобно дозорить за собою, чтобы не опростоволоситься, не попасть впросак. Парфентий Табалин, понурясь, сутулился возле и ждал отмашки Хомякова; ослабевшие глаза его под седыми клочьями бровей тускло слезились. Нынче вот опять промахнулся, старый, и по всему выходило, что пора на погост...

...Ах, молодяжка, подвела старика. Вот и доверься им...

* * *

...Царь встретил Хомякова с укоризнами. Два стольника держали над ним пепелесый солнешник из куфтери на двух бамбуковых шестах: шелк надувался, как парус, и всхлапывал под ветром. Лицо государя уже по-весеннему шоколадно залоснилось, лишь в затеньях висков лежала мгла усталости. Наблюдая за челигом, предвкушая добрую красивую потеху, государь, чтоб лучше видеть, спустился к озеру, не замечая, что стоит по щиколотку в заводяневшей жидкой дерновине, и тягучая стынь уже пробилась сквозь меховые чулочки до тоскнущих ног. Царь только что воспламенился забавою, о ней он мечтал весь прошлый год; и сейчас он спроваживал челига в самый зенит, как ребенок, желая соколу удачи и норова; он спосылал его в солнечный расплав, как бы засеянный дробленым пашеном, заранее угадывая птичью затею по ее лету и верху — и вот на тебе: все утиные гнезда пораспугали и всей потехе конец. Но когда подъехал подсокольничий, глаза государя еще хранили живое тепло.

"Худо вы промышляете, Петр Семенович. — Глаза смотрели мягко, с пивным густым расплавом с золотыми искрами, но голос был уже сух и ломок. — Скверною, знать, кормите. Вас-то бы падалью, так каково? Вот ужо велю... Что ж на живое-то ленитесь напускать? А я ведь вам указывал, и Матюшкину тож, помните? напускать чаще на дикое, чтоб птица не засиделась. Писал же: пустить всякому кречету по четыре осорьи в седьмицу. Худо, Хомяков, коли распустиха у меня под боком заселилась".

Хомяков опустил глаза. Катал скулы. Чуял вину и сам переживал пуще государя, но не от того, что боялся острастки, но сердцем постоянно радел за дело. Алексей Михайлович, зажав в кулаке ременку, мерно хлопал рукоятью по сапогу, как бы пригваждывая каждое слово. И были те слова как пули.

"Я волю вам дал, щенки. Доверился, что станете учить молодяжку, пока не остербля. И гли-ко, повалился челиг на утю, как мужик с килою. Худо так-то, Петр Семенович, худо. — Левая щека государя нервно дернулась. Он прижал ее ладонью, утишивая скачущую жилку, отвернулся, приказал не глядя: — Поди. Сбивай охоту. В Тюхали едем".

Государь померк, слинял лицом.

Хомяков поворотил лошадь. Когда проезжал мимо Морозова, боярин погрозил ему кулаком. Государь бормотал: "Я ль не указал им в "Урядинке", весь чин расписал. Слушайте только, неслухи... Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте нелениво и безскучно, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу. Ишь ли, им, злодейцам, нынче и наука не в толк. На добром-то царе каково ездят. И Парфентий-то стал как сухой кизяк. Эх!"

Алексей Михайлович горестно вздохнул, почувствовал, что окончательно промочил ноги, вернулся на склон веретья и, пересиля гнев Исусовой молитвой, направил дозорную трубку в супротивную сторону. Он увидел, как потекли в приказное место сокольники, и пешие псари, и приказчики, как упрятывались в шалаши птичьи охотники, чтобы напоследях, когда стихнет, настрелять дичи к царскому столу. Но что это? из урочища, с залитых талой водою болот слетела цапля и направилась на охотничью ватагу, несуразно протянув ноги, похожая на саранчука, нелепая и вроде бы совершенно беспомощная птица. Но государь-то добро знал, какой у цапли верх и беспощадный удар, и разящий вспарывающий клюв, и когда кречета в науку пускали на цаплю, то прежде ей надевали на клюв деревянный футляр для обережения драгоценного сокола, за коим, быть может, не один месяц блуждали помытчики по тундрам и лесным засторонкам.

И вдруг незнаемый прежде поддатень посунул белого кречета с рукавицы вслед цапле. Царь видел, как ярился Табалин, грозил помощнику. Обыкновенная охота шла по росписи, каждый шаг был достоверно указан царем самолично, и нельзя было отступиться от заведенного обычая во всякой мелочи под страхом сурового правежа и тюрьмы. А тут, ишь ли, сыскался такой смельчак, что самому государю впоперечку. Ну, алгимей, ах б... сын! — невольно вскричал Алексей Михайлович, не отрываясь от зрительной трубки. Но тут же позабыл свой гнев, не оглядываясь, поманил пальцем боярина Морозова; лицо его рассиялось, и все громоздкое приземистое тело, утонувшее в широком дорожном кафтане, подбитом лисами, вдруг потонело и приняло легкость.

"Это ж Гамаюн... Истинная царь-птица! Я не видал такой допрежь", — бормотал царь, не заботясь, слышит ли его боярин.

Цапля, почуяв разбойника, на удивление споро пошла вверх, а кречет, слегка осторонясь, как гончак за зайцем, без натуги, казалось бы с ленцой упираясь крылами, взмыл следом на самое дно приголубленного неба; они взбирались кругами все выше и выше, пока почти вовсе не исчезли из глаз, и только острый приимчивый взгляд государя находил в щемящем просторе два просяных зернышка, соединенных меж собою невидимой вервью. Такого верха достигает редкий кречет. Гамаюн встал в лету и принакрыл как бы цаплю сверху, и тогда они стали падать с неуловимой быстротою: над землею кречет мякнул, заразил цаплю в голову и тут же отпрянул, ибо птица щелконула клювом, как кузнечными ножницами. И снова Гамаюн взнялся вверх для новой ставки, чтобы зависнуть над добычею, и как бы случайно, легко осадил в скользящем полете цаплю, оседлал сверху, ткнул ее в хребтину, вырвал щепотку перьев и отвалил в сторону... Этот кречет еще и куражился, он вроде бы покидал жертву, миловал ее, уходил прочь, размываясь в небе, так что сокольники пугались что он собрался утекчи, но, делая круг по-за лесами, он снова настигал добычу и с какой-то холодной безжалостной яростью долбил и долбил ее в зашеек, как долотом. Да, это был великий воин, каких поискать, и с великим верхом. Он гнал жертву свою версты с полторы и затюкал над сырым урочищем, над самым ее гнездовьем, и на двадцатой ставке смертельно заразил ее, и уже не выпуская добычу из когтей, упал вместе с нею в чернолесье. И все служивые, забыв всякий свое дело, сбились в ватагу и заломили

головы, и переживали с тем азартом, что свойственен лишь соколиным охотникам, ибо эта потеха самая благородная, тут нет счету добыче, но тут чувствуют душою, тут азартничают, и сам полет кречета, его недостижимые верхи, когда он почти размывается в небесной молочной сыворотке, резвость и удар птицы доставляют сердцу столько неизъяснимой радости, кою не заменит никакая крупная добыча, взятая тенетами, засадой иль пищалью. Ибо красотою живет птичий охотник, и ей, красоте, предан всякий чин, от младшего кормленщика и стойлового конюха до великого государя. Здесь в полевой охоте, несмотря на всю строгую роспись устава, они братовья по чувству, и сердца их бьются удивительно воедино, без сбоев и ревности. Это уж когда перекинулась цапля и Гамаюн свалился с нею, набивая зоб пером и кровью, и Любимко торопливо поскакал в ивняки, чтобы перенять, повабить кречета, тогда, быть может, некоторые и позавидовали Парфентию Табалину, что он и на старости лет, у края могилы, заимел такую птицу во власти и перехватил государеву любовь на себя. Охотники долго не могли остыть, да и сам царь распалился жаром и все домогался до боярина Морозова, искреннего, запойного охотника, кричал: "Ты видел, каково ен мякнул...? Ссадил, как свея на пику. Ты посмотри, Борис Иванович, двадцать ставок, да таким верхом. Думал, утечет. Уж все... Ах ты, думаю". — "Добрая, добрая птица, ничего не скажу, — соглашался Морозов, радый, что так все ладно сложилось и сладко умаслило царя. Иначе бы нуда сплошная целый день пробыть возле угнетенного государя. А тут сам Господь понаровил. — А ты помнишь Кизилбея моего?" — "Чего там помнить? Пред Гамаюном курица", — нахмурился государь, крапивные пятна проступили на скулах, перешибая загар.

Морозов отъехал, обидчиво померк, но скрепил душу, чтобы не связываться в пустой пре. Царь тут же и обернулся, вроде бы почуял пустоту справа, отыскал взглядом боярина, увидел его кислое лицо с зернами табака на короткой скобе усов. Засмеялся, тут же отмякая: "Слышь, Бориско Иваныч! А ну вели-ка отпустить нам водки! Ишь надулся, как мышь на крупу, как жид на свиное ухо". Споро подкатил стольник с крытым поставцом, отомкнув дверцу, достал чары, тут же налил и отпил из своей.

"Ну, с доброй охотой, дядько! Ой увеселил! — чокнулся с боярином, лихо выпил. — Не кисни... Помню твоего Кизилбея. Добёр был махметка".

Тут подъехал подсокольничий и первый сокольник Парфентий Табалин, а сзади, держа на рукавице кречета, и Любимко. Алексей Михайлович нахмурился, гроза пробежала в очах его: "Худо пасешь, Хомяков. Даве струнил тебя и сейчас скажу. Иль на правеж тебя? И ты, Парфентий, никуда не гож, даешь послабки. А ну ты, неслух!" — государь поманил Любимку пальцем из-под солнешника, измерил его взглядом. Глаза у царя были медовые, и темно-каштановая, с черна, борода кудряво пласталась на груди, на рыжих лисах, и дикий собачий мех с белесой искрою казался чудным продолжением ее. И снова царь был иным. Не сводя с государя любящего взгляда, Любимко зачарованно тронул лошадь, хлюпая, перевалил через проточину. Хомяков перехватил гнедка за удила, означил место, где стоять поддатню. Любимко спешился, содрал шапку, отбил поклон.

"Дарык чапу, врести дан... Дай птицу-то, дай сюда! Экий ты выскеть", — повелел государь. Любимко и не понял, что говорят ему.

Хомяков ловко насунул на десницу государя полевую рукавицу, перенял кречета от замешкавшегося поддатня и с поклоном поднес царю. Алексей Михайлович перекрестился, с давним навыком властно прихватил кречета за опутенки, усадил на руку, погладил по взгорбку, широкой ладонью приобжимая на горле пуховое ожерелье. В прорези клобучка глаза птицы горели, как два янтаря в малахитах.

"Кто вынашивал птицу?" — строго спросил государь, вблизи прицениваяполярного владыку, его стати, и остался доволен.

"Любимки Ванюкова, двинского помытчика, привоз. Сам и вынашивал дикомыта", — ответил Хомяков.

"Это он, что ли? — кивнул государь на Любимку. — И что, там все такие ослушники и поперечники? — Кречет угрозливо загорготал, заскрежетал клювом, забулькал зобом. Царь слегка отстранил тяжелую птицу, стережась сполошного удара махалок. — Ой страшный, ой боюся! — вдруг засмеялся он, и все охотники тоже засмеялись. — За стойную охоту, за великодушество велю выдать

пятнадцать рублев на кафтан... А за самовольство и самохвальство отпустить пятнадцать плетей в науку. Но ежли и в другой раз провинится, то и в чепи. Чтоб неповадно было мудрствовать..."

Охота споро сбилась в ватагу, через луговину и по замежкам оттаявших полей гуськом тронулась в весь Тюхали на кушанье.

Вечером, уже в селе Покровском, в конюшне царского путевого дворца выдали Любимке не жалеючи пятнадцать плетей для острастки. Любимко поднялся с лавки, натянул портки, встряхнулся, поклонился приказчикам и сказал без осердки, скалясь толстогубым ртом: "Спасибо, мужички, добро поучили... Ну и слава Богу, что не позабыл меня..."

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Царь по привычке встал рано; помолился в походной церкви, сам прислуживая дворцовому попу. Душа радела от давножданного покоя, казалось бы особую милость получил Алексей Михайлович от Господа за долгие старания. В этой тишине все мирское померкло, и монашеское уединение показалось счастием. И то, что польскую корону настоятельно обещивают, и своей отступился, затих в берлоге, и немец поклонился Ригою, и Белая Русь наконец-то развесила свои рушники на Московской Заступнице, — все это показалось вдруг настолько неважным, что государь даже подивился в мыслях, что вот эти заботы и томили, досаждали ему столь долгое время...

Он вернулся в брусовую опочивальню, больше похожую на келеицу, жарко вытопленную с вечера, распахнул окно. Влажно потянуло с воли, глаза скоро привыкли к предутренней темени, и царь понял, что ночь сдвинулась, с востока небо слегка прираскрылось, как речная раковина, и там перламутр смешался с нежной зеленью и морошковым соком. Отчего-то в эти минуты особенно проникаешься, что Господне око всечасно зрит за тобою, а ты столь мал, беззащитен и грешен, что Бога-то зовешь в подмогу с особой страстию, как осиротевшее дитя у гроба родимой маменьки.

Вскричала тревожно выпь у болотца; проблеял чибис над польцом; простригли со свистом чирята стайкой и хлопнулись на ближний прыск, отсвечивающий в подугорье мутным бельмом; забормотали, загулькали тетерева, головешками развесились по березам о самый край селитьбы, их токованье просквозило улицу, подняло звонаря, и он торопливо раскачал колокола у церкови, зовя богомольников на утренницу.

Господи, хорошо-то как, будто при молитве. Да пусть не кончается это утро. Но чу! Где-то далеко всхлопали двери в деревянном дворце, многий служивый люд зашевелился в клетях и подклетях, в повалушах и чуланах, зачмокали по полу босые ноги, пролилась из кувшина вода в таз, заскрипели ворота — это сменилась караульная вахта; стольники друг за дружкою, ежась от утренней мозглети, бежали по двору в заход, их белые сорочки влажно светлели на площади, когда они сбились гомонливым гусачьим стадом, уже не боясь нарушить тишину. Царь, улыбаясь, отступил внутрь спаленки, чтоб не заметили надзора, а служивые мельком нет-нет да и взглядывали на государево окно, гадали, стережет ли царь; им так не хотелось спускаться под горушку, где с осени была вырыта иордань, сейчас всклень налитая снежницей, с глинистыми скользкими берегами, забродить в воду по окати, оскальзываясь, с замиранием в груди; и вот в эту купель надо было каждый день погружаться, ибо так постановил государь; а кто ловчил, избегал купанья, тех до брашна не допускал. Ну Бог с ней, с ествою, можно перехватить и на кухне у стряпухи, стянув оковалок вареной говяды, иль ломоть от свиного стяга... Но в потехах лесовых, в охотничьих ватагах и в путях богомольных в монастыри государь слуг своих — стряпчих и стольников, и городовых дворян, и боярских детей, и начальных сокольников, и стремянных — по обыкновению сажал за един стол, и кушанья эти, поначалу степенные, после обретали то редкое дружество, ту веселую праздничную легкость, коя, милуя сердце, запоминалось надолго. И государь в таких пированьях был простец-человек, и лихо порою закидывал чару, и особо не чинился, не строжился, а после счастливой забавы иль крупной зверовой осеки и самолично обходил стол с кубком вина,

награждая отличившегося охотника. Такой дружиной, известной лишь по преданьям, только в поле и можно посидеть младшему чину, которому в Верх Московский доступ зачастую заказан, и толчется человек низкого звания обычно где-то внизу, на дворцовой площади, у первой ступеньки Спального крыльца...

Воистину, как гусаки: поскрипели, а завидев подсокольничьего Хомякова, построились и вереницею покорно потянулись на иордань.

Тут вошел ближний боярин, украдчиво постучавшись, осторожно прикрыл дверь. Был он в горносталевых чулочках и в мягких чуньках, шитых из зеленой юфти. И царь заговорил вдруг, не оборачиваясь, зная верно, что навестил дядько Морозов: "Вот много ли я из окна схватил взглядом, а как Господа въяве увидел. Ибо Русь. Он везде у нас отпечатался. Лесной угол, для чужого обавника нежить и невзглядь, а нам мир и покой. — Царь вроде бы продолжил разговор, затеянный неведомо когда, может и дедом его, но супротивник тот был не вовне, а в самом государевом сердце. Греховный человек, стремяся заполучить хоть искру Божию, и государь сошлись в рати. — Да... покой и мир. И так в каждом углу. А мы воюем, мы ратимся, нас отичи и дедичи куда-то зовут. Из их могил свет призывный встает. Вот я с полками летось сколько верст сломал, а чужого места не нашел: кругом наши приметы, наши вешки расставлены, по нашим святым упокойникам всевечные свечи горят. — Морозов шумно дышал, он нанюхался с утра табаки, не прочихался и сейчас с трудом крепился, мял переносицу. В припухших глазах тлел в спину царя безлюбовный огонек. Морозов уже знал, куда клонит государь. Снова махмет, басурманы, плачущий вселенский патриарх, что натолковано с малых лет. Но на сей раз боярин ошибся. Этот тихий закут под Коломенским — с протяжным криком выпи,с тетеревиным гульканьем, с вязкими серыми сумерками, струящими в окно, пахнущими сладко снежными последями, костровым дымом, московской дынею, прелью, березовым соком, — вдруг почудился царю той заветной обителью, коей хватило бы для полного земного счастия. Царь не пал духом, нет, но он как-то вдруг поразился вселенской громадностью этого тихого лесного засторонка. — Чего ж еще-то надобно человеку? Не напрасно ли мы ширимся, окутываемся чужой верою? Ой, боярин, укрупят нас обавники, очаруют чернокнижники и фарисеи прелестями. И ты вот, гляжу, поддался, а как силен был до веры! Молчи, молчи... Так не лучше ли замкнуться в этом куту, закрыться, переждать. Божье время неиссекновенно. Куда спешить? Не рано ли раздеваемся на посмотрение, себя кажем? И как долго ждать еще? Убитыми православными замостили землю, они еще не истлели, они зовут. Стародавних праведников мощи святые нетленные зовут. Мы не берем чужого, но Господь, поворотясь к нам, наконец, за муки наши, возвращает некогда ухапленное ворогом. Не в чужую землю вошли мы, она вся принакрыта словенским духом и светом Богородичным. Дух тот стенает, зовет. А все попрекают чужим куском, де, сухомятка горло дерет. И ты попрекаешь, в спину сверлишь взглядом, де, зачем в Польшу залезли, де, и Ригу-то надо немцам вернуть, и Украина, де, нам в тягость. И, де, поборами изнасилили Русь, и стоном стонет холоп. А напрасно попрекаешь, и тебе с тех походов не осевки достались, не одонья из коробья. Гли-ко, умостил дворец пригородный золотом пуще царского, меня затмить хочешь. Э... Молчи, молчи... Скажешь, де, богатство в тягость, де, кровь стынет. И сама жизнь в тягость, но в радость лишь смерть. Да, чужой кусок, черствый кусок, в горле костью встанет. Его, водой не промочив, не проглонуть. А где чужое-то? с чего ополчились, Бориско Иваныч? У меня во дворце под боком скрытни строите, как латинники дозорите за каждым шагом моим. Мало вас дедко Иван ссек. И вас укупили фараоновы силы? Знаю, знаю, де, по Украйне дух святого князя Владимира царюет, по нас кличет. А над Сербией дух святого Саввы царюет. А греки под махметкой лицо свое потеряли и веру испроказили, смиряясь силе. То исход наш, те тропы не заросли, они в сумерках лет адамантом сияют. Но погодить надо, годить... Молчи, молчи. Сна нету. Как филин нынче. Все думаю: а не Господь ли попускает за грехи наши? Вот пораскрылись для чужебесных, а ведь страшно! Как голый на морозе. Вино от выдержки крепче, земля от запоров стойнее, меньше соблазнов. О чем не знаешь, о том не тоскуешь. Вот и дитешонка жалко порою, но через слезы лупцуешь за провинность. Бо то наука. А дай спуску, упадет в изврат, либо в кручину, кусочничать станет, иль шалить, на отца будет жалиться, веру распродаст, землю распустит. Толкаете вы меня, бояре, на чур да на эх! Ну что

молчишь-то? Язык проглотил? Помирал отец, с тебя клятву взял целованием меня в вере крепить и делу учить, а ты и молиться нынче позабыл, табаку вот пьешь. Шебаршишься, как мышь в валенке. Чего делишь-то, иль мало накопил? Детей нету, кому гобина? Отдай в монастырь да постригися в схиму. Батьку моего Никона живым хочешь закопать..."

"Я его чту, государь. — Морозов неслышно приблизился к окну, глубоко вздохнул. — Но тебя люблю. Что мне гобина? Моя жизнь — твоя. Но он, б...сы, позабыл монашеские заповеди, на мирское перекинулся. Ты под его дудку пляшешь, его погудки поешь. Тебя долго не было. Он царить хощет. И неуж не видишь? Он себя папою возомнил, еретик, он вздумал Русь перетряхнуть, новины затеял. Священницы от него восплакали, он Божьи лики ни во что ставит..."

"Не он затеял, а я", — сказал государь твердо.

"Ты, ты затеял, — торопливо согласился Морозов. — А теперь отстранися, прошу тебя. Отовсюду изветы и лай, средь бояр твоих смута. Старой веры хотят. Ты и их пойми. Свой халат, пусть и в дырьях, милее чужого. — Морозов почти шептал, заступая в тень; елейница от крутого сквозняка под божницей качалась слабыми кругами, и этот полутайный голубоватый свет блуждал по лицу боярина, вылепливал то водянистые мешки под глазами, то сивый короткий волос, то прикляповатый грушею нос. — Прошу тебя, отступи в тень, отстранися. Тебе достало своей славы. Пусть на него изветы и доносы..."

"Лукавец, ты всех пережил! Нет-нет, я не выдам собинного друга, великого государя..."

"Но две головы на одной шее не бывает. То дракон... И неуж дракон на престоле? Ты ж Богом венчан..."

Во дворе ударили в деревянное било, сзывая на утреннее кушанье. Морозов вздрогнул, словно бы кто со стороны остерег его: де, прислушайся к словам своим, не проговорился ли в чем? Долгая дворцовая служба приучила не доверять тишине; много перелазов и всяких ухоронок в Руси, к коим прилепляются враждебные уши. Много врагов у Морозова. Тяжелый нос выступил из полумрака, живущий вроде бы сам по себе, и Морозов напомнил государю лесного вепря.

Царь, почитавший комнатного дядьку за отца родного, взлелеянный на его коленях, сейчас необъяснимо, но почти ненавидел его. Потому что боярин говорил тайными государевыми словами. Морозов покусился на его сокровенное, он открыто заступил цареву волю, напомнил детство.

"Это немцы научили тебя избыть патриарха? — натянуто, но стараясь быть добродушным, спросил государь. Но голос его пресекся. — Иль Омира, Платона начитался? Вдохнул яду еретического из аристотелевых врат?"

"Государь, пойми... В затворе жить — это как бы без зеркал жить. Да-да... Я уже стар, и лыс, и сед, а все вьюнош. Так уверился. Пока не смотрюся в зеркало, все молод. Так и мы. Загорделись, как лапоть пред сапогом. Чего ж, и то верно. Немцы — кроты. Но ходы во все земли понарыли. Они истину чуют, они богатство копят. Они долго жить хотят. А мы, как птицы небесные, все растрясаем. Моя бы власть, государь, я бы в каждом приказе по немцу с плетью посадил".

"Ваш немец на дудочке заиграет, все крысы из дому вон. Русский заиграет — все нищие в дому. Нищий же богатого в рай ведет. Они, лутеры и латинники, в Господа нашего пятый гвоздь забили, гобины ради, а ты врага величаешь. Ты давно прелестник и меня завлекаешь".

"Какой прелестник, ты что, государь? — натянуто засмеялся Морозов. — Я ли о Боге не стражду? Но я и о земле нашей радею. Надо отворить жилы и выпустить дурную кровь. Кровь надобно выметать. Кабы удар не случился. От дури. Алексей Михайлович, впусти в Русь торговца. Золото и жидкую кровь делает горячей. Ты мне, старому, поверь. Худому не наставлю. Не раться с немцем, замирися, но возьми его в слуги".

Алексей Михайлович отворотился, спрятал взгляд, вроде бы потерял речь. А добрый ангел нашептывал остереженье, пас христовенького... Государь, укороти немедля боярина, сорви с ушей покровцы обманчивых слов, ибо в каждом отрава и соблазн. Захочешь опереться на них, а это плывун, павна, дижинь и жидень. Отпрянь, сердешный, окстись, православненький, пока не очаровали. Опой от слов коварных куда хуже хмеля.

В любой реке бывают залавки, подводные обрывы. Ступаешь по отмели,

забродишь в парную воду, не чуя беды: и вдруг — ах! провалище студеное, аж сердце захватит. Порой и смерть тут сыщешь. И к такому залавку уже приблизился государь, душою ведая стылость тайных гремучих родников, змеино сплетающихся в глуби. Но он лишь погрузил пятку в это провалище и, страшась бездонной, крутящейся, засасывающей воды, отпрянул на время, переживая сердцем непонятную сладость и терпкость испуга...

Отпрянул и погрозил кому-то пальцем.

* * *

Только что румянилось небо, и вдруг исподтишка зятянуло наволочью из гнилого угла, закрапал мелкий весенний дождь; под этим обложником добро преет, готовится к родинам земля.

На потеху после раннего кушанья решили не ехать, разобрали клади, накормили птицу, стали ждать государева веленья. Служивое дело приказное. А царю хотелось потех, он томился от пустого сидения. Спросил зверовщика: что с волчьим двором в Покровском? и оказалось вдруг, что в зверинце подгадан медведь, недавно взяли живым на осеке; так удачно подноровили вместе с начальником потешного двора Василием Голохвастовым, чтоб царя порадовать.

Алексей Михайлович после памятной втсречи с медведем, когда едва не погиб, перестал баловаться серьезной охотою, с рогатиной и вилами на хозяина не хаживал, но забавы зверовые любил. И для того были срублены близ охотничьих угодий волчьи дворы, где содержались и волки, и лисы, и медведи для травли и боев. И куда бы ни отправился тешиться государь в подмосковные угодья, во все пути отчины — то ли в Измайлово, иль Хорошево, Чертаново и Осеево, Ермолино и Дмитриево, Тонинское и Семеновское, Покровское и Балабаново, — везде ставлены зверинцы со всею угодной царю живностью и срядою, и дожидаются там медведи дворные, и гонные, и дикие; а если надобно душе, то притянут зверину прямь из леса. И для того были присмотрены медвежьи лежбища, и притравы, и кормные места. И за всяким лесным ухожьем царевым следил глаз зверовщика, коему был дан строгий наказ блюсти лес и никого из чужих охотников под страхом смерти в угодья не допускать...

Чаще медведями тешились в Кремле, иль под горою, иль на заднем государевом дворе близ палат патриарха, зимою же на льду Москвы-реки, когда травили зверя британами. Иногда тешились на псарном дворе, где гоняли медведя собаками, иль справляли забавы в загородных дворцах. Боролись обычно с медведями дворными, учеными. Хозяин частенько драл смельчакам зипуны, и кафтаны, и штаны, мял и ломал забияк, изъедал им руки и голову, выламывал зубы, портил губы и глаза, но до смертного убойства не доходило. Куда же рисковее были бои с дикими медведями, коих приваживали прямо из леса, иль мало обжившимися на потешных дворах. Бойцы выходили с вилами иль рогатиной, и требовалось много силы и хладнокровия, и бесстрашия, и ловкости, чтобы посадить топтыгина на вилы. Это была борьба страшная, зрелище для людей с крепкими нервами.

* * *

Дождь-ситничек наконец перестал. Влажное небо нависло иссиня-черной лещадной плитою. Загон был посыпан свежим желтым песком, чтоб не солодилась, не растаптывалась грязь и не проступала кровь. Ристалище — пять сажней на пять — обнесено высокими бревенчатыми палями, заостренными сверху. Мокрые бревна блестели. Поверх стены был настлан мост из колотых плах. Сейчас царево место покрыли толстым брусеничным ковром с густым ворсом, поставили креслице с приступком, обтянутым синим сукном. Служивые уже толпились на обломе, расхаживали по галдарее, проглядывали крохотное польцо, словно бы никогда не видали ранее, примерялись к загону, ревниво дозирая друг дружку, гадали промеж собою, кто насмелится нынче брать потапыча. А стремянный конюх, начальствующий над Покровским волчьим двором и над псарнею, сказывал, де, нынче приволокли на телеге матерущего сергацкого барина пудов на

шашнадцать, взяли тенетами на привадах. Был меж потешников и галичанин сын боярский Федор Сытин, что не раз барывался с хозяином, и Петрушка Горностаев, что дважды вельми удачно тешил государя на Дворце, бился с лешаком, и Петрушка Мякотин, что дворных медведей дражнил, да и среди стольников могли сыскаться охочие до свирепой страсти. В общем, дожидались государя бойцы именитые, страху не ведающие, верная царева служба, что ради государева веселья была готова без колебания и голову на плаху сложить...

Чуть погодя и царь явился, поднялся по лесенке на мост, придирчиво оглядел кулижку песка; служивые встретили государя большим поклоном и не смели поднять взгляда, пока Алексей Михайлович опускался в креслице. Маленькая бархатная еломка была на залом, темные волосы, опадающие на серебряный кружевной ворот походной темно-синей епанчи, были под цвет отпотевшей весенней пашни. Царь откинул голову на бархатный подзатыльник кресла, призакрыл глаза, собираясь с чувствами, он еще побарывал в себе утренний разговор с Морозовым; хорошо, того не случилось возле, сказался больным, старый, лег почивать, заушатель. За спиной застыли два стряпчих с суконным покровцем от мороси и стольник князь Гундоров. Лоб государя, до того страдальчески изморщенный, разгладился, какая-то безмятежная, беспечальная улыбка тронула губы. Еще не разомкнув очей, Алексей Михайлович взмахнул рукою, и тут разом ударили барабаны, взбренчали трещотки, загулькали сопелки и гудки по всем углам боевого поля. В волчьем дворе распахнулись ворота, и из прохода под обломом с крёхтаньем, подслеповато щурясь после темного закута, вышел михайло иваныч, лесной архимандрит, матерущий старый пест. Он двинулся по кругу валко, неспешно, косолапо выкидывая вкрадчивые плоские пяты, убрав приплюснутую голову в мохнатый воротник. Шерсть на рыжих ляжках, и на гузне, и на подчеревьях болталась клочьями, линяющий с зимы мохнач был в опрелостях и подпалинах; еще два дня тому он жировал на поедях на оттаявшем болоте, искал коренья и торфяных живулин, выгоняя из нутра застоялые зимние погадки. Потом пришел на приважу (кислую требушину), и тут его полонили. Это был стервятник, каких поискать, уремный князь, володетель раменских урочищ, и даже на истощелых за лежку мясах шкура переливалась волнами, выказывая силу окаянную. Царь зачарованно свесился с креслица, заерзал в толстом ковре юфтевыми сапожонками, словно бы замечтал спрыгнуть вниз, когда медведко проходил мимо, равнодушно зевая, выказывая частокол еще не съеденных зубов и черное небо. Он даже остановился прямь государя, почуяв запах родостама и розового масла, задрал голову, свинцовые глазки в буроватых озеночках были пристальны и вроде бы улыбчивы. На царя пахнуло звериной утробою. И мог поклясться Алексей Михайлович, что этот лешак и подмял его тогда в звенигородских лесах. Чур мне, чур! Навидится же пустое! Во многих государь бывал осеках, и всякий раз его дивила эта дикая неукротимая сила. А барабаны все били не умолкая, задорили потешников, разжигали азарт. Алексей Михайлович снова дал знак, и ловчие стали поддевать медведя длинными пиками, колоть в загривок, бесить мохнача и задорить. Косолапый взревел, ярясь, и пошел на рысях, взлягивая задними лапами, как борзой кобель.

И в третий раз, как то велось по росписи, государь дал весть, барабаны смолкли, на облом вышел ражий бирючь и возвестил в совершенной тишине: "Эй! Братцы-молодцы! Чай, засиделись на государевах харчах! Кто смелой ратиться с михайлой иванычем, того ждет царская милость!"

И вроде бы заробели служивые: всяк ждал зова, полнясь нетерпением, примерялись к медведке, а тут с жару вроде бы окатили родниковой водою из бадейки. И взоры попрятали, потупились, сердешные. Знамо дело, на медведя идешь — постель готовь. Чертова ведь сила, заломает — не пикнешь. Да и то: смерть в глаза не смотрит, она на тихих подкатит, неслышно, да и оборет. А жить-то хочется...

Царь, насмешливо прищурясь, обежал взглядом стену, где кучились и сокольники, и псари, и дети боярские, та самая челядь, что всегда у царя прислоном, его броня и защита. Он-то хорошо ведал русийский норов, де, за спинами не засиживайся, да и вперед не лезь. С поклона голова не отвалится.

И вдругорядь поклонился бирючь, зычно прокричал на всё Покровское, аж в другом конце сельца забрехали собаки. Ежли где еще и таились молодцы, иль

сиднем сидели на лавке, и те бы должны притечь на потеху, повеселить Алексея, батюшку родимого.

"Аль повывелись богатыри на Руси, в ком кровь не водица! Иль по ошибке порты носите и в бабы вас надобно зачислить, в повойник обрядить, да поставить к печи хлебы пекчи!"

"Дак, мы што... Мы ништо, — слегка заершились мужики на обломе, нарочито обижаясь. — Наше дело подневольное. Слушай, рябина, что лес говорит. Дак ведь и не к теще на блины. Сам уразумей, пустобрех. Раз помаслит ломыга, год облизывайся".

Царь еще пуще присбил бархатную еломку на затылок, почуял сырое тепло, стекающее по спине, пристукнул, горячась, посошком. И в третий раз поклонился, вскричал бирючь:

"Ми-ла-и-и..! Что, зайца напугались, да в порты обос... И неуж жидки в ногах стали, как дижинни шаньги? И неуж столетнего дедка Микиту с псарни звать? Он-то и палкой зашибет. Велик ли медведко-то, сами глядите. Ни кожи, ни рожи, одна шкура на мутовке. Малец потянет за хвост, дак сдернет..."

Кропил мелкий дождичек, противный такой сеянец, что неприметно до костей промочит. Стены загона залоснились, ярый песок потемнел. В такое погодье бойцу твердая рука нужна.

И тут, пока расчухивались, полагаясь друг на дружку, ведь во всяком деле есть первостатейные зачинщики, из-за государевой спины выдвинулся князь Гундоров, отбил земной поклон, объявил твердо: "Дозволь ратиться, государь". В его руках откуда-то взялись круторогие вилы, влажное ратовище лимонно желтело. И всяк в эту минуту, кто воззрился с удивлением на князя, подумал, наверное: да куда ты лезешь, милый? С лоскутом да к целой шубе примериваешься. И то сказать, не особенно видок и плечист князь: сухой, тонкий, что виноградная лоза, нос ятаганом над тонкой струйкой усов, и толстые черные брови над жаркими глазами, что медведи, лежат. Гундорову царь мирволил, не раз прислуживал тот за трапезой, но больно горяч стольник и обидчив; скажи слово не в масть, так и губа на локоть. Царь благосклонно кивнул, ничего не сказал, и князь по-кошачьи соскочил с тына в набухший песок, слегка увязив сапоги с короткими широкими голенищами. Медведь, вихляющий по кругу, оторопел от подобной наглости, по-собачьи осел на гузно. И тут снова наддали ему пикою в зашеек, проточили шкуру.

В загоне князь казался вовсе мал и неказист, он отпрянул, прижался к бревенчатому тыну, и на походной куртке отпечатался мокрый след. Михайло иваныч взревел, что твоя иерихонская труба, и тут у всякого поединщика, не рохли, не робкого десятка, дрогнули бы, подсеклись коленки. Шерсть поднялась на загривке, в черных морщинистых загубьях запузырилась желтая пена. Медведь оскалился злобно, остервенился, верхняя губа задралась, обнажив белесые, припухшие с зимы десны с притупленными клыками. Травили хозяина, подтыкали пиками враги недосягаемые, изнуряли его гордоватую натуру, доводя до исступления, и вот мучитель, наконец, напротив, лишь стоит взняться на задние лапы и приобнять тварь беспечную, легким ласкающим замахом стянуть кожу с головы на глаза. И пест встал на ноги, гора горою, как нездешний циклоп, продавливая ступнями набухший водою песок, оставляя на нем великаньи человечьи следы. Гундоров перехватил ловчее вилы наперевес, по-кошачьи легко отпрянул от стены, лишившись последней укрепы. Он обернулся, и государь увидел на его лице застывшую усмешку. Азартное дело — медвежьи бои, но тут вся надея лишь на себя, да на участливость Господа, на ангела своего. На охе да на ахе далеко не уедешь. И потому на обломе воцарилось гробовое молчание, чтобы резким возгласом, иль напрасным шевелением и пустой говорей не отвлечь бойца, ибо у дерзкого, что решился на рать, вся жизнь позади. Любимко даже кафтан расстегнул, взопрел разом; мокрая, лоснящаяся от дождя выя бурым окомелком из круглого ворота тельной рубахи; овчинную скуфейку в кулаке замял, торчит наружу заячьим ухом. Подумал Любимко, жалеючи князя: эх, сторублевая голова за грош пропадает. Слетит бошка, как репка. Уж больно жалок повиделся боец. Небось, побился втихую со стольниками об заклад, позабыл, торопыга, что споруйся до слез, а об заклад не бейся...

У государя пальцы сжались на поручах креслица, аж побелели казанки, лицо

сбледнело, потеряло румянец, как бы покрылось легкой изморозью. Эк, христовенький, так люто искручивают твое сердце сладкие забавы, что и Божьи заповеди долой, заради вот этого минутного счастия, и тогда все тайное, ухороненное в сердечных скрадках от стороннего любопытства, оказывается наруже и в этих шально искривленных губах, и в слюдяной поволоке, затмившей глаза. Царь каждый шаг мысленно повторял, вроде бы сам ратился: эх, кабы не государева шапка, то быть бы Алексею Михайловичу в зверовщиках, видит Бог. Медведь надвигался на Гундорова, собою застилая небо, а князь стоял вроде бы в нерешительности, словно бы, покорясь, ожидал своей участи; но то, с каким хладнокровием он встречал мохнача, не ерзая, не вскидывая голову, но по-рысьи утянув ее в плечи, и смоляная густая волосня поднялась копешкою, — выказывало в стольнике бойца умелого. Хозяин уже завис с утробным рыком, широко распахивая лапы, когда Гундоров шагнул прямо в объятия вонзил вилы в подреберье, в самый дых и, подсáдив зверя, ловко воткнул конец ратовища в песок. Лесной черт, нарвавшись на вилы, страшно так заверещал с подвизгом и хрипом, оседая тяжким туловом на рога, роняя из пасти сукровицу; он молотил лапами воздух, пытаясь достать князя, и вдруг ударил лапою по держаку, ратовище лопнуло, переломилось, как селеминка. Но князь не сробел, выхватил нож, воткнул в шерстяные мяса, а отскочить не успел, подвел под сапогом вязкий наводяневший песок. И бедный боец тут же исчез, провалился под лешачину, как в черный омут, принакрылся плотно звериным телом. Вздох прошел по облому. И хотя ловчие и псари были наготове с рогатинами, но всяк ловил взглядом государеву волю. На службе ведь так: слову — вера, хлебу — мера, деньгам — счет. Царь же, слегка помутнев головою, остеклянившись завороженными глазами, безмолвствовал, не сводя напряженного улыбчивого взора с лесного хозяина, загребающего под себя несчастного. По песку расплывалось ржавое рудяное пятно.

И-эх..! Села курица на тухлые яйца.

Тут показалась белая, как обветренная кость, уже растелешенная рука Гундорова. И чей-то голос явственно сказал сзади: твой день, Любимко, не празднуй труса. И поддатень, еще с вечера битый за самовольство, уже позабыв науку, махнул с тына вниз, в два добрых прыжка одолел песчаную кулижку, оседлал медведя, как уросливого жеребца, и, схватив одной рукою за носырю, другою обвил шею и заломил зверю башку. Мохнач, забыв от боли несчастную жертву свою, и сделал-то лишь шаг-другой, и тут хрустнули шейные позвонки, и медведь рухнул на передние коленки. Поддатень выхватил нож и словно бы вбил с замаху длинное лезо под лопатку: кровь ударила горячей струею и оросила лицо, и шею, и холщовую срачицу охотника. Тут с облома поспешили служивые, подхватили ошалелого князя, поволокли на волчий двор, позабыв Любимку, не смея приблизиться к распластанному медведю, вроде бы уснувшему на песке. Любимко одиноко стоял подле песта, ошарашась, и вытирал окровавленные липкие ладони о кафтан; ныло потянутое плечо, кожа на пальцах висела лафтаками. Он стоял, не смея поднять взгляда, дрожа от внутреннего озноба. С облома вдруг рыкнул Парфентий Табалин, жалея дурака: пади на колени, балда, проси милости, неслух. Государь молчал, вперившись взглядом в самовольника, и не мог расцепить пальцы с подлокотников. Какая-то дурнота вдруг приключилась с ним и не от потехи даже, но от сердечного напряга, от неминучей беды, коей страшился и ждал: подчеревные колики поднялись в грудину, перехватили дыхание. Царь пережидал неожиданную боль и отстраненно дивился могучести поединщика, его простодушному, почти детскому лицу с мягким, полупрозрачным каракулем невесомой бородки, с кровавым сеевом по щекам и в пóдусьях, где не наросло пока шерсти. И глазки занимали царя, крохотные, свинцовые, медвежеватые, с тонкой розовой каймою, словно бы плоть и дух лесного черта переселились невидимо в поддатня. Да и сапоги-то у служивого были куда крупнее медвежьей лапы, а икры, как тесно, распирали широченные голенища. Эку вараку, эку живую гору мясов народила земля, восхитился царь, не показывая виду. Взял да и сломил песту голову, как мокрой курице.

Боль отпустила, покой снизошел на душу, и государево лицо призамглилось румянцем. И служивые на обломе каким-то неисповедимым образом услышали перемену в царе и возвеселились, понимая, что гроза обошла стороною, загомонили, радые счастливому исходу, завопили Любимке, не таясь: "Пади, леший

тебя понеси! Пади, иль сломят, дурило!" Любимко же лишь шагнул к цареву месту и приопустил, набычась, голову, переминался, отмякая бугристыми плечами, будто под сермягою было толсто набито хлопковой бумагой.

"Подымись", — сурово велел государь. Любимко взошел на мост, чая худа. Но он не слышал за собою вины. Голоса потешников доносились издалека, как накат морской волны.

"Ты что, страха не ведаешь, ослушник?" — спросил хрипло государь и вдруг поднялся с креслица и неожиданно примерился для любопытства: даже оставаясь на приступке, он только-только доставал головою бороды поддатня, хотя и сам-то Алексей Михайлович был росту середняго. Царь уставил взор, как бы изучая поддатня, вроде бы наискивая слабину: лицо служивого, орошенное кровью, было в мелких ржавых конопинках, а от всей стати веяло на государя несокрушимым здоровьем и чистотою. Любимко смутился, но взглянул на государя пристально и смело: в крохотных озеночках, опушенных частыми черными ресничками, не было дерзости.

"Чего бояться-то, государь? Все под Богом ходим, — сказал Любимко твердо и вдруг рассиялся взглядом: — Однова помирать-то".

"Пойдешь ко мне в стремянные..?"

"Твоя воля, государь..."

* * *

После потехи угощал Алексей Михайлович в столовой полатке водкой, медом, пряниками, астраханским виноградом и маринованными вишнями. У князя Гундорова лицо было в спекшихся рваных язвах, изъеденная рука на перевязи. Он угрюмо супился с краю стола, а напившись, вдруг подскочил к спасителю своему и мстительно закричал, брызжа слюною: "Зачем лез, ты скажи, а? Кто тебя звал, а? Ты вор, вор ты, б... сын!"

Вопил князь Гундоров на служивого выскочку и не ведал еще, не слышал душою, что вскоре сойдет он по кругу вниз, как ярыжка Пожарский, а спившись, заживо сгорит в кабаке.

Через неделю после большой дворцовой охоты привели Любимку к присяге. Пред всеми стремянными и дворными конюхами, сторожами и стряпчими поклялся он на крестоцеловальной записи: "А что пожаловал государь-царь быти на своей государевой конюшне и в стременных конюхах и мне государево здоровье во всем оберегати, и зелья, и коренья лихого в их государские седла, и в узды, и в войлоки, и в рукавки, и в наузы, и в кутазы, и в возки, и в сани, и в полсть санную, и в ковер, и в попонку, и во всякой их государской конюшенной наряд, и в гриву, и в хвост у аргамака, и у коня, и у мерина, и у иноходца самому не положити и мимо себя никому положити не велети..."

Да еще сшили Любиму кафтан киндячный на русаках, а на кафтан тот пошло киндяку зеленого восемь аршин, да пятнадцать хребтов русачьих, да мех русачий в тридцать алтын, а на опушку да ожерелье положили пуху на двадцать алтын.

Да отпустили стремянного конюха в гулящую на двадцать ден. Кабы был Любим соколом, то слетал бы в неизреченные родимые места к отцу-матери и голубеюшке Олисаве. А иначе по-иному никак не поспеть.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

"Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял, яко пшеницу..."

Оле-е!.. Юродивый Христа ради не оставляет по себе следов вещных: он похож на ровный безмятежный весенний дождь, что засевает роженицу мать-зем-

лю; иссяк, изжился жертвенно, но в воздухе-то благодать, кою может испить всяк страждущий. Юрод — это странник по душам смиренных овчей и метит их тяжким своим уроком, стараясь повторить страдательный путь Спасителя, а грудь свою отворяя для любви: "Все приидите, все напитайтеся".

Священницы, служители дома Исусова, ревностные стяжатели веры, не ропщите на странника, на убогость его, не сейте шипов на его тропе, не хулите ту неподъемную ношу, что взвалил на свои рамена христовенький, ради спасения вашего внутреннего ветхого человека, чтобы муками своими приоткрыть и для вас врата небесные. Не кляните блаженного, ибо то зависть в вас ропщет, распалившаяся, как костров уголье, то бесы точат ваше гордомыслие, умасливая проказы елеем видимой доброты. Веруйте, что жизнь подвижническая — это цветник церкви, ее благоухающая роза, ее свеща негасимая, издали видимая безыскусственному верующему сердцу из самой-то гнетущей завирухи; это трепетный, такой вроде бы бессилый огонек елейницы, неподвластный ханжам и арбуям, и насыльщикам скверны, рядящимся в плащи пастырей и ревнителей церкви, но уже порченных изнутри шатанием, готовых переменить ее. Юрод не перехватывает славы церкви, ее видимых прелестей, не подтачивает ее благодати и тайное не огрубляет, не делает явным. Но вглядитесь с трепетом благоговейным, как через грады и веси, покрытый в монашеский куколь иль в прохудившиеся лохмотья, сквозь которые светится измозглое тело, а то и вовсе наг, опоясанный гремящими цепями, как змеями, он приближается к вам с протянутой ладонью не как прошак, но пророк и вещатель, и там, в заскорбелой от грязи, в струпьях и язвах горсти меж черствых крох колобов и шанег струит, переливается, как драгоценный смарагд, неиссыхаемая Христова слеза. Взгляните в очи его омрелые, в розовой бахроме от бесконечных скитаний, и в их белесой мути, присыпанной тленом и прахом, обнаружится смысл вашего короткого быванья, и вы вдруг поймете всю тщету земных усилий; и невольно склоните долу покорную главу свою, замгнете очи и с дрожью сердечной станете ждать его слов, его скрипучего гарчавого голоса, отворяющего самое тайное, сокровенное вместилище греха.

Чуете — нет, людишки черные, кащеи и смерды, казаки и бобыли, яко черви, денно и нощно, ради куска насущного страдающие на пашне и в хламе забот вседневных едва хранящие свет небесный, как через хлебное жнивье меж суслонов, овеянных житным запахом, не накалывая о иглистую стерню босых обугленных ног, из дальнего поморья попадает к вам неспешно новый юрод Феодор Мезенец, а молва о его чудотворной силе далеко поперед бежит. Не страха ради, но для спасения заленивевшей души остерегает странник беспечных, убивающих в себе Господа: "Антихрист прииде ко вратам двора, и народилось выблядков его полная поднебесная. И в нашей русской земле обретется большой черт, ему же мера высоты и глубины — ад преглубокий. Помышляю, яко во аде стоя, главою и до облак достанет. Внимайте и разумейте вси послушающии..."

Феодор уже перемог зиму, идя о край Двины, босой, в ветхой хламиде, с чугунным крестом на впалой груди. И вот он придвинулся к Устюгу Великому, где блажат испокон Прокопию юродивому, что вел житие жестокое, с каким не могли сравниться самые суровые монашеские подвиги. Всяк сызмала хранил его пророчества и передавал по памяти и роду, как редкую святыню. Однажды Прокопий, войдя в церковь, возвестил народу Божий гнев на град Устюг, де, за беззаконные дела зло погибнет этот вертеп от огня и воды. Но никто не поверил, не послушал призывов юродивого к покаянию, и Прокопий один целыми днями плакал на паперти, вымаливая у Господа прощения заблудшим овчам. И однажды страшная туча нашла на город, земля сотряслася окрест, и в ужасе побежали православные в церковь, где плакал Прокопий, и с молитвами пали ниц пред иконою Богородицы, чтобы Царица Небесная отвратила Божий гнев. И каменный град обошел Устюг стороною, но осыпался с небес в двадцати поприщах от него. И вот поныне лежит каменье, как страшный небесный посев, а лес повыбит и посечен на многих десятинах. И как тут не поверить блаженному Феодору, его зрячему сердцу, что и время-то пронизает сквозь. Ибо ступает-то он след в след Прокопию чудотворящему, этой святой Иконе устюжской, словно бы и не истирались они на сырой земле-матери...

И где бы ни останавливался Феодор — корочку хлеба позобать, иль для ночного приюту, иль для молитвенного поклону у придорожной часовеньки, иль

у поклонного креста для умиленного плача, — там и принимался благовествовать, вроде бы безотзывчиво вперясь в небесную ли пустоту, иль на лайды, полные весеннего прыска, иль в косогор речной, уже полыхающий желто от иван-мачехи. И тут народ стекался как бы ниоткуда: из хиж, и банек, и бугров рыбацких, и купецких лавок, и от ремественных горнов...

"Церковь бо не стены церковные, но законы церковные, — стенал юрод. — Егда бегаеши в церкву, не к месту бегаеши, но к совету: церковь бо не стены, а покров, вера и житие. И как не восплакать, увы, нам, коли некуда притечь к совету: кровля та поиструхла, а стулци произгрызены червями, и в алтаре, и в горнем месте, и под престолом свили себе гнездо змеи сатанаиловы. Какого же совету сыщешь тамо, глядючи в те еретические иконы, натяпанные мерзким богомазом, ежли в каждом окне улыскаются бесовские рожи. Братцы мои христовенькие, убоитеся же суда Господеви, что грядет с часу на час... Иоанн Златоуст сказывал, де, приидет антихрист в северной стране, зовомой Скифополь, и стекутся сюда еретики со всех сторон, и выше земли сокровенной под самое небушко вздымут они чернца, и многие души тогда прельстит он и погубит. Скифополь! не наша ли то руськая земля? И чернец-антихрист не патриарх ли московский Никон, пришедший не вем откуда и стан себе воздвигающий, зовомый новым Иерусалимом? И заповедаю вам пугатися тех церквей, пуще скимена рыкающего, а иконы прельстительные кидайте в огнь и пепел срывайте в ямы на сажень вглубь, чтобы не проросли плевелы, иначе от скверны тех образов в гортань вашу вползут червие и поначалу поедят сердце, а после погрызут и самого Христа..."

Ох-ти мне! всплеснет ладонцами изжившая старушишка, и червие, изгрызающее нутро ее, вдруг увидит въяве, и поспешит сердешная в подворье свое, где на притолоке давно излажен и домок, и крест вековечный из листвяги с изузоренной титлою "ИХ СБ", и станет стенать она, и просить Спасителя, чтоб призвал к себе в свои благоухающие сады под ангельское крыло, пока не явился в мир окрещивать наново неведомый черт, головою возросший под облака. И уложится молитвенница наша в домовинку, и ручонки тряпошные скрестит, и в холодеющие персты свечу воткнет, не чуя боли от горячего воска, и, смежив очи, сама себе воспоет псалмы, слыша, как ласковой рукою прибирает ее Господь. Но отлежавши и день, и другой, и третий, не выдержит страстотерпица наша монашеского подвига и, оставив гробок свой, побежит к соседушке-печищанке, чтобы поделиться нежданной скорбью, узнанной от нездешнего юродивого, вещающего о погибели Руси. А та, напуганная вестью, прикажет хозяину своему живо запрягать лошаденку и потащится в недальний выселок к свастье на гоститву, и за привальной трапезой порасскажет о новом чуде. И так, из уха в ухо, из губ в губы, все Поморие узнает горестную весть о кончине сего века: и не ямщицкие тройки ее разнесут от яма к яму, не почтовый голубь, не царский бирючь и не воеводский пристав, но сам русийский воздух вроде бы наполнится тем слухом...

И пугаясь пуще всего скверны еретической и нового вертепа, и посылки бесовской по ветру, когда лишь взгляд на кощунную церкву, отрекшуюся от старинного креста, невольно испротачивает и душу, устрашенный поселянин примется спасать себя сам, в своем лишь сердце ухичивая и обихаживая собственного Бога. И вот одни на воду веруют: соберутся в избе, поставят чан с водою и ждут, доколе вода не замутится. Другие девку нагую в подполе запирают, да потом и кланяются ей, как Богородице. Третьи говорят: "не согрешивший спасенья не имат" — и стараются грешить, чтобы после отмаливать. Есть и такие, что голодом себя замаривают. А то и молятся дыре в стене, вынув из нее пятник, иль старой березе в лесу, иль пню смолевому, иль Христу, сошедшему с небес и воплощенному в однодеревенце, иль Духу небесному, иль кресту пятиконечному разбойничьему. Эх... стоит лишь однажды скользнуть вниз с пути истинной веры, подвергнуть осмеянию лишь одну-единственную букву "азъ" — и того пути вниз с ледяной горы в самую пасть дьявола ничем не остановить. И вот уже новые псалтири и часовники, разосланные по церквям Никоном, преданы анафеме, и всяк по своему уму из ветхих писаний составляет свой "цветничок" покаянных молитв и, где-нибудь заблудившись в таежной кулижке и вырыв там нору, тянет спасительный канон. И разбрелись по Сосьве, и Лупье, и Колве, и Суне, по Керженцу и по Выгу смятенные люди душу свою сохранять от погибели. Говорят, де, нынче и в пещерицах обитают пустынники, верша подвиг: в одной из таких

печур денно и нощно свеща горит, а чьей рукой возжигается, то лишь Богу ведомо. В этих скрытнях люди без одежды ходят, питаются травами и промеж собой не общаются...

Дал гранит веры паутинные трещины, и туда проточилась влага сомнений и гибельный ветер гордыни, когда всяк захотел своим умом прожить и по-своему прочесть Священное Писание. Давно ли Никон воссел на патриаршью стулку, а уж заклубился по Руси вихорь, и в тот клуб дымящийся, как листьев по осени, много закрутило православных душ, коим, пусть и безгреховным, уже рай заказан; и в какую бы пустыньку ни забились они, а уж всё — отвержены от единого тела Христова. Спеши, блаженный Феодор Мезенец, ускорь по земле шаг, чтоб возвестить: "Един Бог, едина вера, едино крещение, един путь спасения..."

Страданиями своими прозрел блаженный: стали вовсе неважными христианам почины и мечтания Никона, ибо их превозмог страх грядущего суда за измену досюльным заповедям; потому и уши оказались закрыты и для добрых слов, исходящих от святителя.

Вся Русь, казалось, оценивала, а после медленно начала откатываться от престольной, погружаться в себя и занимать круговую оборону.

...В Шуйской селитбе дали Феодору компас-маточку, проводника, и за седьмицу терпеливого ходу достиг он Кирилловой пустыньки на Суне-реке.

* * *

Четыре лета не виделись, а как вечность минула.

"Правда ли, нет, — домогался Феодор у послушника, — что новый учитель ваш безумен и предался дьяволу? Ходят слухи, де, сушеным детским сердчишком причащает вас и тем порошком к сатане привадил?" — "Враки, отче! От злых недругов косоплетки. Мы нашего учителя не похулим. Твердого, святого жития". — "А куда прежний-то девался?" — "Сошел от нас. Преставился. Сам травичкой одной питался и нам наказывал. А травки поемши, не шибко поклонишься", — немногословно ответствовал парнишонко и даже как бы напугался искренности своей, не сболтнул ли лишнего, и при всяком новом вопросе тороп- ливо набавлял шагу. И понял Феодор: железной рукою ведет новый настоятель обитель.

Из редких весточек на Мезень от отца духовного ведал Феодор, что старец Александр, зело наскитавшись по Сибирям, сыскал пустыньку по Суне-реке и привлек к себе истинным богомолением изрядно учеников, но с монахом Кириллом расскочилися.

Два лета жили душа в душу, а после начались нестроения в скиту, ибо от глухой ухоронки завелись у нового келейника сердечные черви и принялись его люто грызть. И сказал инок Александр основателю пустыньки: да, ты, старик, здесь уже семьдесят годов прозябаешь, а какой от тебя святой вере прибыток? Этакое большое дело затеяли, а чихнуть боимся. Еще где у черта становой пристав свой запах даст, а мы уж, как зайцы, по кустам попрятались, дрожим, чихнуть боимся, как бы власть за хобот не прищучила. От антихриста хоронимся, зажмуря глаза, ускочиваем в лес, так как же истинную веру боронить думаем? А мы вот так себя поведем отныне, чтоб шиш антихристов и носа сюда боялся показать, да обходил нас стороною верст эдак за сто и другим своим прислужникам сюда путь заказывал. Вот я на Пилве-реке был: крепко и стойно живут там старцы, твердой рукой правят, стороной всей завладели, а ты лишь смущение вокруг себя сеешь.

Только заплакал, застонал старец. Понял он, что люто обманулся в пришлеце, приняв волка за смиренную овчю. Четыре завета должен соблюдать монах, входя в монастырь: радети о том, чтобы исполнить обещание, творити то, что повелевают, есть то, что дают, не быть печальному, егда наказывают. И все четыре урока не пристали к иноческому сердцу. И тогда сказал старец Кирилл: "Вижу, что стар я стал, а больше того неугоден вам. Знаю я, чего тебе хочется, отец Александр. К бабам тебе хочется, похоть свою утолить из сосуда дьявольского. А коли так, полно вам меня настоятелем держать, выбирайте себе другого".

На тех же днях не вынес измены, помер старец. И как в воду глядел. Заселился подле пустыньки на новинах Мокей Зюзин с бабами, а там и иные потянулись семьями к реке, чтобы вместе держаться за старую веру...

* * *

Невнятны, призрачны страннические ходы, а приметы их ведомы и видимы лишь очам сердечным. Много тайных и явных путиков и троп на Руси у богомольников, и всякая начинается и кончается у часовни. Как бы круг золотой ради Спасителя замыкает поклонник, а ключ его в сердце праведника.

...Душа-то всегда подскажет, коли слушать ее.

И вдруг запелось; ."На-у-чи-и меня, мать-пустыня, как Божью волю творити". Феодор даже подивился своему сладкому тонявому голосишке, такому чистому и прозрачному сейчас, как лазоревая купель меж вольно гулящих по небосводу древесных вершин. Где-то невдали в лад юродивому проблеял лесной барашек и свалился в болотистую низинку. Сами собой побежали ноги. Спутник куда-то пропал, да и полноте, был ли вовсе? Сиренево цветущие мхи с бархатно-коричневыми куполами вешних грибов, будто облитых медом, ложились под босую ступню, как шемаханский ковер. У лесных бортей слитно гудели пчелы, брали первый взяток. Пахло нардом, кипарисом, елеем, словно бы невидимый дьякон окуривал торжественный путь монаха; будто приблизились не к северной реке, только-то освободившейся ото льда, а к великому граду Иерусалиму, что вот-вот должен показаться пред очию, как Китеж из озерных вод, открыться ярой негасимой свещою из зеленого, таинственно-мерцающего полога. Почти рядом пролилась по камешку речная струя, и Феодор с ликованием принял конец пути. Земля как бы раздалася, расступилася, и меж двух рыжих холмушек, увенчанных жарким сосенником, на дне распадка показался ухоронок. Сверху скит повиделся большими темными валунами, и серый крестик крохотной луковички на часовне совсем потерялся на островерхой крыше. Что-то тревожно кольнуло Феодора, но псалом в душе был столь ликующ, что мимолетная тревога тут же и потухла. Феодор пал на колени, поцеловал грудь матери-роженицы. И молча воспел Исусову молитву. Потом торопливо, боясь опоздать к вечернице, спустился в распадок, толкнулся в незаметную дверцу.

Внизу скит оказался крепостцою: за высокими палями из вбитого заостренного чеснока, плотно уставленного стеною, нельзя было не только разглядеть келий, но и услышать, что происходит во дворе. За такой стеною хорошо творить грех. Феодор прислушался: было немо за городьбою и как-то устрашливо духу. Юродивый перекрестился и снова прогнал прочь неведомый испуг. Не обманулся ли часом? — подумал. — Не бес ли вадит в теснинах своих, чтобы уязвить меня зело? Да нет-нет... тот же проводник уважливо встретил во дворе, поклонившись земно, провел через сени в избу и снова пропал. Феодор принюхался у порога и почуял запах скверны. Он встряхнулся, как сиротский, случайно оприюченный пес. Взгремели цепи.

— Иди сюда, сын мой верный, — позвали из-за полога, разделяющего избу. Феодор возликовал, отпахнул резко тафтяную завесу и поначалу растерялся. По обеим стенам во всю их длину на тяблах и полицах стояли золотые иконостасы с десятками изумрудных елейниц и толстых, с руку, свеч: свет острыми копьями рассекал жило, и там, где скрещивались лучи, в воздухе, слепя инока, висели иерусалимские звезды.

— Господи помилуй! — воскликнул Феодор со слезою во взоре. Ему почудилось, что угодил он на горнее седалище, и это от самого Христа, от его десниц, очей и плюсн источается такой небесный врачующий свет, коего не сыскать во всей поднебесной.

— Ступай ко мне, сынок! — снова, уже требовательней, нетерпеливей воззвали из глубины избы. Инок шагнул сквозь звезды и, казалось, холщовый кабат его возгорелся, и жар тот напитал каждую телесную жилку.

Клеть была без окон. В переднем углу моленной висел в цепях распятый человек, в растянутых руках он держал по свече. Внизу на примосте возле ног старца сидел, пригорбившись, юный монашек и читал минеи. Черная ряска была

пришита к скуфейке, и юроду увиделся в полумраке лишь мягкий полукруглый очерк скулы. Не особенно любопытствуя, зная перед собою лишь Учителя, Феодор торопливо упал на колени и облобзал босые ступни старца, какие-то гладкие, прохладные, вроде бы вырезанные из грушевого дерева, пахнущие елеем, и воском, и сандалом. Отрок по-прежнему мерно, текуче читал житие святого пророка Амоса. Ангельский голос..! Воистину в раю перед Сладчайшим, — умиляясь, подумал Феодор и споднизу, мельком, совсем случайно взглянул кроткому ангелу в лицо и вздрогнул. То была отроковица, совсем юная монашена, сладкая ягода виноградная, бледная, как полотно, с набухшими, слегка косящими глазами и червлеными, безвольными набрякшими губами. И снова пахнуло на юродивого гибельным соблазном, словно в вертеп к блудодеицам угодил ненароком. Ну да полно-полно крёхтать, на пустое блазнит, — остепенил себя Феодор, но с колен подниматься медлил; он пугался взглянуть на Учителя, упороно прятал глаза, боялся встретить чужое обличье. Да и долго ли опознаться в сумерках? Может, и не девка то была, а бесова картинка. Но Учитель отверг сомнения. "Ступай, ступай, дочь моя, — велел с кротостью в голосе. — Да вели-ка стряпухе собрать на стол".

— Аркан не таракан, хош и зубов нет, а шею ест, — молвил старец Александр и довольно ловко высвободился из цепей, сунул ноги в валяные калишки и, не глядя на Феодора, пошел прочь. Старец не переменялся с годами, лишь чуток подзасох, да широкие прямые плечи приобвяли: под белой шелковой котыгой, подпоясанной пестрым вязаным кушаком, шевелились упрямые лопатки. — Другой раз и сутки так виснешь, иное и седьмицу, — кинул за спину, вроде бы ненароком похваляясь подвигом. — А ты вон каков! Ты было даве заснился мне, я позвал тебя, и ты пришел! — Учитель мягко, вкрадчиво засмеялся. — Ты сын мне. Я Бог, а ты сын, — добавил будто шутейно...

— Спутал ты мне весь ум, отче, — признался Феодор. В теплых сенях подле печи уже стояла шайка с водою и низкая скамеечка. Настоятель опустился на сидюльку, осторожно принял в ладони чугунную синюшную ступню страдальца, провел теплым вехотьком: блаженство растеклось в груди, и странник едва не застонал от счастия. Но тут же насуровился, с пристрастию уставился в макушку старца, уже сивую, с тонзуркою на темени, тщательно выскобленной: кожа на маковице была желтой, туго натянутой, и от этой репки истекало тепло. Старец вдруг поцеловал плюсну юродивого и спросил шепотом:

— Сердешный мой. И туго, знать, было?

Старец Александр, словно подпадая под дух юродивого, прислонился лбом к чугунному кресту на груди Феодора, остудил внезапный жар, волною приступившей в голову. Юродивый молчал, покоряясь ласковым рукам старца, так бережно и ловко обихаживали они ноги страстотерпца.

— Иль забыл? Это я тебя позвал. Ты малой тогда был. Отец чуть не прибил меня. Запамятовал? — Старец притравливал, испытывал гостя. Юродивый снисходительно, со смутной полуулыбкой, чуя свою силу и власть, приопустил взор. Подумалось мельком: "Эх, батько-батько. И тебя укатали крутые горки". Старец не то чтобы вылинял, но как-то потускнел, едва ощутимый иней пал и на смородиновые темные глаза страдника, и на вислые усы, на струистые тощие пряди сквозной бороды: весь облик припорошило неощутимой смертной пылью.

— Поначалу-то да... — встрепенулся Феодор. — Поначалу-то ноги — как коченья мерзлые. По калыхам-то бум-бум. Как пест в ступе. В избу-то войду, как начнет ноги рвать, аж сердце займется. Пожмусь, пореву, ажно в крик. А после и отойдет боль. А потом и легче, и легче, и перестало болеть. Изболелось, Христа ради. А вы тут как? — Феодор строго посмотрел духовному отцу в глаза, и тот воровато, смутясь, вдруг приотвел взгляд.

— А вот, сам видишь, — развел руками. — Боронимся от диавола...

Потом сидели за столом: уже все было уряжено да обряжено. Стряпуха средних лет подавала кушать, но трапезою настоятель лишь подтверждал монашеский подвиг. Даже заради странствующего гостя были поданы лишь груздочки тяпаные с постным маслицем, да горошек зобанец, да редька кусками, да кисель брусничный. Нет, тут не потрафляли плоти. Настоятель же отпил кисельку, со тщанием оправил рушником усы, но этой мелочью внезапно и выдал любование собою. Они вели разговор обрывисто, недомолвками, наверное, боялись заговорить о главном, хотя оба понимали, что занимает и гнетет их.

— Ведь чужую славу на себя переимываешь, — сказал юродивый, запивая трапезу квасом.

— Да что ты мечешься, как шелудивый от блох... Веком на себя чужого не примеривал, — обиделся старец. — Знай, и Христос был человек.

— И не боишься, что черти в бочку с гвоздьем утолкают?

— Я чертей не боюсь, сынок. Я Господа своего боюся, Творца и Создателя, Владыки. А дьявол — эка диковина, — натянуто засмеялся старец, но в темных глазах зажглися волчьи огоньки. Не по нутру было, что столь назойливо допирал пришелец. — Чего дьявола бояться? Бояться надобно Бога. И так мы с ним до пристанища ладно дойдем. А ты-то, юрод, чего ко мне прибрел? Чего такого ищешь? Какого своего Бога потерял? И как станешь искать то, чего не знаешь вовсе? Ты к батьке своему прильни душою, а он тебя не выдаст.

— Душа моя скучает о Господе. Как я могу не искать Его? — просто ответил Феодор, и в бледно-голубых глазах его зажегся свет. И старец услышал в голосе особую силу и возревновал к гостю.

...Эх, старец-старец... Когда-то ты возмечтал Русью править, самого помазанника Божьего возжелал заместити на престоле, кащея сын; и так все ладно приклякивалось в твоей буйной голове за басурманской спиною, когда ночами выстраивал рати под свои знамена и спроваживал их к престольной. Во снах-то и всякая несуразица клеится, да ладом течет, как наяву, а в жизни и друзьяки верные, крестовые братья в разброде толкутся, измышляя измену... Гляди, даже пустынью, малой обителью управить — и то за великий труд. Вот явился с бела света взбалмошник, бездельник и плут, что самолично вознес себя в юроды, в Христовы вестники, а для тебя уже и он за язву, и ты не ведаешь, как умилостивить его.

— Ежли душа истинно зает Господа, закоим искать его? С того и старая вера наперекосяк. Ну ладно, ладно...

Старец порывисто принакрыл узловатыми пальцами, унизанными перстнями, сухонькую изветренную лапку инока, как дворового воробья, словно бы слышал биение его всполошившегося сердца. На тыльной стороне ладони увидел юродивый белесый следок с паутинчатыми кореньями, ход наружу от былой сквозной проточины. Не от гвоздя ли язва? От руки старца шел плотный, успокаивающий жар. Феодор призакрыл глаза, и его обволокло умиротворение. Спать, спать, спать, — нашептывал кто-то незримый. И сквозь дрему, сквозь завесу сухого жара протыкивался издалека баюкающий голос Учителя:

— Вот знай же, милый, какие в подозрении дела, чтобы не угодить случаем лбом о спичку: гишпанская простота, италианское учтивство, польский чин, прусские шутки, датское государствование, англинская вольность, французский стыд, немецкое покорство, шкоцкое отдыхание, московское слово, турское супружество, жидовское обещание, арианская вера, цыганская и волошская правда... Скажи, тебе дочь моя поглянулась, сынок? — вдруг спросил с вызовом старец. Феодор непонимающе открыл глаза: Учитель, опершись локтями на стол, с охальством подмигнул чернцу. — Ну... Хиония.

— Искушаешь, отче..?

— Да что ты... Слышу, как спросить хочешь. Отчего, де, девки вокруг. А я вот так: легко бороться с врагом зарезанным, а ты поборись с врагом живым. Иль трепещешь?

— Опять искушаешь! Адам не сам впал в грехопадение, а через Еву. Оно и выходит, что баба всему на земле злу причина и корень. А терниев корень не вем где прорастет, ежли дашь ему волю... Прости, отец, прости! Жесток ты в вере, воистину велик. А я червие малое, и я убоялся. — Феодор заплакал, всхлипнул, по землистой щеке, оставляя белесый ручеек, скатилась слеза. В неряшливой бороде узкий рот западал, как в яму, и слова истекали глухо, будто из чрева. — Прости. Усомнился и на худое погрешил.

— Чадо ты мое, чадо малое. — Старец неожиданно погладил юродивого по голове. — Да милуют тебя всяческие кручины...

* * *

Изба сотрясалась, ходила ходуном. За окном полосовали, рвали сырую темь молоньи, бычий пузырь вспыхивал голубоватым искрящимся светом и снова

затворялся мраком. Робко, но ровно мерцала елейница под образом, завешенным пестрым покровцем. Юродивый не раздвинул завесу, но к залубеневшему пестерю приставил иконку Пантелеймона-целителя и долго, с истовостью молился, порою кидая испуганный взгляд в окно, где расходилась непогода... Эко разыгрались демоны, осадили православную крепостицу, норовят взять приступом. Феодор порою заглублялся в молитву, утекал в нее, и тогда за деревянной досточкой в ладонь величиною, через лик святого, как бы сквозь берестяный кошуль, проступал вдруг облик Христа, улыбчивый, ясный, без грозы в очах, но с ободрительной мягкостью во взоре: де, обопрись на Меня, сын Мой, Я подле, Я пасу тебя.

Под кожаными оплечьями осклизло, крест при земных поклонах хлюпал о грудь, выжимал из нее стон. Феодор уморился, и вместе с тягостью сошла на сердце благодать. Феодор растянулся на полу, дав себе знак шибко не залеживаться, встать на ночную молитву. И сразу пал в сон, легкий, нетревожный, когда все тело вроде бы и растеклось блаженно на досках, но душа-то бессонна, отворена для Милостивца, и на широких, подбоистых крылах готова залететь в неведомые пределы. И не слухом даже, но каким-то особым чувством, что постоянно сторожило за юродивым в его беспамятстве, уловил юродивый странный, протягливый вскрик, полный любострастной похоти. Феодор вздрогнул от ужаса, открыл глаза, не ведая, во сне ли померещилось иль кажется наяву. Тут прощально вспыхнула лампадка и умерла, словно задули ее. И вдруг Феодор ощутил на щеке ровное дыхание, безмятежное, влажное, почти детское: рядом зашевелился неведомый и торкнулся в спину горячей упругой грудью. "Свят, свят, свят, Господи помилуй... отжени от мене нечистый окаянный помысл. О, горе, горе мне!" — взмолился Феодор; всю утробу его пронизало жаром, и молитвенный жалобный воп не сразу одолел похотный огонь, растекшийся по чреслам, так что всякий уд застонал и вздернулся.

— Кто здесь? Эй? — спросил в темень. — Олисава, ты? — позвал посестрию и не удивился, ибо Господь все может. Он и из камня сотворит человека.

— Это я, Хиония, — продышало в затылок. Мягкая влажная ладонь вкрадчиво проскользнула по плечу, зашарилась на лице, запуталась в бороде юродивого, указательный палец, как змеиное жало, приник к губам монаха и замер. От пальца пахло скверною, любострастием. Напрягшаяся грудь вздрагивала, острыми сосками прободая юродивого сквозь хламиду, жаром телесным припекала столь глубоко, будто корчился Феодор на печи.

— Изыди, грешница. Тьфу на тебя, чертово семя, — окстился Феодор. И хотел было локтем двинуть любодеицу, припечатать десницею, ошавить развратницу, чтобы вернулась в разум. И тут как бы небо разверзлось, и в сияющей голубизне явственно высеклись багряные письмена: "Легко бороться с врагом зарезанным, а ты поборись с живым"... Зрит Спаситель, все видит. Испытует, каков я истинный и глубоко ли грех во мне. И неожиданно успокоился Феодор, зальдился, и недавнее томление отпустило разом.

И ветер на воле, предвестник близкой грозы, тут же стих, и в тишине ночи с мерным шуршанием посеял дождь, первые капли сыто скатились из потоки в кадцу, но вдруг ливень с плотным шумом ударил в стену и давай полоскать избу с прерывистым треском и хлопаньем, будто на воле мовницы выбивали холсты. И снова легко так стало на сердце, вольно, и гнетея отступила за порог. Феодор высвободил из бороды ладонь монашены, положил на верижный чугунный крест: тонкие персты затрепетали, словно бы их прижгли каленым шкворнем. То бесы, почуяв страшную погибель свою, устремились прочь за подоконье. Но юродивый пуще сжал пальцы извратницы, расплющил о крест, и тут блудодеица прянула телом в сторону, забилась головою о пол. И, наверное, померещилось Феодору, что за стеною засмеялись, кто-то вкрадчиво прокрался к двери, и сквозь стену проточилось через невидимый зрак гибкое пятнышко света.

Феодор сел, насторожился. Да нет, причудилось, знать: по-прежнему с хлюпаньем и шумом изливались небесные хляби, земля скрылась под водою, изба стронулась и поплыла к неведомым вратам, как Ноев ковчег. И возрадовался юрод, что пред концом света победил в себе любострастного змия, вырвал прочь похотливое жало. Ладонью он нашарил впотемни голову несчастной, погладил ее теплые потрескивающие волосы, рассыпающие голубые искры; Феодор приласкал несчастную, как отец прижаливает заблудшую дочь свою. Монашена пойма-

ла твердую ладонь инока и поцеловала, обливая искренними слезами. Горький камень рассыпался в гортани, и Феодор тоже желанно заплакал, сглатывая сладкую влагу умиления... О, Боже, я, червь ничтожный, земно кланяюсь Тебе, что не запечатал Ты во мне родник слез.

— Ой срам-то, какой срам, — нарушила молчание монашёна.

— Немощная чадь, сосуд греха, кокушица горькая. И келейная ограда не боронит от бесов, ежли в своем сердце оставила лазы. Иль по чужой воле приняла ты, юница, ангельский чин?

— Ой срам-от, какой срам, — повторила черница и рванула ворот исподницы.

— Эк тебя мучит, да корежит. Иль душу готова убить? Постегать бы тебя надо, — жалостно, не повышая голоса, приговарил Феодор, не сымая баюкающей руки с головы монашены. — Ступай, дево христорадное, и проси Господа... Грехов буря настигла и чуть не обвернула корабль чистоты. Покрыло нас помрачение, но будь крепка. Возсияет Пречистая, избавит нас от потопления. Ступай-ступай, да прикинь на себя урок послушания, отбей три тыщи метаний, и струпья соблазна осыплются с души, аки прах. А я за тебя с рыданиями молиться стану, ибо никто по всей земле не согрешил от века так, как я, окаянный и блудный.

Феодор растянулся ничком на полу и захлёбнулся слезами, и в этом безутешном плаче вдруг забылся. Он очнулся, наверное, оттого, что перестал дождь. Последние капли со чмоканьем падали в переполненную кадцу. Каждый звук так ясно и зримо проникал с воли, словно бы растворились стены избы. Юродивый перекатился на спину, звеня веригами. В келеице никого не было, и ничто не напоминало о ночном наваждении.

Феодор выбрел в сени, стараясь ступать бесшумно. Пахло рыбной ествою. Будильщик-монах дремал у выхода. Над дверью мерцала елейница. Феодор выступил на крыльцо. Тяжелое небо прогнулось от грузной фиолетовой тучи, густая водяная пелена струилась в воздухе. Ближние березняки за городьбою в одну ночь принакрылись зеленым облаком. Земля расступилась, паря́, и из очнувшегося чрева погнала травяную ласковую щеть, такую нежную для остамевших за зиму ног. Меж пальцев пырскала водица, и вешняя грязь была чудодейным врачующим бальзамом. Провожаемый тайным досмотром, юродивый покинул особножитный скиток, так думая, что навсегда, и, оскальзываясь на глинистой тропе, спустился в ложбину на своерток. За холмушкой, покрытой сосенником, как и даве, послышался перелив быстрой воды на камешнике и слитный гуд речного набухшего потока. Тропа вильнула за гривку, и взору неожиданно открылась утренняя река, похожая на дорогу в небеса. Трава плыла по ней клочами и спутанным волосьем, да всякий сор с бережин, и в коричневой толще воды, свивающейся в кольца, не просматривалось ее глубей.

Посреди реки увидел Феодор невеликий островок, густо усеянный обмелившимся серо-зеленым льдом. На самом юру, как дозорный на вахте, кособочилась одинокая келейка. Вдоль берега по отмелям в зипуне и высоких броднях сновал взад-вперед монах, волочил из протоки на сухое верши, полные хламу.

И вдруг островок этот почудился Феодору землею обетованной.

И захотелось остаться там.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Меч суемудрия, волхования и смуты будет пострашнее меча бранного, ибо убивает не только семя и грядущие всходы его, но и саму веру в Сына, высевая по пажитям плевелы ненависти и розни.

А жизнь, лишенная Божьей крепости и цельности, похожа на расплетшийся берестяный пестерь, куда можно много всего сложить, но ничего не унесешь.

Подскажи, Иоанн Златоустый, своим прозорливым умом умиряющий огнь и воду: ежели весь земной суд Сын предоставил священницам, если они возведены на такую степень власти, как будто уже переселены на небо, свободные от житейских страстей, то откуль, затмевая все евангельское и несуетное, прорастает вдруг в них сквозь временные телесные одежды непобиваемый ветхий человек, самому сатане прислужник? Что за верные и благочестивые родители окормляют паству? они, вроде бы желая блага сыну своему, тщатся, однако, разорить его вконец и

надевают через плечо нищенскую суму. Какая цена пастырям тем? Какой дороговью, каким златом-серебром можно откупиться за то червие, что испускают пришлецы изтиха из затомившейся души на православные церкви, и веси, и стогна, и торжища?

Тех людей на Руси исстари называли злоимцами и навадниками.

И верно ли, Иоанне, что священники определяют на земле, то Бог утверждает на небе? И тогда все содеянное из зломыслия тоже запишется в Небесный свиток?

Оле..! и земному слуге своему не всякое дело укладывает Господь на добрую скалку весов.

И однако ж, какое высокоумие, спесь и гордоусие надобно тешить в себе, чтобы, кормясь из чужой горсти, сыскивая на стороне приюту, приклону и защиты, вдруг однажды позабыть и чаемые милости, и честь, и вползти в гостеприимный двор, яко лисовин в курятник, и ну перстить Русь, прикрывая злоумышление Священным Писанием. Прошак, давно подпавший под агарянина, позабыв родову свою и прежние воли, не из потухлости ли своей и коварства ты покусился с такою легкостью на нашу святую старину. Ибо с тоской возревновав о своей туге, и кручине, и немощи, воспалив в груди жар презрения к чужому благочестию, ты и благодетеля своего, простеца-человека, готов довести до разрухи зависти ради, только чтобы уравнять с собою в горестях и нищете.

...Двадцать четвертого февраля 1656 года (несчастный для Руси день) пришлые чуженины прилюдно в Успенском соборе прокляли в Москве всех ее насельщиков, крестящихся по-заповеданному двумя персты, а значит, и всех угодников Руси, ее святых, защитников, и праведников, и святителей, и мучеников, и устроителей, и мнихов-пустынножителей, и купечество, и князей благоверных, и ремественников, и смердов, в свой час когда-то сошедших в землю. Как монастырский чернец учит мальца начаткам грамоты, так и Макарий Антиохийский показывал именитым богомольникам, самой державе престола, как надобно слагать персты в поганую щепоть, и сербский патриарх Гавриил, уже по сговору с царем, охотно потрафлял наустителю.

О, Русь православная, сладко рекомая Третий Рим, и неуж ты не почуяла глубинной долготерпеливой смиренной душою своей, как пришлецы-милостынщики ловко накинули ярмо на твою шею и повлекли в пропасть, словно негодную падаль: они с насмешкою покусились, несмотря на ропот прихожан, на самое заповеданное, с чем рождается и сходит в ямку всякий русский, искренно верующий в Господа нашего. Они покусились на знамение, на первую буквицу истинной веры. Угодники православные, Иона митрополит московский, Филипп-мученик, невинно убиенный святитель Петр, и неуж не сотряслися ваши нетленные мощи в изукрашенных скудельницах, когда над вашими склепами творил анафему Макарий Антиохийский. Это ведь перетряхнули в домовинке ваши медовые косточки и надсмеялись над ними, де, святости в них нисколько, раз не обрушились стены церковные на головы хульников, а значит, де, и вера ваша русийская не истинна. Но от кощун взнялась невидимая волна горечи, ужаса и тоски по грядущим несчастьям и затопила Успенский собор, прободила стены и валом накатилась на стогны Москвы, потопляя смятением всякий дворишко, а после вселенской рекою давай растекаться по селитбам, погостам и посадам великого царства, так угодного и милого Господу. Но знайте, навадники, изтиха занявшие чужой амвон: скоро, уже на запятках, грядет день, когда ради истинного креста бесстрашно войдет русич в костер, не убоявся великих мучений. И не то странно и кощунно, что поднялся мужик на защиту своей веры, презрев смерть и воспротивившись царю, но было бы вовсе худо и смертно для его души, если бы он, безропотно откинув за ненадобностью родителевы заветы, вдруг безо всяких колебаний приткнулся бы к новинам, принял чужеземное лишь потому, что какие-то пришлецы, числясь в ревнителях истинной греческой веры, указали новую, только им открывшуюся истину...

Царь выступил из сени и, взойдя на сулею, поклонился Макарию, поблагодарил за отеческую науку, а после оборотился к богомольникам и окстился щепотью, сильно бия себя в лоб и плечи, да еще и с вызовом поцеловал свои персты с тем тихим умилением и слезливостью во взоре, с каким обычно припадал к образу Спасителя. И не случилось грозы, даже малым сполохом не означил себя Господь, не покарал еретиков, не раскроил на лоскуты своим невидимым огнен-

ным мечом, только вроде бы затхлостью, мертвечиной опахнуло в соборе, словно тухлой привады припасли в алтаре для праздничной гоститвы Сатанаилу. Но никто не осмелился покинуть службу, иные затаили рыдание, замиряя в груди сердечный клекот, иные же глухо возроптали, стесненно вздымая голос и прячась в затенье притвора, куда худо доставал свет большого полиелея; ну а те, кто плотно окружал государеву сень в золотных шубах, подбитых соболями, и лисьих горлатных шапках, все царевы слуги-потаковники и челядинники Шереметевы и Голицыны, Трубецкие и Милославские, Морозовы и Сицкие, Головины и Плещеевы, Бутурлины и Годуновы, Стрешневы и Ртищевы, те, кто повязаны дружбой, службой иль кумовством, — они как-то воровато, поначалу несмело примерили к себе поганую щепоть, осквернились, закрыв глаза и боясь Божьего гнева, и одним этим знамением не только сплотились меж собою, пусть и временно, как заговорщики, но и еще более прильнули к государю, опередив других, сгрудились, скучковались вокруг государевой сени живой стеною. И всякий из них не испытал смятения, иль сердечной туги, не икнуло у него в черевах, не отдалось тягостью в душе, ведь сам помазанник Божий расчистил им путь измены: и ближние бояре с легкостью поменяли покой вечный на блага земные, смердящие. Ведомо же: каков поп, таков и приход; батько в лоб щелкает, а ты улыскайся, де, добро, нежно и сладко, как груша в патоке. Эх-ма... Бывало, царь Иван говаривал прелестникам: "Нам греки не Евангелие. Мы веруем в Христа, а не в греков". И был прозван за то Грозным. А ты, Алексеюшко, сталкиваешь Русь Святую во гноище и прю, а ишь вот, слуги твои верные за спиною кличут тебя Тишайшим, когда ты поддаешь им хорошего пинка пониже спины, чтобы не возгоржались. Это ты, Алексеюшко, прозвал Макария медоточивого своим батькою, от тебя пошла молва: де, я, государь расейский, заради греков отдам не только богатства, но и кровь свою. А не ты ли, милосердный, увещевал своих подпятников во дни невзгод, де, покаянию, молитве, милостыни, страннолюбию не может никакой неприятель супротив стати: ни агарян, ни сам адский князь, все окрест бегают и трепещут. И своею же десницею переменил наиглавнейшую молитву Ефрема Сирина, кою сызмала впитывал в душу всяк русский отрок и ею руководился до скончания жизни. Это как бы из-под родимого дома ты вынул стулцы вековечные и подпер житье свое изопрелыми гнилушками, выдавая их за лиственничные колоды, запамятовав в сей миг: что переменено волею одного, то истлеет еще при жизни его. Веруй же: без молитвы нет милости, без милостыни нет страннолюбия. Вот и исполнилось Христово пророчество: "Многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят".

...И ты, Никон, понапрасну таешь сердцем, улыскаешься всем старообразным, морщиноватым лицом, туго обтянутым вязаным из шерсти клобуком, радуешься, как дитя медовой жамке, не ведая, что близится то время, когда вот эти пришлецы-прелестники, что чествуют тебя и величают великим государем и ставят вровень с папою, а может, и выше его, с легкостью предадут, вдруг войдут папертью, попирая посохами черные железные плиты пола, как неколебимые праведники, карающие ангелы, посланники Божии. Ох-ох, потаковники, рано запрягаете лошадей и напрасно торопите, как бы вместо свадьбы не угодить на поминки. Значит, правду уж кой год молвят на Москве, де, патриарх Никон отступник, коли не затыкает рот пришельцам; значит, он воистину хочет искоренить из сердца самого Христа.

А ведь и дня не ускочит, Никон, как по твоей милости кровь прольется. В ближней подмосковной селитбе мужик перекрестит жену свою беременную и троих детей, которых в ту же ночь и убьет в убеждении, что новокрещенных мучеников удобнее отправить в рай. По утру он сам явится в губную избу и объявит голове: "Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так они от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в царстве небесном мученики..."

Воистину, тут ума лишишься и злодейцем станешь, коли сам первый святитель, отец отцев, заблудился меж трех сосен и сошел с тропы, кою самолично торил да проминал, почитай, полвека.

Широко громоздятся на амвоне три патриарха (два чуженина, а один — свой) в золотных ризах, будто копны просохлого сена под июльским полуденным солнцем, такой истекает от них свет, и зной, и благовония: три воплощенных образа Христовых, да меж них царь-государь в темно-синей однорядке, с наперсным

крестом на груди и в парчовой шапке с собольим околом, словно бы гордоватый, но огрузнувший в неволе кречет, обвитый сизыми клубами ладанного дыма. Кади пуще, архидьякон, наводи пахучего туману, чтобы затмить дух смердящий, ибо трупищем окаянным запахло в церкви. И в этом чаде Алексей Михайлович походил не столько на Пилата, сколько на воина в железной шапке, что вместо воды поднял на копье к губам Спасителя губку с уксусом. Иноземные патриархи в белых шелковых камилавках, лоснящихся от верхнего света, глаза как спелые маслины; Никон на голову выше их, словно ворон, изсера-смуглый, принахохленный, присогбенный, чтобы не выпячиваться средь иерархов, крутые скулы обтянуты черным шерстяным клобуком, скуфейка вязаная, как мисюрка, туго надвинута на самые брови, отчего у патриарха лицо воина Христова и монаха-аскета; взгляд строг, неулыбчив, нижняя губа презрительно выпячена. А в душе-то смятение. Ему страсть как хочется уравняться с гречанами, в ризнице уже давно припасен белый клобук с камилавкой. Не чудилось ли ревнивцу, когда примерял камилавку в опочивальне перед зеркалом, приминая ладонь за верхнее донце, что в новом уборе он не только не мужик, но уже и не русич-монах, а воистину великий грек, глава вселенской церкви, — такой царственный свет величия накатывал от длинных плавных белоснежных воскрылий. И вдруг позабылось стародавнее, сокровенное, о чем возгоржался и не раз ратовал в беседах со Ртищевым; де, истинная вера православная стоит на сугубой крестьянской правде; де, может монах приплыть на камне из Афона; де, у настоящего верующего никогда не бывает сомнений в том, ибо и через окиян-море, если захочет того Господь, может переплыть на камне праведник. А ежли колебнулся кто, на грош один засомневался — и поехал человек в тартарары на вечные времена...

И вот самому Никону нынче до жара утробного возжелалось и внешне перемениться: русские одежды нестерпимо стеснять стали. Он вдруг почувствовал себя обделенным, почти униженным, это он оказался чуженином средь патриархов и был не в золотых ризах, но в залатанной сермяге. И улучив миг, когда пришло время для сокровенной беседы в конце литургии, когда вынесли стулку с книгою поучений, Никон особо, как сговорились, кивнул Макарию: сириец ненадолго отлучился в алтарь и принес клобук на греческий манер. Одно искушение всегда тянет другое: поддался, потрафил гордыне, позабыл душу, а там, глядишь, и оседлает нечистый.

Макарий нес клобук на обеих вытянутых руках, как пасхальный кулич, и вышитый золотом и жемчугом херувим готов был слететь, с шелковой камилавки. Макарий приблизился к царю и сказал: "Государь, нас четыре патриарха в мире и одеяние у всех нас одинаковое. Если угодно твоему царскому величеству, я желал бы надеть на него эту камилавку и клобук, которые сделал для него вновь, чтобы он носил, подобно нам". Царь ответил с благожелательной улыбкою: "Батюшка, добро".

Он не удивился, но вдруг вызвался сам обрядить собинного друга и старательно вздел камилавку на его крупную, кочаном, голову, приподнявшись на цыпочки, а после по-хозяйски, как бы невесту обряжал, расправил воскрылья по плечам и вдоль впалых морщиноватых щек, и трижды расцеловал патриарха, как ровню себе, накалываясь губами на жесткую кудель бороды. Собор ахнул, дивясь столь скорой перемене на Руси. Как только земля не поколебалась под Никоном? — вздивияли соборяне. — Все вроде бы по-московски одевался, а когда, в какой час вдруг сделался греком? И царь-батюшка отчего-то мирволит такой измене и щедро одаряет святителя ласкою.

И возроптали иереи, и настоятели монастырей, и священницы, и миряне. Но что для государских ушей трус и волнения подпятных холопишек, что ежедень толкутся у спального крыльца, дожидаясь крох с хозяйского стола. И тут всякий богомольник вдруг расчувствовал непонятным образом для себя, как что-то сокровенное потухло не только в православной вере, но и во всей русской мирской жизни, когда все, как бы ни чинились друг перед дружкой, как бы ни кичились службою и родом, но все одно оставались братьями во Христе. Ибо церковь покрывала их одними пеленами, и Господней щедрости хватало на всех.

...А тут случилось, что царь с Никоном, обнявшись, не только церкву присвоили себе, но и самого Христа заключили в особую золотую клетку и закрыли дорогими запонами.

* * *

Как потомки Измаила, сына Авраама от Агари, стали непримиримыми врагами Израиля, так и православие уже несрастаемо во веки вечные с папизмом, ибо не для русской крылатой души латинская уряженная темничка...

...Кто надоумил, кому пришло в голову выстроить на Руси Новый Иерусалим? Может, как священнику Захарию, явился ангел с уведомлением о сыне, так и государю приключилась небесная весть? Была Москва издавна, как подпал Восток под агарян, крепостью православия, третьим Римом, сладким гремучим студенцом, и этого благодатного пития, этого сикера хватало русскому насельщику, чтобы терпеливо сносить всякое нестроение и кручину. Если в других землях живут люди поганые, не верующие в истинного Бога, погубляющие душу еще при сей жизни, то как радостно скончать свой век в родном куту, на родовом жальнике, ибо от ворот только русского погоста душа отправляется прямо в рай.

Но много развелось на миру бегунов, потаковников, смутителей, шептунов и развратителей, кто не суть Божию ищут, но лишь себя: иные из них, не стыдясь и не рядясь, со своим бесстыдным норовом перебежали в русские земли и давай сеять плевелы; и знать, надули в уши государю много льстивых обманчивых слов, ежли вскружилась голова у Алексея Михайловича и пришло ему на ум построить в Московии Новый Иерусалим, посадить священный благоухающий народ на северной земле, словно бы с Руси изошло христианство, разрослось богатым мировым деревом. И в патриархе Никоне сыскал он подпятника чаяниям своим и радетеля, коему мало того небесного Иерусалима, к которому всякий верующий приступил еще в этой жизни и остановился у его врат, и лишь перевоз через реку смерти отделяет от обетованного рая. И мало было устроителям горнего храма того чувства, что приидет на землю то время, когда всякая нужда в храме земном отпадет, ибо сойдет с небес сам Бог с Агнцем своим и будет и храмом, и царством.

...Никон скоро сыскал под Москвою на высоком берегу Истры то заповеданное место, что удивительно походит на священную Палестину, словно бы сам Господь задумал и повторил каждую впадину и холмушку в затаенном уголке северной страны, отстоящей от родины Христа за многие тыщи поприщ. Наверное, Спаситель в тонком сне привел Никона за руку и указал: строй здесь! Старец Арсений Суханов из южных земель привез чертежи иерусалимского храма, и патриарх взялся за дело с тем рвением, кое всегда овладевало Никоном, когда он брался за предприятие провиденческое. С праздника Богоявления, угнетенный неожиданной ссорою с царем, он уехал на Истру-реку и поселился в деревянной временной келеице в бору, срубленной для патриарха и окруженной для уединения тыном.

Триста приписных мужиков возили кирпич, гасили в ямах известь, рубили избы, рыли подвалы, и средь горячей стройки, у лабазов и засыпух, у варниц и костров, где кипела смола, у речных бронниц, куда спешили насады с кирпичом и лесом, где звенели топоры, вязали срубы, гатили дороги, у ближних тоней, где рыбари тянули невода с лещом и судаком и щукою для трапезы, — везде Никон был свойским, хлопотливо-деятельным, то ершистым и гневливым, и скорым на расправу, то насмешливым и печальным, и мало что напоминало в этом долговязом, супистом мужике патриарха всея Руси. Он был в долгой рясе, подбитой хлопчатой бумагой, откуда выглядывали огромные, на медвежью лапу, рыжие переда телячьих сапог, и в овчинном треухе, опоясан кожаным твердым фартуком и с кожаными оплечьями для деревянной козы, на которой Никон таскал кирпич. Он был весь запорошен коричнево-смуглой пылью, и даже густая борода, и подусья, и подскулья, где скопилась глиняная тля, отсвечивали охрою, да и сам-то взгляд, обычно стемна, изнутра, стал вдруг красноватым, сполошистым, будто в глазах зажглися становые костры.

В ста пятидесяти саженях от монастырской стены, на самой круче Никон заложил себе отходную Пустынь в четыре яруса, в виде башни с витой внутренней лестницей и малыми келеицами, и двумя церковками; и вот, благодаря Божьему промыслу, с тремя оброчными каменщиками нынче перешли на последний ярус. Со ступеньки на ступеньку, как по лествице к Богу, Никон подымался вверх с пятипудовым грузом, не давая себе поблажки, несмотря на годы, унимая гулко бухавшее сердце. Порою он опирался плечом о шероховатую от застывшей изве-

стки стену, передыхал на подмостях, когда-то безотказные ноги подгибались, становились ватными, жидкими. Вот и нынче вечером, после послушания, придется ублажать остамевшие, припухшие ступни в горячей воде, выгонять из утробы через плюсны холодные соки; узловатые жилы на голенях, посиневшие жгутами, уже худо проталкивали кровь. Полвека дал Бог жизни, экое счастие! Укатали сивку крутые горки. А давно ли был, несмотря на посты, и радения, и долгие изурительные бдения, на непрестанные службы, здоров, как лиственничный выскеть, не ведал хворей, разве лишь глаза к утру натекали кровью. Скольких сам поднял на ноги, выправляя черева, изгоняя грудную жабу, и беса, и червей. И все молитвой, и святой водою, да Божьим изволом. Э-э-э... Всякому дубу свой век.

Никон поднялся на верхний ярус, опустил ношу, выгрузил из крошна кирпичи, разогнулся и, как-то безотчетливо забывшись, застыл, приотодвинув треух на затылок. "Отдохни, батюшко, замучился с нами", — сердечно присоветовал мирянин-каменщик и ловко так, с прихлестом, накинул известковую нашлепку на кирпичный ряд. Никон промолчал, полный неожиданной счастливой грусти.

Да, — подумал, — по всему видать, запарило, повернуло на весну с Благовещения, разве что под Вербное отдаст засиверкой: в распадках лишь кое-где просвечивали белые заячьи шкурки снега, а по буграм, сквозь серую ветошь прошлогодней травы, испроточенной мышами, уже топорщатся радостные мелкие зеленя... Зима подобна мачехе злой и нестройной, и не жалостливой, ярой и не милостивой; ежели иногда и милует, но и тогда казнит, когда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит, и мучит, грех ради наших. Такова уж зима, чего с нее возьмешь. Но весна наречется, яко дева страшенная простотою и добротою, сияющая, чудна и прелестна, любима и сладка всем...

Никон из-под ладони обвел пристальным любовным взглядом русские просторы, овеянные сиреневым туманцем; далеко за рекою, на увалах, протыкиваясь сквозь дубравы и елинники, возносили островерхие главы церкви монастырей, они были как вешки, путеводные знаки на неторной тропе к Господу, и пока-то добредешь до ворот рая, весь измозгнешь телесно, но душа-то обрядится в золотые аксамиты; под берегом Истра кипела, напирала на креж, вымывала глиняные клочи, гнула ивняки, затопленные по пояс; зря, ранешько хлопочут рыбари, заводят невод, желая удоволить святителя, придется из сушняка варить ушное. На поскотинах, заваленных хламом от убылой вешницы, стекленели под мутным солнцем разлегшиеся, как коровы перед дойкой, голубоватые на изломе льды. Глаза патриарха защипало, в них зажглась слеза, видимо, теплый ветер-обедник выбил соленую влагу. Никону показалось, что он озирает мир не с вершины Сиона, но со дна глубокого колодца сквозь паутинчатую слюду; знать, оттого и небо, слегка желтоватое, походило на потрескавшуюся слоистую слюду, в трещинах отсвечивающую голубым. Господи, как все знакомо и желанно, вроде бы сам и побывал в Палестинах, а не наслушался со слов паломников. Вот Сион-гора, а под нею Иордан, а невдали Елеон-гора, а за теми селитбами призатенились Вифлеем и Назарет. А где Голгофа, там пока сосновый борок, еще не выбитый рукою дровосека... Придет время, и всяк христианин потечет сюда с поклоном, как ныне спешат помолиться ко гробу Господню. И в славе будет не только сия святая обитель, но и вся Русь, и народы, населяющие ее. Глядишь, и строителя помянут незлым словом. Спасибо Господу, что надоумил возжечь в диком засторонке великую свещу, и от золотого ее сияния всяк поклонник изумится, и ослепнет поначалу, а после и радостно восплачет, как плачу нынче я.

Никон провел ладонью по лицу, размазал слезы, смешал их с кирпичной пылью. Только бы успеть содеять наказанное, пока не помер. Только бы успеть, пока не спихнули с патриаршей стулки. Короеды точат...

Он не успел додумать. Ударили в деревянное било. Строитель иеромонах Иринарх звал к трапезе. Уже солнце садилось. Тишина сошла в мир. Вода в реке неожиданно потемнела, остекленела, как бы остановила бег. Каменщики доскребли раствор, вытерли руки о фартук, перекрестились на восток, подошли к благословению. Весь день ни слова, а тут сам покой понудил к неожиданному разговору. Мужики были из приписанных к монастырю деревень из бывшей Коломенской епархии епископа Павла, неведомо где пропавшего. Один молодой, белобрысый увалень, стесняясь патриарха, пугаясь его, не смел поднять раскосых удивленных

глаз; другой — в летах, нос утушкой, с простодушной негасимой улыбкой на круглом лице. Ладони, как загребистые ковши, тяжело обвисли, крестьянин не знал, куда девать руки.

— Благослови, батюшко, — попросил старшой. — Вон, к трапезе кличут...

— Власти монастырские не забижают? Могорцем, иль ествою? Я в оброке вам польготить велел. Наслышан о вашей беде. С вами плачу. — Никон с отеческой заботою вгляделся в рыжеватое простецкое лицо трудника, в его незамирающую улыбку и отчего-то вдруг позавидовал мужику, его несуетной жизни. Горький ком встал в горле и запрудил дыхание. И снова запозывало заплакать. Слава Тебе, Господи, — подумалось туманно, — отворил Ты мне слез родник. Патриарх не снимал взгляда с трудника: за мягкою солнечной улыбкой мужика он улавливал тугу и неутешную заботу. Помнил Никон, что в прошлое лето хлеба затопли от дождей, деревни и погосты по Истре подняло водою, недород и хлебная скудость крепко прижали монастырских. Кой-как перебились зиму на житных колобах да капусте, а нынче едва тянут животишко до новин... — Я приказал тыщу рублей польготить. Слыхали, нет? А то власти утаят, нынче Бога и в монастырях не шибко чтут.

— Спаси тебя Господь, святитель. Наша надея, защитничек ты наш, святой угодник. Век за тебя молить станем. Видеть тебя и то за счастие. Вон как убиваешься в трудах, себя не щадишь. Уж не молоденек, чай, — простодушно посетовал работник и земно поклонился.

— Ну, будет тебе... А еще велел я подводы ваши и работу поденную зачесть в оброк. Ладно ли?

— Да как не ладно, отец. Прижало: хошь волком вой. Обложили налогою — не вздохнешь. Да где наша не пропадала! Бог-то не выдаст, а? — Старшой утвердительно ударил шапкою о колено, выбил облачко рыжей пыли, напялил колпак на свалявшийся колтун волос. — Нам бы день пережить, а ночью и свинья спит.

— Голодный-то, кажись, откусил бы и камня. Верно? Подите, христовенькие, Бог вас не оставит. — Никон перекрестил трудников, провожая жалостливым взглядом.

* * *

...Упирайся, святитель, строй себе скудельницу, не ведая, что и эта затея будет вписана тебе в вину. Ибо бес твоего тщеславия вызвал на тебя бесов прельщения и зависти людей.

...Однако с тяжелым сердцем вернулся Никон в брусяную келейку. Была она срублена в засторонке, да еще обороненная чесноком со стрелецкою вахтой на воротах, так что шум табора не достигал сюда. Смирно было в келейке, неприхотливо; в углу образ Пречистыя Богородицы Взыграние Младенца в серебряном окладе; да у печи широкая лавка для опочивания с ларцом подголовником устюжской работы с чеканкою по жести, тощий тюфак с одеялом и сголовьицем свернут в трубу. Напротив на стене лубочная картина с изображением монаха, распятого на кресте, ноги чернца прикованы к камени с надписью "нищета". Служка Иоанн помог разоболокчись до исподнего, протер тело святителя губкою под кожаными оплечьями и под верижным крестом; шерсть на груди курчавая, совсем поседатела, кожа в подреберьях пообвисла старчески, поиздрябла и посеклась морщинами. Но на просторных плечах можно еще молотить. Келейник молча принес дубовую шайку с горячей водою, вехотек и медный кувшин, встал на колени, перекинув утиральник через плечо, приготовился обихаживать патриаршьи ноги.

"Ступай, сынок. Не замай света", — велел Никон тусклым голосом. Туго прикрылась дверь, качнулась лампадка, слюдяное оконце в четверть листа окрасилось багрово, по нему вдруг пробежал трепетный голубой луч; знать, отразился от елейницы. Никон замер, прислушался к себе, еще не понимая причины сердечной тягости. Во все дни ломил на монастырской стройке, как вол, а нынче что-то надломилось в нем. Ему не то чтобы стало тоскливо иль грустно, нет, он вдруг почувствовал себя везде лишним. Он, как воск на свече, оплыл на стоянец, потерявши державу. Отчего он здесь? Вся церква русская колыбнулась, как на крутой волне, течь дало суденко, напоровшись на каменистую коргу, а он, Отец

отцев, прозябает в ухоронке, как белка в гайне. Ох-ох, грехи наши тяжкие. И не странно ли? С такой радостью заехал на Истру, бежал из Москвы от царя, окунулся в заботы, как в кипящий котел, сам весь телесно поизустал, измозгнул каждой жилкою, таскаючи кирпичи, весь в нитку вытянулся, иссох на соленых огурцах да тяпаных рыжичках. И то сказать, великое предприятие стронули, Новый Иерусалим распечатали от заколдованного сна. Как драгой блистающий камень-адамант, Господь спосылал горнюю церковь в суровый русский засторонок, в медвежий угол, и свет от сокровища отныне потечет по всем языкам. Да, какому кораблю дадим плавание, и возле него русское суденышко, пустившее течь, сыщет укрепу и покой...

Все ладно, все так счастливо укладывается для Никона: ведь редкому человеку, может, одному из всех за долгий век приключится явить народу такое событие, кое не обмозговать, быть может, и в далеком будущем времени. И вот угар от затеи на время схлынул, и Никон почувствовал с недоверием, будто вручили ему эту стройку для забавы, отпихнули из Москвы за ненадобностью.

Глупцы, воистину глупцы, куриные мозги... Одни дикари лютуют, что я царя подпятил, у них кусок изо рта выдрал; другие — будто церкву рассек и душу вынул. А я славы для всех хочу, я дом Христов сострою, чтоб было где Ему царить. И пред тем не постою, все богатство мира пожертвую. Христос изошел из Израиля, но к нам приидет и будет государить тыщу лет, а после всю Русь с собою вознесет; де, паситесь в раю, православные, верные мои челядинники, гостюйте во честном вечном пиру. Эх, куриные мозги, встряски вам мало. В головах-то мозгов, что в задницах.

Никон вдруг поразился своей дерзости: эко возвысился, на какую тронку себя усадил; и тут же устыдился, проклял за духовную малость. Тля — человек, как сито, протыкан я мирскими заботами, вовсе отлучился от смиренного монашеского уединения. Ибо всю правду мира можно сыскать лишь в келье.

Признайся, святитель, ты вестника ждал от царя, посла с поклоном, а? Власть-то сладка для плоти, как груша в патоке. Эта змея любого изврастит и полонит; ужалит — и растекся яд по членам. И будто слаже груши в меду ничего на свете нет. И сам Сладчайший позабыт и предан.

Никон спосыланного с часу на час нагадал, но были с нарочными боярскими детьми челобитья по патриаршьему Дворцу, да от дьяков по многим монастырским заботам письма, да всякие просьбы священниц и подметные листы.

Вот и в Соловках смута, архимандрит Илия по своему бездельному приговору сеет беду, не велит слушаться патриарха, и кто по новым служебникам читает, тех плетьми бьет, и о том слезно жалятся соловецкого монастыря попы Виталий, Кирилл, Никон, Спиридон и Герман, кои патриарха чтят. Мало того, пишут попы, что клеплют на меня, будто я вор, крест и икону драгую у них схитил. Ну... годите, крапивное семя. У меня руки длинные, и до вас доберусь, накину мешок на голову.

Никона напарило изнутри, в жар бросило. В оконце свет потуск, завесило сумерками. Никон кликнул огня. Хотел сам прочесть челобитную соловецких попов, монастырских он помнил многих. Но голову вдруг вскружило от натока крови.

"Что за голка на островах? Смутьяны, сколько добра им сделал, не помнят. А кто добра не разумеет, те в аду пребудут. Чти суть, да не давись словами, сутырщик", — приказал келейщику резко. На щеки наплыла багровая мгла. Шушера чел челобитную с расстановкою, как орацию пред государем. Он не боялся патриарха, но любил и жалел его...

"...Случились в то время богомольцы разных городов, и произошел шум великий, начал говорить архимандрит всей братии со слезами: "Видите, братья, последнее время: встали новые учителя, от веры православной и отеческого предания нас отвращают и велят служить на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб Бог нас сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши! Тут все закричали: "Нам латынской службы и еретического чина не принимать, причащаться от такой службы не хотим, и тебя, отца нашего, ни в чем не выдадим". Да и все Поморье он, архимандрит, утверждает, по волостям монастырским и по усольм заказывает, чтоб отнюдь новых служебников не принимали. Мы к такому приговору рук прикладывать не хотели, так на нас архимандрит

закричал с советниками, как дикие звери: "Хотите еретическую службу служить, живых не выпустим из трапезы! Мы испугались и приложили руки".

Шушера дочитал слезную мольбу, свернул грамоту в свиток, сложил руки поверх ремня: живот выдался острым горбиком. Келейник имел вид по-ребячески простодушный и шутейный. Шушера умел подыграть патриарху, чтоб снять с его души напряг.

"Укрой меня, да подай квасу", — попросил Никон; что-то неуловимо стронулось в его лице, отмякло в надбровьях. Келейник утер патриарху лицо фусточкой, натянул на ноги суконные чулочки на беличьем меху, раскинул на лавке тюфак, помог улечься, подоткнул одеяло с боков, подал квасу в кубке. И все делал он ловко, бесшумно. Опустился на колени возле постели, приложился губами к патриаршей руке с синими вздувшимися жилами, наверное, поцелуем хотел умирить ток крови. Не размыкая глаз, Никон попросил: "Поди, дружок, да затворися и никого не примай..."

"Мы испугались и приложили руки", — вслух повторил Никон, свое сердце прилагая к слезной мольбе соловецких соборян, понимая и отвергая их.

Вот так и Господа однажды предадут незаметно, убоявшись страха, будто тыщу лет собрались на земле коптеть. Одно слово: головешки. Забыл Златоустово: "Что такое смерть? То же, что снять одежды. Тело подобно одежде облекает душу". Убоялись малодушные смерть принять, значит, не верят в блаженство вечное. Так как же с маловерами церкву отстоять от нападок, а? — спросил Никон у невидимого друга и тут поразился своему одиночеству. Глухое до звона молчание было ему ответом. Воистину сам себя затворил в застенку и приковал к дубовой стулице.

...Я-то за твердую веру умереть готов хоть нынче, а мне говорят, что я еретник. Может, я зря, как упырь, устрашил пику супротив всех?.. Одни хотят Третьим Римом быти, всех отлучивши и трех восточных патриархов отсекши от русской церкви. А откуда истинная вера явилась к нам, как не с Востока? Да там и пребудет. Хотела лягушка стать слоном, дулась-дулась, да и лопнула. И если мы не сличим догматы, чтобы не розниться нам в букве, то как установить согласие, и тогда откуда взяться тому дому, рекомому Третий Рим? Дом, разделившийся в себе, не устоит. И ежли отступим, возгордясь, от братьев, полоненных агарянами, то и нас поглотит ангел зла. И тогда в какую землю явиться Христу, ежли кругом будет свара и неустрой? Может, и греки-то не правы, что не хотят того, что было раньше, но нам велят исповедовать, что нынче у них. Как сойтися с ними, чтобы и себя не потерять и не расплеваться на века? Мне чужого не надо, и свое, стародавнее и истинное, боюся отринуть. Ежели ты глух на одно ухо, и слеп на один глаз, и хром на одну ногу, то не значит ли, что и вся церква должна быть глуха на одно ухо, крива и хрома?

Болтает маловер и ханжа, отступник Неронов, этот новый Арий, де, только они и стоят за родную старину. А по правде, ежли и есть на Руси первый враг переменам и ревнитель отеческого предания, так это я, монах Никон, несущий тяжкий крест правды.

И вдруг сошло на Никона успокоение, и загадал он: вот дострою Отходную Пустынь и сойду с патриаршества.

* * *

ИЗ ХРОНИКИ:

...Во всем исповедовал Никон греков, почитал их за учителей своих, но в одном случае воспротивился, ослушался наставника сирийца Макария, ибо полагал святитель, что за истину в вере и живот положить можно. Случилось патриарху-книгочею на свою голову наискать в старых книгах, что привез ему с Афона старец Арсений Суханов, что в древности водоосвящение было только однажды, в навечерии праздника, и не в церкви, а в иордании. Ибо Спаситель крестился от Иоанна один раз, и тогда раздался Исусу с небес глас Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благословение". И до конца встав за старую веру, сломал патриарх прежнюю службу, кою исповедовали и греки, так же святившие в Крещение воду дважды на реке. И в своей наисканной правде Никон убедил

царя, и тогда по церквям был разослан наказ Алексея Михайловича, чтоб ко крестильнице исходить лишь в навечерии Богоявления.

И был сладкий праздник Богоявления у крестильницы на Москве-реке прямь Тайницких ворот при многом стечении московского служивого люда, и бояр, и войска: те часы без обильных слез не можно вспомнить. И ничто не выдавало тогда горький размолвки, от которой и поныне печально патриарху.

Следующим днем после литургии в Успенском соборе вдруг подали царю донесение от Виленского воеводы, что побил на бою шесть тысяч ляхов, полонил двадцать восемь знамен и сохранил за собою город Вильну. Обычно Никон читал поучения из "Сборника отеческих бесед", а тут на радостях во всем облачении скоро вернулся на амвон, прочел эту победную реляцию пред богомольцами и приветствовал царя, заплакавшего от радости, и велел возгласить ему многая лета и величать отныне царем Великия, Малыя и Белыя России. Тогда и царь велел славить патриарха и величать всею подобающей славой.

В тот же день поздним вечером Никон отправился в свои Иверские владения на Валдай, а спустя десять дней и царь сошел в любимый Саввы Сторожевского монастырь. Здесь, принимая дорогого гостя Макария патриарха и угощая его, государь, когда кончился обед, сам роздал всем в трапезе кубки с вином и первый возгласил за здравие отсутствующего великого государя Никона, собинного друга. Первого февраля воротился Никон в Москву. Для встречи его царь выезжал еще накануне вечером за двадцать верст.

После долгих просьб на пятой неделе Великого Поста 1656 года царь разрешил наконец возвратиться сирийцам на родину. При прощании патриарх Макарий получил от царя 50 сороков соболей ценою в 3000 рублей, 220 рублей для уплаты за четыре паникадила, 30 икон в серебряных окладах, несколько пудов рыбьего зуба и слюды, несколько беличьих мехов и пять хрисуловых для сирийских монастырей. Сирийцы выехали из Москвы на сорока подводах, еще не веря себе от радости. Они доехали до Болхова, когда получили от царя наказ вернуться обратно.

Кто-то надул царю на уши, де, Никон изменил крещенский обычай по самовольству, не послушался Макария, чем государь был чрезвычайно огорчен. На страстной седмице в великую пятницу после вечерни завел государь с Никоном горячий спор, в жару которого воскликнул: "Мужик ты, блядин сын, глупый человек!"

Никон огорченно возразил: "Я твой духовный отец. Как же можешь ты так унижать меня!"

Царь ответил: "Вовсе не ты мой отец, а святой патриарх антиохийский. Вот кто подлинно мой отец, и я сейчас же пошлю воротить его с дороги".

Государь больше не хотел делить власть даже с собинным другом. Да и слишком близко к престолу оказался мужик.

(Продолжение следует)



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ



ИСПЕПЕЛЕННОЙ ВЛАГИ СЛЕД

* * *

Январь. И солнечное утро.
И зверь искрится на бегу.
И снег, как сахарная пудра,
Лежит на смерзшемся снегу.

И пар, легчайшее дыханье —
Испепеленной влаги след! —
В искристо-солнечном сиянье
Колеблется, как жаркий свет!

* * *

В чуть заметный след ступая,
Видишь ты в лугах пустых,
Как блестит трава сухая
В жестяных снегах сухих.

Как круглится в льдистой выси
Цепенеющий дымок.
Как трепещут строки лисьи
В жесткой сетке волчьих строк.

* * *

В синих полосах белые кручи.
Острый холод в глубоком логу.
Снег зернистый, шуршащий,
сыпучий.
Лыжи узкие тонут в снегу.

Лес звенящей струной натянулся —
Вскинул веток застывшую сеть.
Резкий воздух собой задохнулся.
Весь напружился! Хочет взлететь?

Напряженная стынет осинка.
Чутко вздрогнет —
пушинку стряхнет.
Огневая шиповника льдинка
Алой сластью во рту обожжет!

* * *

Я дров ядреных напилю,
Смолою окропленных.

КАЗАНЦЕВ Василий Иванович родился в 1935 году в Томской области. Окончил Томский университет. Автор книг стихотворений "Дочь", "Прощание с первой любовью", "Талина" и других. Член Союза писателей. Живет в подмосковном городе Реутово.

Поленьев звонких наколю.
Сверкающих. Граненых.

На миг побуду, как в лесу,
В гудении, в паренье.
И со двора в избу внесу
Искристое беремя.

Смолистые, улегшись в ряд,
Еще шуршащим плеском
Не занялись. А уж блестят
Огнистым, ярким блеском.

Они молчком еще лежат,
В огне не тлея резком,
А кажется, уже трещат
Веселым, жарким треском!

ЗИМНИЙ СОСНЯК

Снег и смолы. Здравствуй, старый,
Новый, вечно молодой,
Хвойно-темный, белоярый,
Красный, жаркий, ледяной!

Рейте, пойте. Войте, лазьте.
Прочь бегите впопыхах.
Отыскавшееся счастье.
Тень, мелькнувшая в глазах.

Коготки на гладком насте.
...Крыльев
Мимолетный
Взмах!

МОРОЗНАЯ НОЧЬ

В просторе белом, опустелом
Пушистый заяц — как волна.
Не виден он на поле белом,
Лишь только тень его видна.

Пылает снег молниевидно,
Как раскаленно-тонкий блеск.
Но света пламени не видно —
Лишь тонкий, раскаленный треск!

* * *

Надраен лед, и воздух вымыт,
И солнечный отбелен снег.
Привет, континентальный климат —
Свирепо-нежный человек!

Неумолимо остр мороз.
Его очищенность — кристальна.
Его блистательность — обвальна.
Он, будто спирт, шибает в нос.

Неразведенно-чистый, злой,
Сверкающий, заледенелый.
Как мглистый, раскаленный зной.
Пылающий! Искристо-белый!

ИЗ ДЕТСТВА

Ветлы занемели.
Задрожала ель.
...Прямо из метели —
В теплую постель!

Хорошо угреться
За глухой стеной,
Ясно слыша в сердце
Радость, свет, покой...

Заревая вьюга.
Шум со всех сторон.
Ветер? Голос друга —
Вдалеке — сквозь сон?

Солнечность метели?
Звезды в высоте ль?

...С ласковой постели
Снова —
В снег.
В метель!



ВАЛЕНТИН СОРОКИН



РАССКАЗЫ

КОРШУНЫ

ДАВНО Я ЖИВУ в столице России — Москве. А каждый день вспоминаю свой маленький горный хутор — Ивашлу. Стоял он в горах, прилепясь к берегу норовистой речушки, бегущей по небольшой долине, а можно сказать — по ущелью, где подножия гор образовали как бы круглую чашу, полянку, вот на ней и стояла Ивашла.

На косогорах, на скалах весною собирал я дикий чеснок, а летом — ягоды. Ведь дикая вишня или дикая малина разве сравнимы с прирученной? Вкус — истомнее, пронзительнее, а уж полезнее-то во много раз!

А в Москве на рынках — смуглокожие, от кавказского дармового солнца загорелые торгаши кричат в спину тебе, в спину, ножом и ножом пыряют:

— Яблоко, сорок руплей килограмм!..

— Слива, сто руплей килограмм!..

— Лук, семьдесят руплей килограмм!..

Парнишка брысяво между прилавками блудит и покупателей заманивает концертом. Вихор торчит на макушке. И веснушки — медные капли на мордочке. Городским солнцем, скупым и необязательным, прижжен. Короткий чубчик замедовел. Хитрый парнишка. Стреляет — стащить выслеживает, и стихи запузыривает, с выражением и мимикой, прищелкивая пальчиками:

А Борису бизнесмен
Куртку дал, а тот взамен
Снял пиджак ему с плеча,
Не глотнувши первача...

А глотнет — тяните руки
До фуражки и часов,

СОРОКИН Валентин Васильевич родился в 1936 году. После школы десять лет работал на мартене. Окончил Высшие литературные курсы. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Благодарение», «Хочу быть ветром», «Плывущий Марс», «Нас двое» и других. Впервые печатается в нашем журнале как прозаик. Член Союза писателей. Живет в Москве.

Будет рад он скинуть брюки
И остаться без трусов.

Ради славы и успеха
Мы осилим горы дел, —
Лишь бы голым не приехал,
Босиком не прилетел!..

Лысый, толстый кавказец, отороченный лоснящимся мхом, высовывающимся из-под майки, пиджак опорожняет, карманы растопырил и парнишке предлагает фрукты и ягоды, вялые и скомканные:

— Пири, пижак!.. Груша пири!.. Пизнисмэн!.. Пири, сервец!..

Торговые фанатики используют живую русскую рекламу. Портят ее. Быстро освоив ложь и подлог, беспризорные ребята нахраписто кидаются в мошенничество.

А честно распутаться — нет: барыга цепко стережет. Затраченное — отбатрачь. А у него украдешь — на кинжал напорешься. Москва — преступная столица. Россия — страна великая. Кто заступится? Кто спасет? "Пири, сервец!.. Пири, зарэжу!.."

Ну кто мне кричал в Ивашле так? Бедно мы жили, а все — в радость, да на здоровье. Заберешься на камень, выпятившийся из горы, у вершины ее, тысячу, а может — десять тысяч лет назад, может, и миллион? Камень весною, в начале мая — весна на Урале не торопится с летом слиться, — заберешься, а камень — теплый.

Отполированный, диван и диван, даже лунки в нем, людьми высиженные за века и века, и ты теперь сидишь — мальчишка, будущий полководец или царь, поэт или летчик? Мечтаешь. А белоголовые орлы, беркуты, кругами — над Ивашлой, над Ивашлой, задевая крыльями седые скалы, чертя крыльями по многодумным головам гор. А ты сидишь. Лучи достигают ног твоих, ступней босых, снега в оврагах не робеющих, донесших тебя к вершине главной горы, к древнему камню.

Мать выскочит к обеду на крыльцо:

— Валька, домой, обедать! Валька, домой, обедать! — А Валька греется, подставляя честно, поочередно, бока солнышку. Волосы — давно заветрились и лицо — краснокожее. Бандит. А орлы, размахнув могучие крылья, роняют в долину гордые крики. Два, три, четыре, пять их взовьются и кружат, кружат. Потоки, водопады со скал прыгают и шумят в долине, мчась и кувыркаясь в речушку, дополняя ее омута бешеной силой и белой, белой, пламенной пеной, выплескивающейся на огородики, притуленные за плетнями, отрезанные рядою завалов и дубовых или лиственных свай: дабы речушка не куролесила по родящей земле, не разоряла добрые сально-жирные огороды.

Если спуститься чуток с горы, от древнего камня, в овраг, там — неохватные лиственницы, кедры, сосны, березы, липы, осины, клены, дубки и разные кустарники. Не пробиться. Но орлы поворачивали в синеве грудь, как бомбовозы, и пропадали в разлапистых макушках деревьев. Гнезда у них среди прочных сучьев, большие, прочные, с большими прочными детьми. Дети орлов или беркутов, у нас на Ивашле их не подразделяли, да и не стремились уточнять: орлы или беркуты белоголовые. Белоголовые, тяжелые и серьезные. Лежат в гнезде молча. Тугие, умные и агрессивные. Лежат — по нескольку штук, но не очень массово: в основном, как близнецы — пара, редко — четыре... Ребятишки и ребятишки, только — не разговаривают.

И повадился я, с крошками хлеба, заглядывать на них. Выбрал дерево — лиственницу, огромную, высоченную, а наверху — гнездо. Лиственница спеленута ветвями, замурована хвоей, пока к ней доберешься, наглотаешься снегу, оцарапаешься и замерзнешь, но риск — благородное дело, особенно в детстве. Снег держится в оврагах — до сенокоса, а под снегом вода — зубы ломит... Повадился. Орлы кружат над Ивашлой, пищу выслеживают, а я вскарабкаюсь к гнезду, быстро, быстро посмотрю на белоголовых орлят и вниз, деру, да такого — свист в ушах. Игра продолжалась около недели. Орлы кружить над Ивашлой — я к их гнезду смотреть на ребятишек.

И однажды то ли я припоздал, часов-то в деревне не было после войны, то ли орлы вернулись пораньше домой и обнаружили на их лиственнице, у их гнезда, незнакомого человека. Боже, высь засверкала молниями и тучи обрушились громом. Лиственница подо мной закачалась и принялась звенеть, дрожать и крениться, а орлы, самец и самка, взялись махать крылищами, нагоняя бурю на меня, и грозиться языческими голосами: "Уг-ру! Уг-ру!"...

Хозяин гнезда, муж орлицы, сложил крылья и упал на лиственницу, сломал несколько веток, закричал гневно и, разъяренный, взметнулся над гнездом снова, а меня опахнуло горьковатым порохом перьев и дремотной сыростью природы...

Спасли меня ветви — длинные, гнутся, а не ломаются, гнутся, а не ломаются, и орел, беркут настырный, не в состоянии через них удар по мне сделать. Отсиделся я за деревьями. Орлы кружили, кружили, хлопали, хлопали крыльями, кричали, кричали, но я отсиделся за лиственницами, рассчитав момент, исчез.

Мать, подробно перечислив мне царапины на ушах, на бровях, на лбу, на руках и ногах, поняла: "К орлам в гнезда лазил? Долазишься — орлы не шутят!" К назиданиям матери присоединился отец: "Запомни, орел ошибается раз, второй — редко, а с третьего круга бьет в цель точно. Ружье тебе дать не могу, сам в лес ухожу!" Дверь хлопнула, отец отправился до вечера проверять делянки в тайге.

Но камень, диванообразный, с углублениями-сидениями, зовет к себе высотою и солнышком, ветром и мечтою: сиди, фантазируй, мечтай. И как не размечтаться? Вон в той пещере скрывался Пугачев от генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, а в той Салават Юлаев вместе с конем ночевал: от царской погони ускакал осенью... Да и Пушкин в унылой кибитке трясся по Куюк-горе...

На Урале даже ихтиозавры в пермских морях плавали. Ихтиозавры вымерли и превратились в холмы. А пескари, сколько хошь, лови — в жару, по калужинам и запрудам речушки. А в Москве:

— Маркофке, сесьдесят руплей!

— Хылеп, булошка, до тивятнасать руплей!..

Мальчик, мальчик, сирота городская. Папа твой спился или в Афганистане погиб за интернационализм. А маму твою лысый рыночник, отороченный лоснящимся мхом, к майке притискивает. А чем кормиться? Мама — лаборантка: химию на себе испытывает, а потом ею кроликов лечат... И ты — кролик.

И снова я очутился на лиственнице. И снова бросил орлятам крошки черного хлебца, как бросал им раньше, из ломтика скудно сбереженные. Орлята, слинявшие, почерневшие, заменившие пух на мягкие перышки, дремали, прижимаясь телами. Ели они мои хлебные крошки, не ели, я не знаю. Но бросил. Хотя, слышал я, орлы чужие продукты вышвыривают из гнезда беспощадно. Гордые. Слышал, мать сердилась: "Нет теленка покормить, а он хищников кормит? Подрастут и последнюю курицу унесут. Старые беркуты одолевают, а он молодых кормит, глупый!.."

Склонился я над гнездом, дунул на орлят, а они ласково: "Гр-у! Г-ру!" — паразиты, уже выучили... Может, пробовали кружить над Ивашлой, а я проморгал? Нырнул привычно по ветвям вниз и — был таков.

Миновал древний камень, овражек, разные кустики и выскочил на песчано-каменистую пологость: открытая и пустая. И почему-то вернулся к прочитанной книжке американца. Он пишет, вспомнил я, что орлы в Америке нападают на детей, шагающих вдоль трасс, и воруют, в небо уносят, разбойники. Американскому ребенку на стеклянной трассе не скрыться от орла, а на нашей — в любую канаву на дороге ляжешь — медведь мимо проскочит, не только орел. Да и пионер я уже, Гайдара изучаю...

Едва я подумал, как с головы моей со свистом свалился к ногам орел и, гремя крыльями, с разинутым клювом, тяжко взлетел. Я не успел испугаться, но чутко насторожился. А орел поспешно поднимался и поднимался в небо. Я стал следить за орлом.

И опять, едва я подумал об американском унесенном ровеснике, на меня ринулся орел, сшиб меня с ног. Сам опрокинулся, но, хрипя и роняя кровь из клюва, ринулся в мою сторону и круто, чуть ли не с хвоста, взлетел.

Тут я вспомнил и отца: "А с третьего круга бьет в цель точно!"... Из ладони у меня сильно текла кровь. Правое колено болело. Левое — вздулось. Орел долбанул, и я ткнулся в острый камень.

А разъяренная птица превратилась надо мною в точку, да в малую темную точку, в беркута. Из-за туч он и не виден. Он выше туч. Он дальше туч. Он прекратил бесполезную атаку и прощается с жертвой. Даже стихло в окрестности. Даже теленок наш, слышу с горы, мычит во дворе. Слава Богу.

И лишь потерял я точку в небе, как надо мною, почудилось мне, щелкнули и на мелкие каленые горошины стали дробиться камни, а дальний чащобник встрепенулся и побежал по косогору туда, к накрененным лиственницам...

Орел — повис надо мною, высовывая, как шасси, лапы и пошевеливая когтями. Глаза его, красные, вращались и вспыхивали, красные и дурные. Навис — и снижается, снижается. Камни шевелятся и трава, как суслик, свистит. Но грянувший выстрел отца спас мою душу!..

Орел перевернулся в воздухе, подскочил и, вертя клювом, попытался взлететь под гору, но поскользнулся и замахал, замахал крыльями, слабея.

— Ну, нагляделся на орлят?! — в упор спросил отец, бледный и возбужденный. Он вынул нервными пальцами патрон из дымящегося ствола и, зарядив, опять вскинул ружье: "Б-бах!" — покатилось по горам. Отец взял меня за голову, повернул к речке: — Глянь, орлица падает, от нее ты не увернулся бы!..

Живу я в Москве на Ломоносовском проспекте, а он упирается в Черемушкинский рынок, главный рынок ворья, мафий и голодных. Голодные, заляпанные грязью мальчишки и девчонки снуют между прилавками, заваленными вкусными соленьями, копче-

ными колбасами, айвою и кишмишем, и мороженым — по одиннадцать рублей!.. Дешевое, но где бедные ребятишки денег возьмут? И — крадут снедь разную.

Вчера гуляю я с ученым в окрестностях Черемушкинского рынка, про орла ему рассказываю, а он, орнитолог и морской акустик, рассказывает мне про рыбу "Аф-аф", выведенную в Америке скрещиванием икры сибирской щуки и семени калифорнийского сонного окуня: теперь новая рыба "Аф-аф" служит радиопеленгатором на военных кораблях у Европы...

Рассказываю ему про орлов уральских, а из толпы пулей вылетел мальчик, артист мой, чтец, со сверточком: крошка мяса ли в нем, яблочко ли, огурчик ли, но не мороженое, зачем его завертывать-то? А за мальчишкой — толстый мшистый кавказец, беркут, ножом блещет:

— Тержи ява! Тержи ява!

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

А ПО-МОЕМУ, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — хитрый. Особенно — москвичи. Любого бери — жулик. Правительство и так и сяк вертит, жмет, давит его, а он, глядь по сторонам, и — распрямился. Распрямился, крякнул — и за свое: картошку ищет подешевле, крупу без моли, а вместо масла — смазочный маргарин ест. Аферист.

В подъезде моем инвалид живет. Дядя Витя. Я, седой, называю его дядей Витей, сын мой — дядей Витей и внуки мои — дядей Витей. Вечный дядя Витя. И слава Богу. Это у руководителей, заведующих бань и директоров крупных заводов — Петр Петрович, Иван Алексеич, а у нас, грешных, — дядя Витя и все!..

Получит пенсию дядя Витя — гуляет. Сто пятьдесят рублей — за хлеб, тысячу — за лук и картошку, три тысячи — за сыр и масло, остальное — водка. Утром получит — вечером поет, ночью — плачет, а еще солдат, и через три дня — хмурый и молчаливый: ни гроша в кармане. Улетели...

Как жить дальше? И дядя Витя — изобретает. Долго лежит в ванне, упорно бреется, одеколонится, надевает чистую рубашку, с галстуком, пиджак приличный, и в аккуратно подклеенных ботинках — в очередь, хоть за чем: колбаса или сливки, хек или конфеты, персики или требуха — в очередь с утра, с открытья дверей, когда в магазине более или менее убрано и продавщицы пока трезвые, а потому и не опасные, не замахиваются тарелками из-под сдачи.

Ведь иногда продавщицы нападают на очередника и пинают его в бока модельными изящными туфлями, сшитыми в Армении и даже в Турции. Турция — богатейшая держава!.. Недавно дядя Витя встал в очередь за турецкими трусами — двести семьдесят рублей экземпляр. Стоит, а в кармане ни гроша. Стоит — и чувствует прибыль, пусть и рискует, надеясь, а люди исчезают перед ним и растворяются...

Продавщица подняла рыло, молодая, а уже неуклюжая, но на редкость толстая, уважительная:

— Следующий?

Дядя Витя и подхрамывает к ней, с палочкой. Рубашка чистая. Галстучек потертый, но честный, пиджак не украденный и не очень засаленный. Подхрамывает:

— Я!..

— Ах, вы инвалид войны?..

— Так точно, красавица, так точно!..

— А группа, не вторая ли?..

— Первая, прелесть моя, первая, палка со мной, а нога под Берлином!..

— Вам положено не одну, а десять пар. Завернуть?

— Завэрнытэ, мадам, завэрнытэ ему! — встрял иностранец, нахичеванец, манерный, — завэрнытэ, бальшой гэрой!.. Я с ним явилса помогать ему!

Продавщица улыбается, милая такая, выдержанная такая и видная такая, нельзя сказать, что толстая; не худая, конечно, но изящная девушка, улыбается и подает... Дядя Витя жмурит глаза, мгновенно потеет — и чек у него в руках, сунутый ему закордонным лукавцем.

На улицу иноземец ведет дядю Витю, поддерживая и креня его на собственное плечо, бабайчик, в джинсах и невероятно распроамериканской куртке, заплямбанной под полосатый флаг. Ведет. Выводит. Уводит за газетный киоск:

— Как зыват тиба?..

— Дядя Витя... Инвалид... Участник войны... Пенсионер... Рядом живу...

— Сыколькэ и-я тиба толжэн? Тэсять шытук по твести семдэсят руплэй пары, тэк?

Дядя Витя жмется, тушуется, наивный:

— Ну как по двести семьдесят? Я купил их по двести семьдесят!..

— Нэ ти купиль, а я купиль, тэк?
— Так... — соглашается дядя Витя...
— По тридцать руплей за шьпук идет?..
— Спасибо, милый! — благодарит богатого бизнесмена дядя Витя и получает триста рублей дохода за страдание в очереди и за ранение на войне. Операция повторялась: дяде Вите — "доход", продавщице — духи "Бис-Педро", а иностранцу — матрац, напичканный дефицитными трусами...

На войну дядя Витя попал случайно. С детства слегка раскосоватый и чуть-чуть хромоватый, он, симпатичный и откровенный, отвергнутый комиссией, пожаловался лейтенанту:

— Товарищ лейтенант, врачиха меня оскорбила!..
— Что, что?..
— Калекой записала, негодный ты, сказала!..
— А ты?.. Сколько тебе лет?..
— Семнадцать... Я добровольно решил, вот заявление!..

К вечеру их взвод, новобранцы, уже расположился под Москвою в бараке и принялся за обучение... На тридцатый день — в атаку. А на пятый год — ногу под Берлином оторвало. Закалился дядя Витя. В юности — симпатичный, добрый, смешливый, а в старости — горький, желтоватый и тяжелый.

Да и как не закалиться? Все инвалиды войны — закаленные, горькие и желтоватые. Не все, правда, в очередь за трусами турецкими стоят, и не всем по тридцать рублей за пару перепадает, но закаленные все... И дядя Витя снова — занимает очередь. Поднаторел. Иногда — несколько очередей сразу. Да и народ русский — очень закаленный: чистая сталь, хрустальное железо.

И народ — поднаторел. На протезе, с культурной палкой, в галстуке, дядя Витя, дураку ясно, не шулер, а третий к окошку, в кассу, а второй к прилавку — за вином или утюгами. Вьетнамцы, например, закупают наши утюги настырнее, чем, допустим, заморские азербайджанцы или путешествующие таджики; так хозяйски закупают, будто они в СССР входили союзной республикой тоже.

На утюгах дядя Витя грабанул полторы тысячи рублей, на электроплитках — полторы тысячи рублей, и с тремя-то с гаком да с поллитровкой возвратился, казак лихой, в дом, где ждали его друзья: один — без ног, обе потеряны на фронте, другой — без ног и без рук, на фронте потерял. Саша и Миша. Значит, в квартире у дяди Вити трое: дядя Витя, дядя Саша и дядя Миша. Последние двое — висят на широких плечах дяди Вити.

Работали они на фабрике инвалидов. Но фабрику приватизировал их заботливый префект, а им по чеку: пять тысяч каждый чек, на случай, если фабрика преуспеет у нового частного владельца, проценты побегут, а не преуспеет — храни на память интересную квитанцию... На ней и девка — рисунок — на пляже греется, дескать, вези ее на курорт...

А дом наш — советская громадина. Несколько дверей обрушено, несколько еще висит в подъездах, и люди довольны: обрушенные двери пропали, а висячие пока есть. Куда торопиться? И знают жильцы — дядя Витя оркестр содержит. Загуляет — и те двое гуляют. Голодает — и те двое голодают. Жен ни у кого нет. Безногий — балалаечник, безногий и безрукий — барабанщик, культями по бубну стучит, а дядя Витя — баянист. Двери дома обшарпаны, как в магазине, но деревянные, не кованые...

Эх, ты, читатель, читатель, ты, поди, ни разу не слышал этот маленький дружный музыкальный коллектив? Ты, поди, жуешь дешевое печенье и глотаешь дешевое мороженое, по тридцатке за пачку, на стадионе имени Ленина в Лужниках, оглоушенный шоу-рокерами, выписанными на самолетах из Америки, чертями черными. А вернешься к себе — жена оскалится: куда пропадал? И язык молочный прикусишь... А она: "Дыхни, чем пахнешь, ну?.." И дыхнешь, напуганный, а она: "Фэ, свинья!.."

А здесь, у дяди Вити в квартире, окно распахнуто, льется удивительная русская песня. Баян играет. Лады постукивают. Басы поддакивают. Звуки медовые, печальные, родные, журавлиные. А дядя Саша — на балалайке, на балалайке струнами перебирает, жалуется и ворожит. А дядя Миша — ух, ух, ах, ах, ой, ой, и опять локтями барабан под культи подсовывает.

И сидят они рядком на деревянной гнутой скамейке, деревенской лавке, в Москве сидят, в доме державном — окно распахнуто. Счастливые. А песня поднялась, покружилась на полу, встала у окна и через подоконник медленно, медленно перелилась, повисла над землею и спокойно, да цепко до слез, поплыла по двору:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там, в краю далеком,
Назовешь меня жаной!..

И закидывали головы инвалиды, солдаты, искромсанные вражьим огнем и родным ветром Родины, ее варварской бедностью, и ударяли по клавишам, по струнам, по барабану, стройно роняя голоса на баян:

Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далеком,
Есть у меня жана...

И слово "жана" долго они втроем выговаривают, произносят, утверждают, как прижимаясь, как молясь, как прося прощения, на "а", на "а" — есть у меня жан-а-а-а! А сами — одинокие. Жены побросали их, нищих и пьяных, в юности, можно сказать, побросали. Невеста дяди Вити, не дождавшись его, вышла замуж за азербайджанца, а у дяди Саши — укатила в Грузию айву кушать и персики выращивать, у дяди Миши — тоже какому-то братскому народу ребятишек нарожала.

Мечтали инвалиды, солдатики седые, пригласить бывших невест и жен с детьми в Москву, угостить печеньем и мороженым. На стадион сводил бы их дядя Витя, но печенье и мороженое, дешевые, опять подорожали, не купить, да и республики в суверенные регионы превратились: вон какая вражда кругом!.. Границы, таможни, и стреляют, хотя, в основном, убивают русских, но и они, чужестранцы с детишками, от маньяка не застрахованы... И доносится унылое, протяжное, русское, вечное:

Но там, в краю далеком,
Чужая мне не нужна...

А где эти чужие страны и эти чужие жены, невесты русские, где? Сидят три бобыля и поют, клоня обоюдно седые головы. Понемногу остывает баян, замирает балалайка, утешается барабан. Пустеет поллитра. Исчезают ломтики батончика, обсыпанные влажным сигаретным пеплом, как слезной золою, — всюду водка...

Нахичеванец Бабур-заде оказался деловым и строгим. Каждое утро стучался к дяде Вите, здоровался с его товарищами, а к девяти часам они вдвоем орудовали в московских преступных очередях. Дядя Витя занимал, махая палкой, а Бабур-заде расплачивался, едва успевая пробить чеки. Но в целом — привык и далеко не отставал от инвалида...

Но вчера дядя Витя развернулся и показал русскую смекалку и отвагу. Заняв очередь за канадским творогом, он тут же занял — за финской ветчиной, а заняв очередь за тунисской воблой, пристроился в очередь за венгерскими бобами, и сразу переметнулся в очередь за польской картошкой, а в соседнем отделе взял номер, его написали чернилами на ладони, за узбекской капустой... Программа ускорения заработала.

Продуктовый магазин огромнее дома дяди Вити и гораздо страшнее и грязнее. Полигон. Стекло треснутое, осколочное — на полу. Ящики из-под чешского сиропа валяются. Обертка от китайского мыла шуршит. И немецкая колючая проволока мотается на жестяных упаковках из-под капиталистических сосисок. Немцы, дабы русские на железной линии не разграбили, сосиски посылают, как псов-рыцарей — в латах... Камера, а не продуктовый магазин.

Да и Россию довершили, досовершенствовали: великая тюрьма народов. А на темени великой тюрьмы — демократы, розоворылые, похожие на коков, объевшихся подводным уловом. Запахали страну, милую Родину нашу. Дядя Витя и Бабур-заде давно поняли ситуацию в обществе и решали проблемы, не паникуя и не ошибаясь, точно, глубоко и с процентами.

Инвалид выныривал из толпы, передав чек продавцу, а продавец подавал товар Бабуру-заде и тот настигал дядю Витю у следующей толпы, ныряя в нее и, как дядя Витя, ловко выныривая. Пловцы не смогли бы с ними посостязаться. Дядя Витя и Бабур-заде заходили сзади толпы и прошивали ее до центра и, скопив на лету силы, ударялись лоб в лоб перед очумелыми от ярости и натиска энтузиастами перестройки...

Канадский творог ехал в угол, финская ветчина перегораживала ему путь, венгерские бобы, перепархивая по воздуху через творог и ветчину, опускались на кучу картошки и капусты, а за бобами — куски эстонского сыра, литовского масла, сетки украинской свеклы, на самогон хороша, мешки кубинского сахара, средние, и тощие болгарские куры, синтетические, но суп из них — с наваром и без отравления.

Дядя Витя у прилавка — инвалид. Очередь вновь распихивая и оря — инвалид, а мчась из толпы в свежую толпу — воробей: крылышками трепещет, чирикает, подпрыгивает, хромая, палкой подпирается и привзлетывает, приземляясь в рассчитанном заранее месте, у носа продавщицы. И она, хихикающая свинья, уже смеется и сладко жмурится: воробей вьется и титиликает. Чи-во, чи-во? А и продавщице перепадет, не святая...

Пот струится с дяди Вити. Бабур-заде вообще мокрый, словно ему присудили у нас, на Урале, в мартене, отвкалывать смену. Нежный. Порой Бабуру-заде, уморенному воробьиной проворностью дяди Вити, чудится: Бабур-заде и есть дядя Витя, но не инвалид, не хромает, без палки, и парит царственно, орлом гордым, над очередями и толпами в бескрайних залах продуктовых магазинов. Бабуру-заде мерещится: он распластался и высоко, высоко несет в Нахичевань дядю Витю в клюве.

Голубой ветер звенит на куполах и минаретах мечетей, а они с дядей Витей молчат, и облака уступают им пространство, посвистывая за ушами. Внизу — черные вихри взрывов бомб и снарядов, серая смерть убитых и багряная кровь раненых. СССР реконструируется, цивилизуется, а Бабур-заде и дядя Витя в Нахичевань летят.

Но перепоясанный по спине военной палкой инвалида, Бабур-заде очухивается. Карусель очереди учащает обороты. И дядя Витя, не сказочный октябренок, замечает: из мокрого Бабура-заде, мартеновца, вытряхивается качественный сухой Бабур, из Бабура — Бабурчик, из Бабурчика — Бабурчоночек, не ягненочек, и у каждого — чек, а чек им обеспечил израненный человек. И дядя Витя приказывает:

— Ты, пузан, рыночный партизан, складской тарзан, творог в машину, хреном об шину, да не затягивай! Ты, разинул зевало, усат, жирный, как бараний зад, ветчину в кузов, ну! Ты, Мансыр, капусту и сыр, картошку, свеклу хватай в углу, аглу?.. А ты, хмырь столичный, пакеда приличный, бобы, сосиски, сахар и миски, утюги и трусы, валенки и часы, картинки, ботинки под брезент кабинки, а я к шоферу и — деру!..

Интернациональная группа слаженным оркестром отчаливала, а за бортом грузовика ввинчивались экстремально раскаленные очереди в туннельные дыры продуктовых и промтоварных салонов, магазинов, ларьков и разных манящих точек спекуляционной удали. Компания, включая шофера, чувствовала над собою командирскую беспощадность дяди Вити и, конечно, восточную дипломатию Бабура-заде, начинающего иностранца.

Кроме Бабура-заде дядя Витя никого ни по имени, ни по фамилии не знал, иностранцы, и — достаточно сведений. Бабур-заде кроме дяди Вити тоже никого не знал из русских промышленников, даже шофера. Инвалид мягкий и стеснительный, но, как Бабур-заде, интимный и атакующе задумчивый: не намерен расширять ни сотрудничества, ни влияния. Маршрут и объекты известы, на практике оправданы — чего же нужно?

Деньги трудолюбивая бригада имела солидные. Никто давно не голодает. А Бабур-заде и дядя Витя зашиковали: Бабур-заде на бирже приобрел "мерседес", а дядя Витя заменил палку на трость и сшил себе костюм, подобрал туфли, плащ и шляпу, заменил дядя Витя одежонку и на друзьях фронтовых, дяде Саше и дяде Мише. Все довольны. Дядя Витя перестал появляться в очередях лично, а руководил на расстоянии. Иные уже солдаты, бойцы-фронтовики, инвалиды-ветераны выполняли указания и распоряжения дяди Вити, куда встать, где за чем очередь занять, кого пригласить, кому подмазать, с кем разделить...

Но грузовик и шофер по-прежнему находились в поле зрения дяди Вити. И лишь Бабур-заде, нахичеванец, отныне встречался только с дядей Витей и только с дядей Витей. Ни магазин, ни киоск, ни базар, ни рынок его не интересовали. Бабур-заде немножко похудел, немножко подрос, немножко утончился, обинтеллигентился, и акцент словно кому продал по дорогой цене: шпарит, как преподаватель по литературе: "Привет, Витя, как перспектива и прочее?"...

У Бабура-заде вдруг зафонтанировало призвание — поклонение искусству, особенно музыке. Он засиживался в квартире дяди Вити, заслушиваясь горькими русскими песнями. Дядя Саша и дядя Витя льнули к нему и ночами, без него, удивлялись: "Х-х, русский и русский, чуть не утирает щеки, волнуется, о чем-то соображает и мучается. Иностранец, а порядочный, не из капиталистов, и нас не обижает!"

А Бабур-заде, преподаватель музыки по профессии, испытывал стыд, осязая "домашние концерты" у дяди Вити. Хромые, культяпые, безногие, а мехи и барабаны, струны и голоса у них — очаруешься, загрустишь, заскорбишь, замечтаешь и взреешь могучим орлом над голубыми нахичеванскими минаретами и куполами древних мечетей. Голубой ветер грудь твою и крылья твои запружит. А голубые небеса просияют и скатится в голубую долину ласковый и голубой дождь...

Но русская песня "Миленький ты мой, возьми меня с собой!" проникает в цветущее сердце Бабура-заде, задерживается там, и золотою горячей каплей жжет. Слезы накипают, мысли мрачнеют, дыхание пресекается, и люлька маленького Бабура качается, качается, и русская, раскалывающая горы Азербайджана тоска матери звучит:

Спи, усни, сыночек мой,
Не вернемся мы домой,
Разлучила нас война
И чужая сторона,

На Россию посмотри,
Где ее богатыри,
Заросли поля и реки,
Дети, вдовы и калеки
Взяты голодом и тьмой,
Не вернемся мы домой...
Друг кому, и брат кому,
Может, Богу одному?
Спи, сынок, расти во сне,
Страсть — отцу,
мученье — мне!..

Маленький Бабур обожал маму. Глаза мамы подарены Аллахом: пиалы, налитые голубым небом. А волосы — из золотых дюн Аллахом сплетенные, и потому длинные и шумят. А лицо маме луна дала. Белое, печальное. И в лунном лице мамы, догадывался маленький Бабур, прячется ее горькая русская песня, которую мама напевает Бабуру перед сном, укладывая его в колыбель и прощаясь до завтра с ним.

Но страсть отца Бабура — короткая: крупный инженер сгорел в пожаре нефтяных промыслов. А русская мама с маленьким Бабуром затерялась в Нахичевани. Играя на пианино, мама рассказывала повзрослевшему Бабуру о Москве, о военном времени. И когда Бабур сделался Бабуром-заде, мать призналась ему, сыну, в истине.

Жених мамы, русский жених, рассказывала она, погиб под Берлином. Танкист Виктор Орлов. Командир. И с Виктором погибли в танке Саша Голубев и Миша Золотов. Друзья. Добровольцы. После присяги — в атаку, а после атаки — в училище. Виктор — чуть раскосый, с того и был зорче всех в классе и храбрее всех. Мама прочитала об их гибели в "Комсомольской правде", газета сообщала о москвичах, беззаветных воинах...

У мамы Бабура и отца его долго не было детей. Бабур перед гибелью отца родился. Жених мамы погиб. Муж мамы погиб. А Бабур выжил. Жених был, муж был, а Бабур-заде есть. Поэтичный — в отца. Жалостливый — в мать. И глаза — пиалы с голубым небом. А волосы — из золотых кос матери взошли и загустели на умной голове Бабура-заде... Мир у Бабура-заде — голубой.

Случайность — не одинокое существо. У случайности всегда найдется еще случайность. И соединение их — трагедия или счастье, но нейтральных результатов не получается. Дядя Витя, реализуя "прибыль" за турецкие трусы с Бабура-заде, радовался честному заработку и возможной кормежке Саши и Миши, а Бабур-заде радовался перепродаже трусов авральным скупщикам, саранчою жужжащим по Москве и пожирающим товары.

И признается Бабур-заде себе: голубой цвет, русский цвет, через этот цвет матери Бабур-заде нахичеванский край голубым представляет. И замечает Бабур-заде: Россия — голубая страна. Трава с утра в России зеленая, зеленая, а к вечеру — голубая. И березы, Бабур-заде видит: на заре — белые, белые, а к вечеру — голубые. Рассвет — голубой в России, вечер — голубой, а полдень, как волосы мамы — золотой!.. Что за страна такая горькая и красивая — Россия?

Вот как-то они, дядя Витя, дядя Саша, дядя Миша и Бабур-заде, сурово сдвинули стаканы и выпили, еще сурово сдвинули и еще выпили, и еще сдвинули и опять залпом выпили. И — все поняли: то ли — письмо от мамы Бабура получили, то ли Бабур-заде, захмелев, распахнулся им, ком горя выплеснул или букет голубых цветов на отшельнический стол инвалидам поставил — не определить. И засобирались они в дорогу, все вместе и в одну дорогу засобирались...

Ты полагаешь, уважаемый читатель, я — жестокий человек и не люблю русских? Нет, я люблю русских не меньше тебя, а может быть, и побольше... Но я приехал в Приднестровье, там русские молдаване на русских тираспольцев нападают. Приехал я в Карабах, а там среди русских армян снайперы прицеливаются в русских азербайджанцев. Вот и суди, кто я? Чего мне в Москве околачиваться? Сражение пылает между братьями...

Или же, читатель мой, сосед мой российский, тебя и меня прохвосты за нос цапнули и водят? А от имени русских вся нечисть обманывает, грабит, кровавит и в зарубежный рай саранчой уползает? Ну, как ты мне ответишь, засомневался? Сомневайся. А в Бабуре-заде русская боль пробудилась: языком заговорил материнским. Смычок взял. О, если бы он, Бабур-заде, не дирижерской палочкой, не тростью, а палкой, фронтовой, сучковатой палкой, съездил по физиономии того русского генерала, кто повинен в русской беде, если бы съездил!..

Дети русские сиротливее и сиротливее — нет у них ни братиков, ни сестренок: родители увеличения семьи боятся, ребятишек пугаются. Но Бабур-заде не съездит по русской роже русского бая, предавшего Россию. Бабур-заде соглашение финансовое с благотворительной фирмой ООН отпечатал и проштамповал: поставлять в зоны

баталий оркестр инвалидов и дирижировать им, пособляя виртуозной скрипкой. Фирма обязалась авторитетно оплачивать артистам и афишировать их.

Где не ценят русской песни и русского героизма? Даже у себя, в Москве, неплохо принимают... Префект, приватизировавший фабрику инвалидов, приехал к дому проводить инвалидов. Жильцы дома высыпались, как немытая картошка из ведра, во двор. Бабур-заде подрулил на своем "мерседесе" и дверцы отворил, багажник открыл. Из дома, последними, выкарабкались дядя Саша и дядя Миша, понукаемые дядей Витей.

Лавку ихнюю вытащил. Рядком усадили. Дядя Витя — с баяном. Дядя Саша — с балалайкой. Дядя Миша — с барабаном. А Бабур-заде — с дирижерской палочкой. Насторожились и они и народ. А над домом, в голубом небе, солнце загорелось. Красное — сердце и сердце. Загорелось, и все видят, как оно бьется, бьется, красное и пойманное русской неволей... Бедою.

А префект, в костюме, чуть-чуть получше, чем у дяди Вити, в рубашке, чуть-чуть получше, чем у дяди Саши и у дяди Миши, произнес, вышлепывая и надувая губами уютные фантастические пузырики:

— Наши инвалиды в боевом строю. Хвала и почет им, слава несгибаемым солдатам России! Пусть едут в горячие точки планеты и пропагандируют наш образ жизни, наше демократическое искусство!

Префект запнулся и стал походить на премьер-министра Гайдара. Лысый и проницательный, как Владимир Ильич Ленин...

Мелькнула дирижерская палочка. Вздохнул и развернулся баян. Глухо заворковал барабан. И потихоньку, приподнимаясь на цыпочки, выпрямилась и зазвенела песня. Знакомая, родная, зовущая русского человека рыдать и честнеть, каяться и прозревать:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там, в краю далеком,
Назовешь меня жаной.

Люди стали переглядываться и жаться ближе плечами, как душами коснулись иной души, пока неведомой им, но благородной и серьезной, не разрешающей никому отвергать колыбель и слезы матери. Зачем эти слезы, голубые, как небеса, клубящиеся здесь, над обшарпанным домом, и там, над голубыми куполами Нахичевани, беспокоят нас? Значит — мы виноваты перед ними, мы, русские...

Баян звенит, балалайка жалуется, барабан ворчит, а три голоса, доблестных, солдатских, дрожа и похрипывая, дотягивают:

Но там, в краю далеком,
Есть у меня ж-а-ана!..

У кого из них есть ж-а-а-на? Бобыли несчастные. Есть мать Бабура-заде, седая старуха, забывшая Москву и помнящая сейчас лишь русскую молитву:

Господи, господи,
Прости меня, грешную,
Рабу твою.

Есть "мерседес", во дворе стоит. Дверцы открыты, а багажник уже закрыт. И есть светофор — за домом. Посередине проспекта светофор дежурит. Едва заслышит он грустную песню инвалидов, заморгает, заморгает и даст им зеленый свет... А ночью, осенней и темной, пробежит по двору серая кошка дяди Вити, забытая им, поскребет, поскребет лапой дверь и сгинет в каменных джунглях неприступного города.

И только до робкого всполоха зари, как паутинка, робко и ненавязчиво будет в покинутом подъезде тянуться и рваться последняя надежда канувших:

Но там, в краю далеком,
Есть у меня ж-а-ана!..

В МОРОЗ

ГРУСТНО В ДЕРЕВНЕ ЗИМОЮ. Улица пуста. Длинная, тихая. В середине два дома и в конце, один — справа, другой — слева. Четыре двора. Да толку-то в них? Старухи.

Молодого веселого лица не встретишь. А вечерами — ни огонька. Электричество не работает: монтеры напиваются к четвергу: ночь — до субботы...

Вечером — ночь. И ночью — ночь. Ели — белые. А за елями — кладбище. Кресты белые — в снегу. Страшно. Ни вскрика, ни смеха ребенка, а о песне и забыли мы. Когда ее слышали? По радио — Аллы Пугачевы шарахают, растрепанные, а доброй нет, заморили. Глухонемые.

Потому и задержаться в деревне, усталому от города, желания нету. Сиди — читай газеты. А в газетах — рынок, рынок, рынок, а заглянешь на рынок, там прелобокая картофелина лежит за рубль пять копеек штука. Угробили Россию пираты-демократы. Угробили.

Плюнул я на природу — и на вокзал. Есть хочется. Поговорить хочется. Но — голодно. Но — безлюдно. А мороз названивает ледком на пруду. Потрескивает сучьями в рощицах. Дышит, как погубить собирается — мурашки. Иду. Снег под ботинками "кри-и-к", "к-ри-и-к!"... И что вы подумали?

На вокзале, на перроне, свадьба. Не вытравить русский народ ни перестройкой, ни приватизацией, ни плюрализмом. Щелку найдет — весь туда вытечет, но живым останется: мори — не мори, коммунисты капиталистические!..

У гармониста — рожа красная. Пальцы — красные. Глазища — красные, с похмелья сволочь, а наяривает: стон и гром до Москвы катятся. Бабушки, подбодренные самогоном, по кругу шевелятся, значит, танцуют, дед бородой водит, петух кургузый, и молодых с десяток, но уже без невесты и жениха — отгуляли, возвращаются к уничтоженным деревням и пустым избам... Дед и бабка — с нашей улицы. Анна и Евсей.

Красноrожий гармонист выделывает ногами па, вертит гармошку, меха цветастые, лады белые, ремни черные, наяривает, сволочь, "барыню", на морозце-то в самый раз. А перед гармонистом белочкой, в серой дешевой шубке, подскакивает тоже красноморденькая бабенка и алюминиевым тенорком попискивает, пуховыми варежками у себя перед носиком взмахивает:

Демонстрации и путчи,
Злые толпы у границ,
В ФРГ ты — немец лучший,
А в России — худший фриц...

Небольшая компания, но свободная и подвижная. Шумят. Галдят. Перебивают друг друга. А за бабенкой, белочкой, за серой шубейкой, увалень по-медвежьи косолапит и частушками угощает, за ней, за ней тянется. Пальто — нараспашку, немодное, но добротное, из шинели афганской перешитое. Сейчас из чего хочешь нашьют: заваль и старье спонадобились. Переваливается, круглый, чесноком пахнет, смугляк, окорок этакий:

Черти ленинцами стали,
Надоело — отреклись,
Всю Россию распродали,
В демократы подались.

Кружатся, догоняют в танце он ее, она его, обнимаются, целуются и опять — в работу. Явно — не муж и не жена: обнимались бы разве? А тут любовь показать СНГ решили. Догоняют, разбегаются, и она подвизгивает дальше:

Гитлер флага кумачева
Не терпел — и пострадал,
Подождал бы Горбачева —
Он бы так страну отдал.

Но врывается, со стороны как вроде, а на факте — из компании, приблатненного образца парень, улыбается золотым ртом, горят золотые зубы, то ли материнские-то вышиб кто, то ли получает огромадную деньгу — пофорсить вставил, шикует: горят и вместе с ним празднуют, сверкают маняще зубы. Но молчит. А круглый, окорок, басит из-за его спины:

Нет ни курицы, ни утки,
Скоро с голоду помру,
А кремлевские ублюдки
Жрут пайковую икру.

Приблатненный лупит, приседая, по блестящим голенищам сапог, развевая желтую синтетическую куртку и, запыхавшись, улыбается, но гнев искрами пробегает по ще-

кам, подергиваются губы, парень внезапно замирает, но продолжает улыбаться... Добрый.

Мороз наседает, чуть ветерком сизоватым сибирит, электричка запаздывает. И покачиваются на бетонном перроне разные всполохи одежд, небогатых, но сильно хмельных и решительных, похожих на волевое нападающее пламя. Хмель самогонный. Хохот. Робкая брань. И гармошка. Звенит. Рыдает. Зовет. Плачет. Тоскует и жалуется. Краснорожий гармонист не выдерживает и рявкает:

От бесхлебья и от СПИДа
Погибать я не хочу,
Завтра главного хасида
За тютюльку ухвачу.

Нет на иродов закона,
Как начальник — так грозит,
Натяну ее до звона,
Пусть повоет паразит!..

Бабенка вскидывает пуховые варежки, белочка и белочка на задних лапках, эротически дрожит и катится. Гости, родственники, овеваемые духом недавнего застолья, одобрительно подхлопывают ей и гармонисту. У гармониста от удовольствия рожа еще значительнее покраснела и обмякла. А золотозубый щеголь наблюдает. Белочка нравится ему. Но пока — без драки. Наблюдает.

Сумерки. Мороз. Ветер. Электрички нет и нет. Привыкли — не ждут скоро. Пятнадцать лет назад через каждые семь, девять минут стучали, а теперь отменяются и отменяются, да и подоспеют — тащатся два часа до Москвы. Забуксовали.

О, как мы сумели унизить человека! В городе квартира рабочего — голая. Шкафчик, тумбочка, стульчик, плащ, фуражка, туфли и опорожненные бутылки на кухне. В избе крестьянина — не богаче. Но есть — богатые, в городе и в селе, есть. Да не они родят, не они служат в армии, не они взмывают на истребителях, курсируют на подлодках, громыхают на танках.

Народ едет, летит, плывет. А народ — измучен. Иссяк народ русский. Разуверился и замкнулся. Жили — походами. Строили — коммунами. Воевали — миллионами. Разбросались. Китайцы — плодятся. Японцы — плодятся. Немцы — плодятся. А русские?

Русским Ленина подарили — и вперед! Сталина подарили — и вперед! А Горбачев ухватился за торговую дверь и давай нас в рынок заволакивать, побагровел от натуги, а прет. А какой русским рынок? Борова откормил дед Евсей, инвалид, сосед мой, выхолил, нож точить в цех районный отправился, а здесь и подоспей кавказцы на автобусе: надели борову на башку завалящую шляпу, усадили в салон свинью и увезли. Дед нож наточил, возвращается. Бабка — у колонки встречает. Неделю пугалась — мухлевала. После открылась деду, а боров испарился. Ищи — на каком рынке торгуют, гады?

Замкнулся народ. Родит — тайно. Регистрирует тайно. Боится — разоблачат? Детей — воруют. Кур — воруют. Собак — воруют. Даже борова — увели. Посадили в салон автобуса и укатили.

А дикторша телевидения сладко жмурится: "Президент Ельцин, президент Ельцин!"... Замкнулся русский народ. Свадьба — на перроне. Гармошка — на перроне. В городе — теснота. В деревне — глухота. Куда русскому человеку податься? Боров и хрюкнуть не успел: поддали газу и привет!.. А дикторша потягивается: "Президент Ельцин!" Дармоедка.

Застонет под окном вьюга. Замелькают белые вихри, кинутся по белому полю гривами трепетать — сердцу больно, грудь наливается негодованием, а на кого? Виноватые — где? Да и не пора ли на себя оборотиться? Виноваты — виноватые, а мы, безвинные, — безвинны? Хочешь укрепить волю — обнаруживай в себе слабости и не кичись храбростью. Хочешь мудрым прослыть — не торопись с глупостями.

Судьба у лидера и у животного складывается на разный манер: о Михаиле Сергеевиче поют на свадьбе, а Никиту Сергеевича, хряка, кавказцы зачистили. Особый рок. Не зарекайся от сумы и тюрьмы.

Дед любил выпить, а борова звал Никитой Сергеичем. Кормил — сам не доедал. Никита Сергеич передними копытами просовывался в дощатый забор и придремывал, осев задом на кучу навоза. Башка на солнце — дремай. А против перегрева дед шляпу на башку борову нахлобучивал, ветхую, но волосяную и тяжелую. Никита Сергеич преображался и заистуканивался. Словно о нашей перестройке задумывался...

Бабка, подруга помершей жены, помогала, подпитывала Никиту Сергеича помоями. Оба мечтали торгануть мясом и, хоть на краю пребывания на свете, золотые зубы

вставить. Железные вставляли — ржавеют и ломаются, а золотые — золотые, на худой конец и в ломбард сдать сгодятся. А чё?

Бабка и дед попали на свадьбу — родством связаны со всей свадьбой почти. Детей-то у них под Берлином закопали, а им в их деревне, перед окнами, пирамидку соорудили: а мы власть хаем — поминай и ухаживай... Могилка, считай, на дому...

Золотозубый парень — немтырь. На Колыму угодил за безобидную кражу: корову колхозную клево продал. Продал — и украл. Опять продал — опять украл. А на Колыме охранник помял его — тот и онемел. На свадьбе, вольный казак, а молчит. Бабке интересно: сколько зубы золотые стоят, а он молчит...

А борова-то подхватили два кавказца под руки, шляпу на рыло навинтили и втроем смылись. Дед явился — ни шляпы, ни борова. Но мог же Никита Сергеич отлучиться по своей инициативе? А бабка лежит в углу, платком замоталась, крестится:

— Вижу, повели Никиту Сергеича!..

— Кто повел? — допрашивал зашедший к ней дед...

— Двое, с Капказа, подвели к автобусу, сели и втроем уехали... Я через форточку зыкнула и дверь заперла...

Деда зовут Евсей Евсеич, а бабку Анна Перфильевна. В девичестве Аня приударила за Есей, Евсеем Евсеичем, ладный в молодости-то был, да и жена Евсея Евсеича, тоже Анна, Аня, красавица была, невеста — укусит и не мигнет: оттерла Перфильевну, замуж вышла, окольцевала Есю. А Есе та — Аня и эта — Аня, балбес...

У Перфильевны не только дети, муж погиб под Москвой. Бобылиха. А тезка ее, Аня, прожила век с Евсеем Евсеичем и умерла в прошлом году, неся ведро помоев Никите Сергеичу. Надорвалась на колхозных путях счастья. Намерилась на борове денег раздобыть: мясо дорогое — колечко купить, золотое, похожее на колечко, подаренное Есей, женихом еще. Колечко за хлеб промотала, когда Евсея Евсеича из госпиталя на костылях прислали к ней в сорок пятом... А подруге и мужу — золотые зубы поставить.

Умирала и просила присмотреть за хозяином Перфильевну: "Я тебя не ревную, а Евсей, одинокий, в скуке задохнется. И могилки посмотри, Анюша!"... Анюша смотрит, но не руководит Евсеем Евсеичем: чужая, а не собственная ему жена, да и любовь крутить опоздали на полвека. И — обелиск под окнами...

Милые деревенские бабушки и дедушки. Бабушки пока существуют, а дедушки прошумели храброй юностью, как шумит ветер дождем, и растворились в русских туманах, а, может, в слезах русских?..

Русская семья накренилась переполненной чашей, накренилась и перевернулась — сухо на дне. И рожать некому и не для кого: изверги нас истребляют, терзая и унижая.

Приехали внезапно кавказцы. Арестовали борова, Никиту Сергеича, как в тридцать седьмом, и повели. Бедный, оглянуться на Перфильевну хотел, проститься, а они палкой ему по шляпе, толкнули в спину, завыли, шакалы, мотором.

Автобус под американским флагом — полосатый. Флаг ихний — главный флаг у нас: умалишенные и те его знают. В колхозе поросят ветеринар пытался произвести, мастью под американский флаг, полосатых, лабораторию спалил, а самого в спецклинику упекли, но не кавказцы, а районные уполномоченные, беда: спятили на заморской гордыне!.. Американцы в Москве, поди, в Мавзолей Ленина поспешили, а кавказцы хап у них автобус — и за боровом. Пигмеи. А не на профилактику ли пригласили Никиту Сергеича? И к свинье интерес возникает.

Гармонист теребит гармошку. Гармошка брызжет цветастыми мехами и звенит, звенит. Парень, косолапый увалень, отек — утирается, а белочка сняла пуховые варежки, взяла у него платочек и ласково с полувыбритой хари свеевает, свеевает соринки. Любит.

Золотозубый наблюдает. Припустясь давеча за бабенкой, он еле, еле догадался: белочка кокетничает с ним, тюремщиком, а душа ее у косолапого брюхана. Золотозубый знает: миниатюрным бабенкам — гориллы нравятся. А он щуплый, наивный тюремщик, в желтой синтетической куртке.

Но тюремщик он — порядочный. Не раздевал, не резал, не убивал крестьян, в Москву грабить не наведывался. Не поджигал. Жил своим трудом: на рога буренке петлю — и на базар. Продал — колхозную. Хобби. Попал. Передоверился корове и себе. Продал — украл и опять продал и украл, а она, дура, к социалистическому подворью льнет.

Золотозубый — интеллигент. Из-за бабы драться не станет: мужчина обязан прощать женщине капризы, но косолапого, конечно, пырнул бы и ту петлю ему на рога, а лучше бы аркан — и в тайгу. Но дальше приятной фантазии золотозубый не проучит. Жаль — частушек не может петь: немой. Хотя вряд ли — немой. Прикидывается парняга: участковый милиционер плюнет и устраивать его на должность подразочаруется. Золотозубый химерничает, а увалень с белочкой топчутся.

Родина моя странная, ничто тебя не утешает: ни предательство правителей, ни голод, ни войны. И даже масляных блинов и гривастых русских троек мало тебе. Революцию заквасила и слизала ею деревни, а города вздыбила, тюрьмы и санатории соорудила: нет города в России без тюрьмы и психбольницы, а сельского совета без милиции...

Храмы твои — в грудах кирпича лежат. Кресты сбиты с куполов и в многослойной пыли замурованы, а на холмах, в просторе, и на площадях, в столицах, памятники бронзой гудят, чужие и непонятные, лишние в государстве и в семье...

Жалко мне людей. А может — себя в них жалко. И то и то не одинаково ли? Вымирает русский народ. Вымирает — и не успокоится: пьет, пляшет, поет. Мороз ему — не мороз, а ветер — не ветер. Когда-то, при царе еще, такое лихачество — от буйства и удали в нем клокотало, а ныне — от предчувствия погибели, да и не лихачество это — скорбь, протест плененных...

Гармонист. Бабенка. Увалень косолапый. Тюремщик золотозубый. А электричка опаздывает и опаздывает. Борову же — автобус подали! И цепляются чьи-то строки, давно забытые мною:

Тройка-Русь, нам трюки эти
Надоели по стране,
Горбачев сидит в карете,
Гоголь плачет в стороне.

Да и сидит ли Горбачев, сидит ли в карете? На скаку выпрыгнул и перебрался, опираясь на мафию, в бронированный кадиллак... Дед, гнутей серпа, бабка, горбатая, клюнули самогона. Бабка долбит и долбит золотозубого:

— Шолотые? Все шолотые? Кажный, кажный, и шолотой? — Парень молчит. — Кажный шуб шолотой, а, шынок? — бабка не отпускает парня, шепелявит. Тот молчит, жмурится, а бабка нажимает на него: — Ну, кажный из щишштого шолота, а, шкажи, кажный и все шолотые, а?

— Да, золотые, колымские! — заорал парень, и в ладони: — У-ха-ха-ха!

КАРЛУШИХА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОССОВЕТА, районный депутат Шляпников Гаврил Гаврилыч устал от должности, от народа, а главное — от перестройки. И хотя на вид он кажется невероятно политическим, несколько раз арестованным и реабилитированным, Гаврил Гаврилыч не судим, не штрафован, и ему еще нет шестидесяти... Просто — умница, государственный человек, вот и летят на его благородное очкастое лицо антисоветские морщины... И приватизация дергает поселок Красный Октябрь.

О приватизации Гавриле Гаврилычу намекала и Карлушиха, ворона, хватающая мысль с полуслова, гораздо точнее и догадливее жены. Жена Дарья пока развернется, а ворона уже — на мази. Сядет на краешек стола и: "Ты за приватизацию? Ты за приватизацию? Кар-р-р!" И улетит до ночи блудить по мусорным свалкам и чистым росным лесам.

Не ожидал Гаврил Гаврилыч подлости от Карлушихи. Появилась она, сирота, у них во дворе три года назад. С березы упала и осталась. Может, голод почуяла, перестройку? Откормили. Похорошела и нос кверху.

Бывало, жене-то с Гаврилом Гаврилычем сидеть некогда, и сидит у него на плече Карлушиха, кивает, кивает. Милей жены Дарьи. А Гаврил Гаврилыч листает очередные постановления ЦК КПСС — о повышении идейности и урожайности. Сидит и кивает.

А вот предала: "Приватизация, приватизация!" И гуляет по забору, курва. Разве не выстрелишь? А ружье — ружье. Теперь без ружья в любую ночь застанут тебя грабители и ухлопают за бульон в кастрюле, за батон хлеба! Укокошат — держи ружье и патроны под боком. Мимо окон поют, откуда-то нагрянув:

Я тебя, обмылок старый,
За крупинку сухаря
Кину в озеро без тары,
Как ребенка Октября!..

При Сталине разве бы запели под окнами против Революции? Запеть бы, может, и запели, но докончить не успели бы, точно! Сейчас если тебя не судили — ты скверный

человек. Каждый должен иметь хоть небольшую, но судимость — новое мышление. Не воруешь — мухлюешь: не поддерживаешь, значит, демократию?

Дарья, сельская дура, районная ворона, еще и глупее домашней Карлушихи: "Гаврюша, а ты и воруй маненько, чтобы тебя люди-то хорошие не корили. Все же не могут быть плохими, кто честно ворует, а ты один, кепеэсесник, выискался, мутишь воду!.."

Гаврил Гаврилычу было семнадцать — Сталин умер. Реветь начали. Ревели, ревели, потом Хрущев облил Иосифа Виссарионовича такими съездовскими помоями, до сих пор генералиссимус не отмылся, а партия и отмывать гениального генсека не собирается, у самой рыльце в пуху. Фильмы тогда пошли о Никите Сергеиче, пьесы, романы. А позже как двинули по Никите, кукуруза кое-где в Подмосковье до сих пор шелестит, а Хрущева днем с огнем не найдешь. Ветром смело трибуна.

Состарился Гаврил Гаврилыч между вождями, не успевая нормально проститься с ними. Как-то везут Гаврила Гаврилыча на совещание агрономов-передовиков, пышно везут: один он сидит в черной "Волге", рядом шофер и только. Везут Гаврила Гаврилыча из Апрелевского райцентра в союзный центр, в Кремль. Навстречу поезд Брежнева.

Черная машина, вторая черная машина, обе громадные, кованые, третья машина, а по бокам еще две, кованые, черные, а чуть наискосок еще одна, черная, кованая, на случай — таранить террориста или шпиона-лазутчика. А у Гаврил Гаврилычевой, этой "Волги", заекал, заекал мотор с перепуга, и давай хихикать посредине трассы, хи-хи, хи-хи, а не заводится... Шофер белый. И Гаврил Гаврилыч белый, и капот, так показалось Гавриле Гаврилычу, белый... Хи, хи, хи, хи!..

И вдруг вторая, черная, кованая, оттолкнула первую, черную, кованую, но не она, а третья, черная, кованая, рылом в рыло наехала на "Волгу"... Ужас. Опало стекло и высунулось из кабины лицо не лицо, а физиономия, большая, красная, опухшая от общенародной нежности к нему и снотворных таблеток, голова Леонида Ильича Брежнева:

— Ты кто?..

— Агроном...

— Почему не сворачиваешь, в очках?..

— Мотор заглох...

— У меня тоже глохнет мотор!.. — он показал пальцем на сердце...

Охрана, десятка четыре, прихлынула и отхлынула, прихлынула и отхлынула. Машины, черные, кованые, рыкнули и понеслись мимо потрясенного Гаврил Гаврилыча и несчастного агрономовского шофера.

Но на совещание Гаврил Гаврилыч не опоздал. Правда, в Кремле, в Георгиевском зале Брежнев в президиуме не появился. А месяца полтора спустя помер. А при нем-то: "развитой социализм, развитой социализм," как при Сталине — "счастливое детство, счастливое детство", а при Хрущеве — "кукуруза, кукуруза, кукуруза!"...

Не старый еще Гаврил Гаврилыч, а чудится ему — прожил он три невероятно великих и длинных эпохи, сталинскую, хрущевскую, брежневскую, а теперь: "приватизация, приватизация, приватизация!"... Раньше — кулаков гнали и стреляли, кому где взбредет, а капиталистов на листовках и разных плакатах рисовали черными, пузатыми, как те кованые машины...

Утром вызывают в райисполком: — Как приватизация, Гаврил Гаврилыч? — В обед вызывают в горисполком: — Ну, как приватизация, Гаврил Гаврилыч? — Вечером вызывают в облисполком: — А как приватизация, Гаврил Гаврилыч?..

Приватизация — не социализация, а капитализация, размышляет Гаврил Гаврилыч. Вчера заявился к нему из Москвы Капур-агай Шемет:

— Моя хочу приватизацию кушать, баран-овечка содержат, пастух нанимался, причем и я байдет!..

Удостоверение вынул. Главный инженер по бартеру при столичном кооперативе "Люся"... Конфеты изготавливают на бельгийской обертке — "Распакую и такую"... Развратник. Показал удостоверение Гаврил Гаврилычу, столичный интеллигент, русский предприниматель Капур-агай Шемет, пожал надежно руку и пропал, забыв квадратный чемоданище... Нет и нет Капура. Пригласили милицию, вскрыли — чемодан набит шоколадом, коричневым, высокосортным... Приватизация?

А сегодня — открывает дверь кинорежиссер, Абрам Иваныч Дрозд, открыл и замитинговал:

— Я заслуженный человек, я режиссер компании "Американ-шлём", я снимаю фильм о Кутузове на полях вашего колхоза, я вас уважаю и прекрасно характеризовали вас крестьяне! Я с ходатайством из Верховного... — И: "Пгиватизация, пгиватизация, пгиватизация, не меньше гектага!.." Еле отстал до следующей пятницы, но отстав, пригрозил свежим ходатайством.

Приходит домой Гаврил Гаврилыч, а у жены глаза сияют, на столе японский

телевизор "Таки-таки", жена, захлебываясь благодарностью, сообщает: дескать, киношник подарил тебе за поддержку их курса на приватизацию. Рассказывала жена, путая приватизацию то с парторганизацией, то с декорацией, то с прострацией — соседка убежала от мужа, а врач обзывает ее прострацией. А на краешке стола Карлуша:

— Дура, кар-р!

— Молчать! — цыкнул на нее Гаврил Гаврилыч.

И ничего бы — выдюжил. Но поздно, уже, можно сказать, ночью постучался к Гавриле Гаврилычу муж сбежавшей соседки:

— Гаврил Гаврилыч, дай на бутылку, приватизация у меня!

— Какая приватизация, да у тебя?..

— А ты, мать твою под задницу, не читаешь Михаила Сергеича, что в его речах? Приватизация, приватизация, приватизация, приватизация!.. — Муж соседки замахнулся на Гаврил Гаврилыча пустой бутылкой. Но поняв, как быстро Гаврил Гаврилыч шарит деньги по пиджаку, улыбнулся:

— Землю покупаю, жить широко желаю, потому, извини, лаю!..

Вернувшись, Гаврил Гаврилыч включил, было, тихонечко приемник, а в приемнике: "Приватизация, приватизация!".. Гаврил Гаврилыч выскочил во двор — прогуляться решил, а на заборе поселка Красный Октябрь ворона, родственная их Карлушиха: "Приватизация, приватизация, приватизация!"...

Карлушиха подпрыгнула на жерди и вновь, почти в очки Гаврил Гаврилычу: "Приватизация, кар-р! Приватизация, кар-р!".. Взгромоздилась, поводя крыльями, повыше.

Гневная кровь плеснулась в щеки Гаврил Гаврилыча. Он стремительно шагнул в сенцы, схватил "переломку" и выстрелом смахнул Карлушиху. На ружейный гром опрометью выбегла из покоев супруга депутата:

— Гаврюша, Гаврюша!..

Но Гаврил Гаврилыч ее не видел и не слышал, не осязал. С растрепанными волосами, худой, взвинченный и неудержимый, он лавировал, приседая по частоколу и всплескивая ладонями, как ворона крыльями, и затравленным голосом передразнивал погибшую Карлушиху: "Приватизация, кар-р! Приватизация, кар-р!"...

— Накаркали, — заплакала жена председателя поссовета, — накаркали, накукарекали, пигмеи кривомозгие!..

И, слава Богу, ваучеры не появились... Когда они выползают ночью из ближних лесов, не токмо пятятся люди — собаки начинают визжать и разумом тренькаться, куры слепнут, а коты заскакивают на телеграфные столбы и, крепко зажмурясь, бросаются оттуда вниз головою.

СТАМБУЛЬСКАЯ ТАРЕЛКА

ПРИЕХАЛ В ДЕРЕВНЮ БАТРАКОВО из Москвы генерал покупать домик. А Батраково и есть Батраково: улица в мае месяце еще разъезжена колесами и траками посевных машин, избы стоят, облупленные и удивленные, что они перезимовали и жить собираются — развалюхи.

Да и пустота страшная. Ни телочка, ни ребеночка, ни собачки. Редкие, редкие старухи, по одной, за день-то, мелькнут у колодца. Старухи, постепенно пригибаясь к земле, исчезают в землю, и нищие домики их, за ними пригибаясь, исчезают.

Видно, надоели мы, русские, Богу, грешили много, вот и махнул Бог рукою на Батраково, пусть, мол, погасает и растворяется в синих просторах. Но приехал генерал. И какой? Лет ему не более шестидесяти пяти. Мундир на генерале зеленый. Две золотые звезды горят. Орденов боевых — неудобно считать: долго надо делать это, и свежие имеются ордена, а медалей, тех и этих, невыносимо — настоящий красавец и смельчак. Стройный, строгий и чуть нервный: военный же человек, а не охломон-раззява.

Старухи, наперебой тыкаясь за спиной командира, повели его сразу к деду Митрию. Митрий не только в Батракове, но и в районе — последний старик. Участник гражданской, польской, финской, последней, с Германией, войн, и за каждую — у Митрия награда. Но Митрий решил одеться празднично не к приезду генерала, о котором, конечно, слышал, а к победным дням. Позавчера было 9 мая, а сегодня лишь — одиннадцатое, и Митрий не снимает торжественного пиджака. На пиджаке, честно сказать, ордена и медали значительней генеральских: кровью добыты, Митрий — израненный, в дырках, в шрамах, но крепкий дед. И не спеша сидит, прямой, на завалинке. Хотя изба Митрия набекренилась и Митрий — почетный Митрич.

— Здравствуйте, Митрий Митрич! — подготовленно приветствовал гость.

— Здравия желаю, товарищ генерал! — вскочил по-солдатски дед.

— Бодрствуете?

— Никак нет, товарищ генерал, размышляю! — козырнул корявой ладонью Митрий Митрич и даже, старухам показалось, щелкнул галошей о галошу.

— О чем же? — улыбнулся подтянутый генерал.

— Никого нет их, один я, — Митрий указал на обелиск с именами хуторян и, запинаясь, продолжил, — один, а их и тут нету, под обелисками-то, их нету, они та-ам, где они лежат, а? Один! — шумно вздохнул старик.

Генерал смутился и потерял нить разговора. Митрий глянул сурово на генерала, генерал глянул сурово на Митрия, и ордена и медали у них на лацканах грустно тенькнули.

— Не заметил, товарищ генерал, воюя и воюя, как деревня-то моя вымерла, да на старухах перед могилой задержалась!.. — Бабки опять засуетились за спиной генерала и скоро, сообщив Митричу согласие принять генерала хуторянином, удалились и совсем канули в бедных и заброшенных государством огородах.

За столом у Митрия Митрича генерал ответил:

— Вся Россия лежит где-то там, а, Митрич? Та-ам! — И Митрич заметил, по лицу, мужественному и благородному, генерала, скользнула слеза, не слеза, а похожая на слезу печалинка. Дед заволновался и сделался неуправляемо радушным: огурчики — на стол, яички — на стол, лук — на стол, хлеб и баночку килек — на стол... И — поллитру. Настоящую, доперестроечную, сорокаградусную, пятирублевую, без подлости. Чистейшую, как генеральская набежавшая слеза-печалинка.

— Ну, Митрич, — обвыкся генерал, — встречаете, как сына!

— А ты мне сын и как же? Девяносто мне, чай, уже, брат мой!..

Выпили, покрякали, закусили. Дед и загнул:

— А ты, генерал, генерал или ты умный, ученый человек? Герой-то ты не фронтовой, а трудовой, вижу?

Генералу понравилась снайперская цепкость Митрича:

— Главный конструктор летающих аппаратов!..

— У, летающих, значит, и тарелок? — обрадовался Митрич.

— И тарелок! — скучно подтвердил генерал.

Митрич налил в рюмки:

— Брежневская, пей! Горбачевскую-то выпьешь, а она — квасом, квасом из тебя... Жулик ведь, и на святой русской водке нагревал народ; торгаш, скажу тебе, отчаянный!

Генерал крутанулся на табурете, но табурет легко выдержал, не сломался. И Митрич про себя отметил: "Генерал замечательный, не толстый, не развращен жратвою и ленью, физзарядку, наверное, сложную по утрам выполняет!.." И продвинулся дальше, уважая гостя:

— Ученый? Главный конструктор, сказал? Не иди к нам в хутор, не иди!

— Почему, Митрич?

— Опилишь руки, обстругаешь или дрелью просверлишь. У нас, товарищ генерал, ни плотника, ни жестянщика, ни каменщика не найдешь, кооперативы их завербовали, а сам ты хребет натрешь и судьбу грамотную погубишь. Жаль тебя, ты — большой у державы, нужный, не иди, дома тебе не поднять, а ум и талант погубишь на топоре. Пальцы-то у тебя карандашные, чертежные, пушкинские!..

Генерал, при последних словах деда, кашлянул в рюмку, но осушил ее и, вроде гневаясь, немножечко скраснел:

— Бардак, Митрич?.. Обязали кастрюли паять...

— Полный бардак! — восторженно подтвердил дед и налил рюмки до краев.

Военные вставали и жали друг другу руки. Вставали, генерал-то, как дед, раненый, участник сражения под Берлином, но теоретический, а не примитивный генерал: ать, два, ать, два; Королев, а может, и поважнее!.. Тарелки, может, инопланетянские контролирует?..

Хутор Батраково или деревня Батраково, теперь деревня — хутор, а хутора — вообще не существует, нет села, нет русского села, и с земли русской согнали русских. Умельцы, фашистов ищут, а сами и есть качественные фашисты: огромный народ согнали.

Бабушки да Митрич — в Батраково. И генерал. Купил. Приехал. Строится. А Митрич молчит. Генерал то в телогрейке, то в спецовке, генеральша — в краске и в глине. Рубанок поет. Электропила визжит. А Митрич хмуро помалкивает и за генеральской активностью наблюдает. Душа у старика мозжит.

Иногда сидит старик на завалинке. Такое у нас редко случается. Стариков перебили в атаках и штурмах. Сидит, хмурый и дерзкий с внешности, а копни, пожалуйся ему — сорвет картуз, рубашку подарит, галоши и те примерить тебе счастлив. Ох, русский народ, ты Митрич, мозжит твоя душа, а ты облапошен и полупогребен жуликами, и водку твою, вздорожив, смешали тебе с минеральной водою: пьешь и тут же лечишься!..

С Митричем я в давней приятельности: из Москвы привожу ему "Дымок" — сигареты, начиненные порохом и порченым динамитом. Митрич курит, а они взрываются, курит, а они взрываются. Бабки батраковские не пристают с вопросами глупыми, когда Митрич курит "Дымок"... Саперский "Дымок". С военных саперских дислокаций начал Митрич курить взрывоопасные сигареты, и по сей день курить нормальные не хочет: к риску привык дед...

Да и оракечена страна-то наша. Детишки-ребятишки, первоклашки сопливые, на Урале, например, обточат "чух", мордочку свиную, из липы, а в нее, в дырку, аммональной смеси напрессуют, подожгут — несется и сияет в сумерках: от Челябинска до Серпухова, где в 1942 году тяжелейшие бои вела советская армия с гитлеровцами... Да и газеты без передыху предупреждают: "Не копайте погреба, не вызвав роту минеров, вдруг — вражеский снаряд, вдруг — склад с реактивными фау-патронами?"...

И Чернобыль заставил нас разоткровенничаться: сотни тысяч безвинных людей перечеркнули раковыми опухолями и прочими онкологиями и, наконец-то, признались, Европе в жилет понюнились. И генерал из Батракова — не трус, не сундук, напичканный секретами, ни меня, ни Митрича не сторонится. Сидим на завалинке, слушаем конструктора:

— Лабораторией и полигоном после войны непосредственно руководил Лаврентий Павлович Берия, а мы, инженеры и ученые, у него на подхвате. Вызывает как-то меня... "Фамилия?" — "Капитан Воробьев!" — "Нэ капитан, а майор Воробьев ужэ!.. Ракеты пускай хараще и гуляй до двух ночи, потом со мной едэш!" Гуляю... В бараке сижу над телефоном. Позвонят, а я и на месте. На практических испытаниях мы, молодые ученые, в общежитии находились... Но почему-то Лаврентий Павлович меня вызвал. Сижу над телефоном. А телефон, как Митрич, древний, прочный, и молчит, молчит, да ни с того ни с сего как заорет!.. Хватаю трубку. "Майор Воробьев у телефона!.." И, понимаете, голос Лаврентия Павловича... "А ви нэ спыте? Молодэс! "Б-2", ракета, вашя?" "Так точно, Лаврентий Павлович, моя!" — "А жина вашя с кем живеть, с родителями вашими, да?" — "Так точно, Лаврентий Павлович, пока негде, с родителями, на Урале!" — "Нет, вашя жина уже не на Урале, а в Москве живеть. Поезжайте к нему, оформляйте квартира, ми вам дал. А ракета "Б-2" вашя?" — "Так точно, моя, товарищ маршал Советского Союза!.." — "Молодес, умниса!.." Оказывается, мои чертежи на "Б-2" понравились самому Сталину, специальной комиссией выбраны для практического испытания... Явился я в Москву, по адресу, мне в институте предложенному, нажимаю кнопку — открывает дверь Лена: "Господи, я напугалась! Думаю, Вова погиб... Ночью, в два часа, меня погрузили в скорый поезд и — в Москву из Челябинска... И — в твой институт, и — ордер, знаешь, Вова, — вздрагивая, шепчет мне Лена, — я до сих пор зуб на зуб не попадаю!"... Да, высотное здание, на Котельнической набережной — квартира!.. Мне кажется, Берия перепутал меня с кем-то. Но тогда, при Иосифе Виссарионовиче, специалиста не могли перепутать — тюрьма за подобные штучки, прямая Колыма... Так на практических испытаниях моя ракета "Б-2" трижды запускалась и трижды поразила цель стопроцентно! А Лаврентий Павлович намеренно меня придерживал в общежитии, в бараке, для пущего переживания тайны. Тайна — я. А ракету запустить и любой сержант сумел бы: фык — и заухала!.. Секретили, секретили, бац, рассекретили. Границы пьяные наркоманы посещают, стада разъяренных торгашей ревут и государственные столбы выворачивают. Ребят русских жалко: мишень из них приготовили христопродавцы для каждой разбойной пушки.

Митрич сокрушался, читая сообщения о дрязгах и размежеваниях, конфликтах и бойнях между соседями, гражданами преданной и поруганной империи. За газетами, с палкой, он ковылял по утрам в поссовет, пять верст туда и пять верст обратно: не лежать же инвалиду?..

— Ай, яй, яй, Василич, растащили нас коршуны, расклевали, ай, яй, яй!..

Потный и взъерошенный, к нам присоединился после обеда генерал, малость охладиться и новостями обменяться. Жилистый, морщинистый, тяглый, нервничал:

— На закрытом заводе мы вытачивали детали, "луки" и "стрелы", в космическую точку угождали, а сегодня обязали конверсию в цеха впустить. Горбачевская альтернатива...

— А кто она по национальности, альтернатива-то, француженка или японка?.. — кряхтел Митрич.

— Пятилитровая кастрюля, обыкновенная кастрюля. Лесные бродяги, шоу-туристы и тюремные повара ценят ее, пятилитровая! А у свободных людей не пользуется авторитетом...

Генерал хватал щепку и на черном утоптанном пятачке чертил кастрюлю. Чертил кастрюлю, но получилась лысая огурцовая голова, смахивающая на пятилитровую кастрюлю.

— Завод, классный завод пустили в распыл! — возмущался конструктор. — Какие

мастера, какие талантливые инженеры вынуждены бежать с производства в разные подсобные хозяйства!

Конструктор более решительно проводил щепкой по нарисованной голове-кастрюле, дополняя ее точками, дужками и короткими штришками... А Митрич доверчиво интересовался:

— Пропала Россия?

— Пропала!.. Но не пропадет... — Генерал нервничал и прощался...

А Митрич старательно накрывал голову-кастрюлю газетой:

— Зачем?.. Завтра хочу на нее поглядеть, завтра поглядеть хочу! — Назавтра Митрич снимал газету и внимательно рассматривал изображение: — Инопланетянин! — сообщал он старухам.

Батраково — на холме. А холм — над великой поймой. Древнее русло Москвы-реки когда-то катало по синему простору шумные волны, хлеставшие от леса до леса, от горизонта до горизонта: пойма равнинно-круглая, скифская, втягивающая в себя, в даль свою, века, племена и события...

Даже сейчас глянешь, и набежит на тебя русский ветер, и прозвенит над тобою славянское ржаное солнце августом и журавлиным взрыдом. Набежит ветер — травы пригнутся, а березы качнутся, очнутся и примутся трепетать, словно ждут кого-то и дождаться не могут. А ветер бежит и август пылает от края до края, где неуловимо клубится и пропадает плачущая нить счастья, миг ускользающей надежды.

Родина моя, Россия моя знаменитая, на любой кривой улочке хуторов полураздавленных твоих — обелиски, а на них проржавелые списки погибших, убитых в огненной стороне сражений... Где еще есть такая Родина, такая осиротелая Россия? Списки — длиннее улицы, длиннее скособоченных рядков истлевших изб, длиннее имен взятых вместе перечисленных старух, доканывающих возле усыхающих колодцев революцию и долю...

Я люблю тебя, моя Родина, Россия моя, спасенная и обласканная небесной синевою и августом небесным! Когда замирает сердце при виде твоего разорения и нищеты, я припадаю к бугорочку, прирученному обелиску на хуторе, низко, низко — и оттаиваю, камень погибели отступает от моей души, и сердце вновь начинает биться и тужить.

Рожденный и выросший на Урале, почему же я в любом русском хуторе — как в своем, уничтоженном парадными палачами, брошенном, как все русские хутора, в эту великую пойму скорби, под которой глубоко, глубоко течет легенда русской трагедии и русской славы?..

Где наши братья? Где отцы наши? Где наши деды? Митрий — прирученный седой обелиск, уплывающий в русскую даль. О, какими же мы обязаны быть? Разве крик русского горя не в нас? Ну, где наши генералы? Воины — лежат и цветы над ними шелестят виновато. Но генералы где? Неужели некого поднимать и некому теперь поднять?.. Россия моя, Россия, я лишь — поздний репей твой, колючий и выжженный бурей.

Митрич всех знал и никого не позабыл, кто не вернулся в Батраково с войны. Сидит на завалинке — они около него: в списках на бугорочке, на обелиске. Жаль — под бугорочком нет их. Жаль и жену Митрича — рано оставила его: умерла в девятый год Победы и в день Победы.

Митрич хранил от нее на чердаке в подвешенных негодных валенках извещения о смерти сыновей — Саши и Пети. Летчики. Экипажем вели бои с противником. И — погибли. На каждого — индивидуальная похоронка, с благодарностью родителям... Марья полезла чердак чистить после зимы, сунулась, а в валенках... И с чердака не слезла.

Митрич никому не говорит о сыновьях и о жене, никому. Но глядя на обелисковый бугорочек, иногда чуть посожалеет: ах, лежали бы дети под ним, под бугорочком, — и он, отец, сидит рядом... Но Митрич ломает непрошеную мысль, отшвыривает и она долго, месяцами, боится появляться перед стариком, исчезает. А, может, их могилки по необъятному шару ищет?..

Подруга Марьи, соседка Груня, тоже сирота, как Митрич, пристирывает и приштопывает за ним. Странная. Вздыхает и вздыхает. Не ссорится, не обижается ни на кого, а вздыхает и вздыхает. И не вытерпел Митрич:

— Когда ты, Груня, тоской напитаешься?..

А та протянула Митричу ладонь и, поздними сумерками, подвела Митрича к колодцу, открыла:

— Наклонись вглубь!.. — Митрич наклонился...

— Глубже наклонись! — Митрич глубже наклонился...

А Груня опустилась на колени и протяжно, протяжно в сруб:

— Ой-ой-ой!.. Ой-ой-й! — И в срубе, в дубовом-то, как в рояле или пианино черном, или храме пустом: "О-о-ой! О-о-ой!"

Поднялся Митрич. Ночь. А звезды, яркие, яркие, теплые, теплые, мигают, мигают:

— О-о-о-й! О-о-о-й!.. — И тополя, родные, ихние тополя хуторские: — О-о, о-о-й!..

Жутко сделалось Митричу, а Груня:

— Это земля о детях наших стонет, вдовая она, Митрич!.. — И пошли они, вдвоем пошли, от колодца. — Я, Митрич, образ ее видела, на дне, Митрич, мамино лицо, этакое, а за мамой — дети мои, солдаты, и муж мой Петр, солдат...

Митрич ни конверсию, ни перестройку на порог не пускает: занял оборону и держится. Ружье на стенке под боком висит. В сарайчике — коза, три курицы и петух.. Молочка и старушкам на пасху достается, куры не симулируют, несутся, а петух вместо гимна кукарекает на заре.

Для кого играть гимн-то! Мертвая зона... Осенние ночи — каменны, тьма тяжелейшая. Ни фонарика не вспыхнет — нефть вздорожала. Митрич кашляет и прошлое вспоминает, а в прошлом — кровь да разорение. Вспоминает, глядь, а напротив сияющая тарелка опускается, похожая на калужскую сковороду. И выходят, длинный и короткий.

— Господин Митрич, занят ли генерал гражданскими заботами, кастрюлями? Не сооружает ли местные укрепления?.. — Спрашивает длинный, а короткий в блокнот записывает. Митрич не растерялся и задает вопрос:

— А вы откуда, уважаемые?

— Из Европейского сообщества, стамбульские турки! — ответил длинный.

Митрич обиделся и шарахнул из ружья в форточку! Тарелка ж-ж-укнула, как черная муха, и скрылась в окрестностях Батракова, а генерал, в трусах и майке, колотит в дверь:

— Митрич, открой! — Открыл, рассказал, генерал поддернул трусы и удалился, пожав плечами. У Груни электричество после выстрела зажглось, аварийное, значит... Молиться принялась баба.

До Митрича дотягивались и застревали в нем странные слухи. Стамбульская инспекция донимает генерала: лучи на него направляет, фиксирует его движения — к сортиру и от сортира, а инструменты, долото, молоток, швабру, фотографирует и проявляет сразу. Доказательства...

Недавно, якобы, реяла, реяла тарелка, загнала генерала в крапиву, а сама в нее погружаться не согласилась. Генерал замаскировался и помочился, а тарелка в Стамбул вернулась, грамотная и жестокая, курва. Генштабовским генералам, "афганцам", слышал Митрич, стамбульская жаровня и помочиться в конторе не дает, на бульвар Черняховского с Арбата бегают, стайеры, и омоновцам на гуманоидов капают, подскакивая... А генерал, патриот, пробует досикнуть до турок.

Митрий жалеет сыновей и Сталина: приказал бы им, взвились бы, родимые соколики, и уничтожили бы вражеский объект и генерала бы из крапивы ослобонили... Но — один Митрич. И обелиск — один. А военный человек, конструктор, в крапиве прячется... Времена! И старый сапер налегает на газетные новости. А Груня молится.

Генерала, Владимира Владимировича Воробьева, и генеральшу его, Елену Николаевну, я почти не встречал в приличной одежде: его — в мундире, ее — в платье. Оба они, и генерал и генеральша, ошкуривали бревна, пилили, возили на тачке песок и кирпичи. Грязные, в куртке и в штанах, заляпанных известкой, олифой и черт разберет какой чудовищной жижей. А разве черт разберет, если и генерал и генеральша — чертей чумазее?

Но домик у них вынырнул из деревенской нищеты и на цыпочках вверх потянулся. Окошки окосячили. Рамы вставили. Крышу — серого шифера настелили. Нарезали карниз. Дворик окинули штакетником.

Цех кастрюльный на французском оборудовании, купленный Генштабом за валюту, смонтировали возле погреба, где генерал-конструктор в крапиве от турок прятался... Но цех не включается и кастрюли не паяет — калибр кастрюль завышен и температура в Батраково уже низковата. А на улице — еще август: так они, генерал и генеральша, взялись за работу! Честнейшие трудяги...

Исчезал генерал из Батраково часто. Особенно — перед тем, как начинали газеты и радио трубить о новом провале или успехе в космосе, а телевидение возбужденно хрипеть и Гоголя цитировать, кудахча:

"Куда ты несешься,
О, Русь, о, Русь!"

А получалось, коли вникнуть-то, у диктора, шустрого и ушастого:

"Куда ты несешься,
О, гусь,
О, гусь!"...

Исчезал генерал внезапно. Генеральша никому в эти дни не показывалась, малярила и копалась на грядках, вжимаясь в тень ветлы, прячась за калиткой... И Митрий Митрич, саперный дедок, не заходил к ним и ко мне не заходил. Митрий Митрич желал генералу успеха, а державе надежного оружия...

Все молчали в деревне и в Москве. Да с чего, с каких причин болтать-то? Все молчали. А за нас за всех раздавал интервью Михаил Сергеевич и диктор, который "О, гусь, о, гусь!"...

Беда подстерегла генерала и генеральшу крупная, жестокая и непоправимая. Да, малая беда, поправимая беда, не подстерегает тебя, а натыкаешься ты на нее. Наткнулся, обиделся, разобрался, выздоровел и за дело. Но крупная, долгая беда, высмотрит, определит, наметит и ударит — и разрушит, а не разрушит — пошатнет, сам доразрушишься, такая беда, крупная если...

Митрич сидел на завалинке и грелся на осеннем солнышке. Митрич старый и хутор старый. Митрич старый да и солнышко тоже старое. Ветерок и тот, шелестящий в палисаднике Митрича, старый. Ничего молодого, когда ты старый, в природе нет. Только — дети, погибшие, молодые, а новых детей кому рожать? Старухи в Батраково да он, старый Митрич, сапер, солдат и пахарь. И август старый.

Сидел Митрич, а "Дымок" спокойно взрывался у него в губах, сигарета проклятая... И услышал Митрич, как с воем и лютыми искрами из окна генеральской избы выбросилась электропила. Пронзительнее дикого зверя завизжала, вспрыгнула на забор и стальным раскаленным диском принялась бешено резать и кромсать все, что ей на пути попадалось. Стружки, брызги сверкали под ножом, стальным и раскаленным, а она визжала и набирала разбойные обороты.

Вот она перевернулась, шарахнулась в сторону от забора и с хрипом и ревом заплясала в канаве... Митрич сообразил: уронили пилу, включенный диск уронили... Боком, боком, за канавой, за деревьями стуча палкой и опираясь на нее, Митрич, в галошах, приковылял ко мне:

— Василич, Василич, беда у генерала, беда у Владимира Владимировича!..

Перемахнув улицу, я выдернул из сети провод разгневанного зверя и, оглоушенный тишиной, по лестнице взбежал на чердак. Владимир Владимирович, бледный и окровавленный, пытался подняться на стеллаже из теса, но, ослепший от крови и потерявший много ее, шевелился и ползал, натыкаясь на ящики, стулья и кучу трухи. Переносье генерала, рассеченное диском, зияло жутко и непоправимо.

— Вставай! — скомандовал я.

Генерал ухватился за мою шею, и я вытащил его к своей машине, едва-едва зажав рану, туго замотал ее содранной с генерала грязной рубашкой. А Елена Николаевна, сшибленная вырвавшимся на свободу звенящим диском, свалилась с чердака на пол, в проем, пока не закрытый, и успела увернуться от взреявшего над нею раскаленного тигра, выпрыгнувшего в окно...

Генерал назвал мне номер телефона КБ, и начал терять сознание:

— Я мерзну, я мерзну, Василич! — укорял он... А Елена Николаевна дула ему на лоб и дрожала. Она удачно перенесла аварию. Генерал, я думаю, теряя равновесие на перекладине, сумел-таки отпихнуть диск локтем, потому и пальцы на правой руке срезаны, отсечены, и левая ступня его туго, туго мною перемотана, как и лоб ученого...

Моя "Нива" аккуратно на рытвинах и канавах покачивалась, дороги-то под Москвою — гроб. А время тянулось. На шоссе я подрулил к будке ГАИ, сунул номер телефона милиционеру, показал на пострадавших и добавил газу. Через час и сорок минут я уложил на носилки генерала и мы с генеральшей тронулись в хирургическую.

Меня поразила беспечность больницы. Ни врача, ни санитара: воскресный день — студенты занимаются и лечат. Генерал подремывал и подремывал, но сознание терял и терял, упрекая:

— Я сильно мерзну, Василич, накрой меня!

Натренированной памятью я набрал в больнице тот, отданный милиционеру номер, и в сию же секунду меня ободрил четкий руководительский голос:

— За генералом послан вертолет "А-6", "А-6". В больницу послан спецвертолет с нейрохирургом, спецвертолет "А-7". За супругой генерала послан вертолет "А-8". Большая группа врачей выехала автобусом вам навстречу, ловите!

Но генерал терял и терял сознание, медленно синея и опухая, держался по-гвардейски, хотя держаться уже было невозможно. Елена Николаевна не плакала и силилась продемонстрировать мне волю и терпение. Лишь тревожные глаза ее наполнялись горьким страданием. Сбереженная Богом при падении, женщина забыла о себе, помогая мужу.

Когда загрохотали над районной больницей вертолеты, снижаясь и гудя пропеллерами, а большая группа врачей вывалилась из бронированного пузатого автобуса у

ворот, я оставил Елену Николаевну возле генерала и покинул хирургическое отделение. Инопланетяне явились — чать спасут?..

Быстро пожелтели поля. С берез осыпались и умчались куда-то листья. Зима легла широко — во все концы. За холмами столпились морозы. Выбрали день — завладели миром. И я убежал от скуки в Москву, а Митрич потерял интерес к событиям — разочаровался.

На следующий год, весною, в мае, мы с генералом и старушками хоронили Митрича. И офуфаенный генерал, задержав меня у могилки, смущенно произнес:

— Спасибо, Василич, и от Елены тебе спасибо! Теперь и я с палочкой, за Митрича сижу на завалинке, лишний, списанный... А тогда, тогда в понедельник, лишь я очнулся, позвонил Горбачев, да, Горбачев:

— Что случилось, генерал?

— Конверсия, Михаил Сергеевич, конверсия!.. — И, ты понимаешь, Василич, трубку швырнул генсек, во как!..

ВАЛЕТ И АКУЛИНА

ЕСЛИ У ТЕБЯ ДЕТСТВО ДЕРЕВЕНСКОЕ — счастливый. Деревенское детство — не только луга и речушки, пескари и рябины, деревенское детство — кони, журавли, а у нас, на Урале, медведи, лебеди. Господи, сказка древняя!.. И никуда ты от нее не денешься. Взрослому тебе то родная курица приснится, то собака, то бугай Валет, басивший на весь колхоз, как сильный и грозный пьяница.

Валет у нас был — хозяин деревни. Он идет по улице — куры в разные стороны, повизгивая, как бабы, текут и за воротами еще долго, долго не успокаиваются. А маленькие собачки, добродушные и пушистые, мячиками вкатываются с перепуга на крыльцо и, трясясь и завывая, лают заочно на бугая, будто проклятья посылают ему, широкомордому и властному. Бабка Акулина в окошко высовывается — стыдит быка:

— Эк, злодей, вымахал и радуешься, горлопан советский!..

— М-м-м! — Валет поворачивает тяжелую морду в сторону окошка, на Акулину, и чуть делает вперед движение. Бабка трижды осеняет бугая честнейшим перстом и опять:

— Фулиган, партейный хам!..

— Ы-м-м! — возмущается бугай и еще делает вперед ленивое движение. Акулина смывается с подоконника и, быстро, быстро крестясь, занимает позицию возле ступенек на огромную печь. В случае, мыслит Акулина, нападения Валета на нее она залезет на печь, изба пропадай, но печь бугаю, лопни, а не сокрушить.

Любопытный был Валет. Янзак, наш кузнец, работает, мехи качает, а бугаина пялит зенки через решетку в кузню. Мороз по коже... Ведь — зверюга, хоть колхозный, общественный, а паразит. Особо Валет ненавидел налогового агента, Исая Филимоновича, районного представителя. Один раз загнал инспектора на радиостолб. А красный портфель, с квитанциями, раздавил и разорвал копытами в клочья. Инспектора сняли с радиостолба и повели в баню: тереть Исая Филимоновича мочалкой и чесать веником, дабы измождение перетряса с него снять и привести его разум в точное соответствие с его державным положением на хуторе. Взжваривал инспектора отец. Инспектор ежился, ворочался:

— Александрыч, нельзя потише?

— Потише тебя жена попарит! — сердился отец.

— Александрыч, а нельзя похолоднее? — молил инспектор.

— Не на севере, чать! — взжваривал отец и командовал:

— Ну, на левый, говорю, на ле-евый!..

— Я и так на левом боку! — удивлялся Исай Филимонович.

— А ты не хитри, ложись плотно!..

Инспектор замолкал, а приголенный веник ходил от затылка до узкой макушки Исая Филимоновича и обратно. Инспектор кряхтел:

— А нельзя ли веничек посвежее, помягче?

— А где взять помягче-то? За колосок теперь судят, а за березу или за дуб и в тюрьму угодишь. Ты, чать, лучше нас про то знаешь, ложись, говорю, плотней на правый!.. — И отец ходил Исая Филимоновича, ходил от пяток и до узкой макушки. Веник, как неистовый балерун, выделывал выкрутасы и кренделя и с маху шлепал по налоговой спине.

А мы, ребятишки, брали под руки из бани крупного руководителя и сопровождали

его до нашего дома передохнуть. Сопровождали — с курами, собаками, гурьбою в пятнадцать, двадцать озорников. Инспектор после того, как повисел на радиостолбе, потеплел, но бугая робел до перебоев сердца. И надо заметить: бугай, когда шла банная демонстрация к нашему дому во главе с Исаем Филимоновичем, не набрасывался. Сдерживали его колхозные массы — куры, собаки и мы...

Однако, встретясь оком с налоговым инспектором, Валет издавал ужасное "Ы-м-м!"... Инспектор бросался к радиостолбу, а мы окружали с палками и кнутами бугая. Валет поматывал башкой и степенно покидал улицу. Но, повторно, настиг-таки агента, Исая Филимоновича.

В Москве живя, всех вспомнишь, каждую дворнягу, а бугая подавно. Сами его избаловали и научили бодаться. Заласкали. Скотина — не уступит человеку: скоро испортится, лишь дай слабину. Испортился же у нас в деревне колхозный Валет. Когда рос — нежный и сговорчивый. Лоб кудрявый. Копыта высокие. Грудь гранитная. Позовешь: "Валет, Валет!" — и Валет трусцой за тобою, играет, помыкивает, бежит по улице. Ребятишки его нежили. Доярки, любя, подкармливали. Миновал год, другой, Валет вымахал в такого бугая, что при встречах с ним люди шарахались, и чем дальше затягивалось дело, тем опаснее становился Валет. Свобода.

Башка огромная. Лоб грязный. Без конца роет копытами землю, самого себя забрасывает черными комьями..Ревет. Поначалу — импровизировал, а потом саданул под ягодицы Исая Филимоновича так, что тот с мая месяца до праздника Октября не показывался крестьянам. Инвалиды шутили: "Вот изберем Валета председателем колхоза, никто с нас драть оброка не посмеет!"..

Но Валет не обращал внимания на то, куда его прочат. Утром покорно удалялся пастись вместе со стадом, а вечером торжественно шагал по улице один. Куры кудахтали и, роняя перья, улепетывали под сараи. Собаки до хрипа тявкали, но держались от Валета на точно проверенном расстоянии. Тузик, предводитель ивашлинских собак, верткий и крепкий, набросился на Валета, но Валет подхватил Тузика на рога и перебросил через высокий забор во двор правления. Члены правления высыпали с заседания и долго обсуждали беду, но ничего решительного не предприняли, а Тузик отмолчался.

Сплетня в Ивашле хлопала калитками: "Исай Филимонович когда-то науськал Тузика на маленького бугайчика. Валет вырос и перекинул Тузика через забор, и налогового агента собирается перекинуть". Потому главные мысли инспектора крутились не возле налога, а возле радиостолба. Сталинист чертов!..

Через неделю Тузик выздоровел. Валета больше не трогал. А Валет продолжал реветь, рыть землю и распугивать ивашлинцев. До того распустился и обнаглел, безнаказанный,— пристрастился посещать кузню и терроризировать кузнеца. А кузнец, благонравный башкир, Янзак, хромал. Под Сталинградом его "припечатало" снарядом, с тех пор с клюкой не расстается. Хромой — ладно, но и немой. Контузило Янзака и речь ему загородило. Бедный, устанет — молчит. Нервничает, подковывая лошадь — молчит. Заболеет — молчит. А, говорят, веселый, певун, общительный был, да война по- губила!..

Дружил Янзак с моим отцом. Отец тоже израненный. Может, это их и сближало. Но Янзак почти и не слышал. Оглушило. А отец беседовал, слышал, играл на гармошке, лишь ему не рекомендовали брать в руки ножа, вилки, ружья и от костылей не рекомендовали отшатываться — падает, бьется головою об пол, теряет сознание: потрафило — не отнято ощущение...

Иногда они и выпивали. Отец беседовал, Янзак молчал. Но стоило отцу развернуть гармошку, губы Янзака шевелились, он хрипел, помогал отцу выводить:

Раскинулось море широко
И волны бушуют вдали,
Товарищ, мы едем далеко,
Все дальше от нашей земли.

— Интуиция! — качал отец головою в сторону Янзака. Янзак улыбался. Солдаты понимали, о чем речь... "Интуиция" — с фронта явилась на Ивашлу... Бабы ивашлинские считали: интуиция — боевая солдатская женщина, и прощали мужьям грехи с ней. Война...

А Валет не унимался. Повадился к Янзаку. Ревет у дверей кузницы, пытается втолкнуть морду в окно, но окно зарешечено. Бугай упрямый. И Янзак упрямый. Шугает бугая раскаленными щипцами.

Вот к Янзаку принесла запаять прохудившийся чайник бабушка Акулина. Прямая, худющая. Жердь, повязанная ситцевым красным платочком. Акулину на Ивашле уважали, отменно чествовали, если она, хватив рюмочку, топталась, подмигивая, по кругу и подпевала:

В колхоз пошла,
Юбка новая.
Из колхоза иду,
Попа голая.

Янзак запаял чайник, проводил Акулину. За кузней — тихо. Валет, значит, убрел на базу... Но внезапно истошный крик насквозь пронизал даже Янзака... Оказывается, Валет дремал в ивах за овражком и, очнувшись, напал за бугорком на Акулину. Сухую и легонькую, Валет перекатывал бабушку с места на место, подпинывая мордой и мыча от восторга, забавляясь. Акулина, наверно, давно потеряла сознание, выронила отремонтированный чайник и успела к себе, покойнице, привыкнуть. А Валет всхрапывал и копытами вжимал, вцеживал в песок несчастную красную косынку.

На миг кузнец забыл о клюке. Выхватил из горна клещи и, горячий, принял на себя свирепого зверя. Валет даже удивленно приободрился и, хищно помедлив, рухнул на кузнеца. Но укушенный шипящими клещами, отпрянул, замотал башкою, вышвырнул из-под копыт рыжие вспышки пыли и вновь обрушился на кузнеца. Пятясь, покалывая в ноздри лютого дурака раскаленными клещами, Янзак отступал по-солдатски к дверям кузни, а обезумевший бугай преследовал его, то нарываясь на уколы, то отскакивая от них.

Тем временем бабушка Акулина оклемалась, надумала спасаться — не получилось. Она доползла до чайника, туго прижала его с сухим соскам и принялась всерьез умирать. А кузнец отступал и отступал к дверям, заманивая врага, не попадая ему на удочку и под копыта или для ловкого переброса рогами. В кузню Валет не успел вломиться. Янзак артистично ее закрыл и напоследок, через окно, ухитрился дернуть все еще пылающими клещами бугая за правую ноздрю. Бугай взревел и саданул мордой в привычное окошко. Кузнец прыгнул к решетке и жестоко плюнул в нахала.

Бабушку Акулину отправили в больницу. А у Янзака днями нога разогнулась и согнулась, разогнулась и согнулась. Клюку оставил, о чем-то закалякал и чего-то услышал. Правление Ивашлы на коллективе обязало отца застрелить из ружья Валета. Начались приготовления.

Неделю отец и кузнец мастерски отливали и шлифовали внушительную свинцовую пулю. Точили, примеряли в патроне. Примеряли и согласовывали планы. Патрон защелкивали в стволе. Вынимали. Опять точили пулю, шлифовали — на смерть бандиту и уголовнику. И приехал из района налоговый инспектор, щуплый, с паучьими серебристыми усами, с медалью "За отвагу" на лацкане серого пиджака. И сам серый. Седой. Сапоги серые. И сигареты-то курит серые. И дым изо рта пускает серой струйкой. Исай Филимонович.

Октябрьский праздник — на пороге. Бугая, протокол есть, проголосовали пожертвовать на благо трудящихся. Загвоздка — удержит ли отец ружье? Не свалится ли в нервном приступе? Но ружье перед сражением отец повертел в руках. Патрон покачал на ладони. Да и Бог милостив, идет отец на праведный бой, а не на грешную забаву. Компания — отец, кузнец, инспектор — тронулась, собирая по улице убежденных сторонников приговора.

Мальчишки свистят, улюлюкают. Бабы тараторят, обмениваются новостями, старики елзают, возбужденные баталией.

Собаки мстительно спешат за толпой. Но Тузик — отказался. Куры пугливо помалкивают. Осень. Побрызгивает простоволосый дождик. На школе и на правлении колхоза реют красные флаги, раздражающие бугая. Над крышей правления плакат — белым по красному коленкору: "Вся власть Советам!" Не оправдаться Валету.

Фронтовики: отец, Янзак, инспектор — с ходу заняли позиции у стены фермы, напротив бугая, и подманивают Валета, подманивают — кто хлебной крошкой, кто пучком травки. Бугай колыхался и колебался. Жалобно пытался мыкнуть, как в детстве. Но что-то кольнуло его в самолюбие. Раздался грозный рев. Бурая навозная масса взвилась из-под копыт. Тряхнул рогами и вскинул их. И — грянул выстрел! Валет накренился, подломился и вяло обвалился, тушей провалился и затих.

На другой день, в самый разгар гулянки, бабушку Акулину ввели к нам. За погибших подняли. За живых подняли. За Победу — подняли. Но хватив с дороги, Акулина взвеяла красную косынку и запела, шепча, на лавке:

В колхоз пошла,
Юбка новая,
Из колхоза иду...

Покосилась на Исая Филимоновича:

Из колхоза иду-у,
Из колхоза и-и-ду-у!

"Попа голая!" — подмогнул ей инспектор.

Дом наш наполнился хохотом и откровением. Но Акулина метнула дерзко в инспектора: "В тылу, на радиостолбе, отсиделся; меня и Валета загубил, черт!.." Инспектор, жующий кусок мяса, поперхнулся, а в распрю не встрял.

Дальше — замелькали по Уралу вьюги. Нахлынули снега. Свежие, белые, лебединые.

И как не вспомнить в Москве мою Ивашлу? Луна стояла долго, долго зимою — над домами, над речушкой и косогором, над кладбищем, вросшим в косогор и слившимся с ним: летом — цветами, травою и черемушником, зимою — летучими вихрями и сверкающими печальными сугробами. Три братика моих на кладбище лежат. Дедушки и прадедушки с бабушками и прабабушками здесь похоронены. Века звенела речка Ивашла и притомилась. И хутор мой, Ивашла, века пахал, сеял, жал, воевать не отказывался за Россию, возвращался, оплакивал сыновей и снова жил, но не выдержал и растворился, исчез. Да и выдержать как? Обновите-ка в памяти таблицу:

В год — 100 штук яиц.
В год — восемь килограммов шерсти.
В год — триста килограммов картошки.
В год — девять килограммов масла.
В год — девяносто семь килограммов мяса.
В год — одну тонну желудей.
В год — сто литров березового соку.

И т. д. И т. д.

Кто выдержит? Мама моя восьмерых родила, да бабушка с дедушкой, да отец-инвалид, семья? А налоги — плати: инспектор быка побаивался, а нас же нет. И угощать инспектора приходилось, авось, немножко сбавит не мяса, так уральской картошки? Угостим — и радостно голодаем, а он и орет, добрей и добрей...

И обижаться или презирать инспектора, как презирал его Валет, у меня нет оснований. Сколько их, бугаев, от Ивашлы и до Кремля? Землю копытами разбросали, Россию размяли и нас на рогах разломили, распотрошили, как инспекторский портфелик... Попробуй их, тронь: "Ы-м-м!"... Ивашлинский Валет — наивный...

Сбежал я в Челябинск, на завод. И родителей вывез. А оттуда — в Москву перекочевал. Долго ли? Вся Россия кочует... Янзак помер. И бабка Акулина померла. Инспектор застрелился. Ивашла отдавала и отдавала избы свои прожорливым городам. Одичала и заросла крапивой. Заросла, а меня пуще тоска донимает. Засуетился я.

А друг, писатель, Юрий Пшонкин: "Валь, покажи родину!"...

В Уфу прилетели. Земляки, Александр Филиппов и Денис Буляков, присоединились. Люди известные в стране. И у них — родина, кажется, тоже почти опустела. Страна у нас есть, а родины ни у кого нету... Проскочили верст четыреста по тракту. У обочины девочка в красном сарафане. Рядом телок. Вылез я из автомобиля:

— Как тебя зовут?

— Акулина...

— А телка́?

— Валет...

Девочка русая, улыбается, кучерявый телок: "Ы-ым!" Тьфу. Разве не заплачешь? Чьи они? Или показалось? Прошлое воплотилось в образ. Свист ветра. Свист шин. Ровный стук железного мотора катится по степи. Впереди — ни души. Степи, башкирские степи...

Сестру мою, знакомых в районе прихватили. Тронулись уже на вездеходах. Миновали сосновые, лиственные, дубовые всхолмики, выбрались по скалистому ущелью на древний мыс. Внизу — Ивашла: ни крыши, ни колышка. Конопля да лебеда шумит. Ну, разве не заплачешь? Спустились. На кладбище поднялись. Сели. Выпили. А у ног — крест, повитый молочаем и кашкою, едва темнеет из вечных цветов. Денис аккуратно прикоснулся, а на планке: "Милой бабушке Акулине от внуков и правнуков!"... Где они, куда запропастились, внуки и правнуки ее, и счастливей ли меня?

Денис говорит:

— Давай возьмем, сгниет же крест, в музей!..

— Не-ет! — сомневается сестра...

— Пусть сгниет, Денис, растворится во мгле с Ивашлой вместе!..

Денис вздохнул. И мы вздохнули. Поставили и в земле, как могли, укрепили темный крест. Укрепили и пропали. Пропали, а я думаю: стоит бабушкин крест или уже упал?..



НИНА КАРТАШЕВА



... И СУМЕРЕК НЕ НАДО

* * *

Крупитчатой, дородною купчихой
Заря сидит в саду, у самовара.
Горячий вечер убывает тихо.
Романс старинный завела гитара.

Ленивый и прелестный час заката,
И я пою, как некогда, когда-то...

Продлить покой, души очарованья,
Забыть заботы, разбудить мечты...
Заря свои меняет очертанья
Простосердечной русской красоты.

Смолой и дымом тянет от углей,
Звезда горит светлей, закат тусклей...

* * *

Закат какой-то вечный, неизбывный.
Пурпурный, пламенный... В полнеба, в полреки.
И голос переливный, голос дивный
Читает Тютчева стихи.

Сверкание и слава небосвода —
Закат продлен для нас на целый век.
Целительны поэзия, природа
В обители трудов и чистых нег.

КАРТАШЕВА Нина Васильевна родилась в Верхотурье Екатеринбургской области. Работала преподавателем музыкальной грамоты и сольфеджио. В Австралии и Москве вышли две книги стихотворений. Живет в подмосковном поселке Менделеево.

Вся комната сияет, как светлица,
Так много света, розовых тонов.
И даже ты поверить и молиться
На древний образ искренно готов.

Какой закат! И сумерек не надо.
Закат всю ночь в моих пребудет снах,
И даже умереть я буду рада,
Чтоб жизнь увидеть в розовых тонах...

* * *

Яблоком упало лето знойное,
Облаком в закат златой уплыло.
Осень милостивая, спокойная
Как-то ясно и прекрасно наступила.

Выйду ль в поле, сколько ветра, сколько воздуха!
Гляну в лес, какие листья разноцветные!
Во саду ли, в огороде, полных отдыха,
Веют сны и тени незаметные.

Реют мысли вечные, бесплотные.
Воплотиться под пером стараются.
Птицы сбор играют перелетные.
Дети шумно в школу собираются.

Воды стали девственно-прозрачные,
В них глядятся небеса глубокие.
Даже ночи темные — не мрачные.
Осень осенила дали легкие.

* * *

От Бога за убийство отлученные,
Отец ваш дьявол, он всегда за вас.
Вокруг него одной семьей сплоченные,
Вы дружно выполняете приказ.

Я не о нации, ведь вы разноплеменные.
Я не о старом. Вы воспели грех.
Вы не из древних, слишком современные.
Но древнее клеймо на вас на всех.

Теперь не вы, а к вам идут с поклонами.
Напрасен труд. Вас лучше не проси.
Пугаете самих себя погромами
Среди разгрома нового Руси.

Уехали бы вы без возвращения,
Освободили бы наш древний русский Кремль.
За это мы вам вымолим прощение.
Езжайте с миром. Только насовсем.

* * *

К земле я ухо преклонила,
Я слушаю, гудит набат.
Какая сила полонила?
Кто в этой скорби виноват?

Земля! Продать? Отдать задаром?
Разрыть ее, забить в бетон,
В аренду сдать ее хазарам? —
Гудит, стыдит подземный звон.

Дарую я или ворую? —
К земле я преклоню уста:
Как лягу в землю я сырую?
Где древо моего креста?

Подземный звон — и звон небесный!
Душа придет на Божий Суд
Сказать, как на торгах бесчестных
Мою могилу продадут.

ВДОХНОВЕНЬЕ

Не труд, а только наслажденье,
Любовь и нежность ко всему —
Вот что такое вдохновенье!
И все ответствует ему.

Смотри! Вот желтый лист кленовый,
Как зарисованный огонь,
И запах осени садовый
Течет с него мне на ладонь!

Послушай! Ветер в соснах дышит.
Коснись рукой вечерних трав.
Как будто синей гладью вышит
Их легкий шелковый рукав.

Все разделенно и взаимно!
Все! Даже гнев или тоска...
Все просит плача или гимна,
Когда душа в нас высока.

Лишь середина, заурядность
Не знает в духе торжества.
Так безответна теплохладность.
Ни то, ни се. Без Божества.

ЗИМНИЙ ГРОМ

И мне подарок был желанный —
Нежданной встречи зимний гром.
Шел снег, и пухом, и пером,
И серебром мне с неба данный.

Шел снег. Я шла среди зимы,
Как снег идет, так шла бездумно.
Вдруг неожиданно и шумно —
Гром! И с тобой столкнулись мы!

И изумленно: "Что такое?!"
Все вздрогнуло. Счастливый смех —
Зимою гром! И мы с тобою
Глаза в глаза глядим сквозь снег.

* * *

Сияй, зима! Прославься, царствуй.
Скрипят снега, и дым столбом.
Веселая, живи и здравствуй,
Играй, повелевай жезлом.

Сияй, зима! Январь румяный
Танцует свой балет на льду
Или ямщицкой песней странной
Смущает девушку-звезду.

Как снова слишком много значат
Простые старые слова.
И в шубку кутаясь и прячась,
Бегу я, руки в рукава!

Окно родное, кто-то дома!
Быстрей летят мои шаги,
Дверь хлопнет гулко и знакомо!
А дома — чай и пироги!

И все, как в праздник, в поцелуях,
И скатерть, как зима, бела.
Тепло, светло, в окно не дует.
Я здесь жила и чай пила...



СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

ТАЙНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

ВВЕДЕНИЕ. ПЕРЕСТРОЙКА — ЧАСТЬ ОБЩЕГО КРИЗИСА ИНДУСТРИАЛИЗМА

Глубокий кризис, который переживает сегодня Россия, — это часть общего кризиса индустриализма. Индустриализм можно считать метаидеологией Запада в Новое время, то есть современной западной цивилизации, которая возникла на обломках традиционного общества средневековья в результате цепной реакции революций (научной революции и Реформации, промышленной революции и серии политических революций), прокатившихся по Европе и ее культурным ареалам.

Как метаидеология, индустриализм основывается на фундаментальных философских (и даже метафизических) идеях и может включать в себя конфликтующие идеи и идеологии низшего порядка. Так, марксизм, идейно вооружающий рабочих в их классовой борьбе против капитала, противостоит либерализму, отстаивающему право на частную собственность и свободную куплю-продажу рабочей силы. Но обе эти конфликтующие идеологии основаны на одной и той же антропологической модели, исходят из одной и той же квазирелигиозной идеи прогресса. Это — две ветви индустриализма.

Нынешний кризис индустриализма связан, прежде всего, с исчерпанием ресурса самого типа цивилизации, с ощущением (а иногда уже и пониманием) принципиальной ложности некоторых ключевых идей, лежащих в ее основе. Это — кризис идентичности, неразрешимое столкновение представлений человека западной цивилизации о самом себе, лежащей в основе его культуры картиной мира с новой эмпирической реальностью мира. Человек осознал целый ряд таких противоречий, которые в принципе не могут быть разрешены в обозримом будущем в рамках структур индустриальной цивилизации.

С чем связан, например, антропологический пессимизм, вызванный угрозой нарастания "парникового эффекта"[1]? С тем, что, вопреки внедренной в культуру идеи бесконечности мира, перед человеком вдруг встал естественный барьер, лишающий его свободы экспансии — а значит, ставящий под сомнение идею неограниченного прогресса. Подвергнуть ревизии категорию свободы и идею прогресса — значит ревизовать саму метафизику индустриализма. На это очень трудно решиться, и политические лидеры предпочитают идти по пути палиатив-

[1] "Парниковый эффект" — экранирующее действие накапливающегося в верхних слоях атмосферы углекислого газа, который препятствует рассеянию тепла в Космос, что ведет к потеплению климата Земли. Нарушение теплового баланса, согласно расчетам, может вызвать расширение зоны пустынь с утерей плодородных земель, таяние льдов Антарктиды с повышением уровня океана и затоплением дельт больших рек, ряд других катастрофических последствий. Источник избыточного углекислого газа — промышленность и автомобильный транспорт (более 90% выбросов делается в Северном полушарии). Положение усугубляется быстрым сокращением способности биосферы поглощать углекислый газ в результате загрязнения океана и снижением интенсивности "дыхания" планктона, а также в результате вырубки лесов.

КАРА-МУРЗА Сергей Георгиевич родился в 1939 году. Окончил химический факультет МГУ в 1961 году. Доктор химических наук, профессор. Автор книг "Проблемы организации научных исследований" (1981), "Проблемы интенсификации науки: технология научных исследований" (1989). Живет в Москве.

ных мер[2]. Но это лишь осложняет дело, ибо эти меры взрывают этические структуры индустриализма. Ибо самое простое (и технически вполне доступное для "первого мира") средство — это предотвратить увеличение выбросов в атмосферу CO_2 странами "третьего мира". Иными словами, запретить им развитие промышленности и транспорта, вообще рост потребления энергии — запретить им развитие. Но это означает отказ от христианских ценностей и производных от них идей гуманизма и демократии, написанных на знамени индустриализма. В пределе это — освоение Западом идеи *глобального фашизма*, беззаветным первопроходцем которой был Гитлер. Принятие этой идеи и ее претворение в жизнь — один из вариантов выхода из кризиса (вернее, его трансформации). Полного согласия человек Запада на это еще не дал, он в нерешительности. Но уже делаются эксперименты, исполненные глубокого смысла (например, бомбардировки Ирака). Помимо отработки технологий, они служат и как тестирование общественного мнения Запада. И общий вывод почти не вызывает сомнения: средний человек западной цивилизации это *принимает*. Это видно по тому, как быстро возрождаются и распространяются в культуре среднего класса на Западе идеи *евроцентризма* — идеологии, вспышки которой всегда говорят о подготовке к какому-то новому Великому походу.

У нас к этому вопросу свой интерес, поскольку в общественном сознании в России прочно укоренилась совершенно мистифицированная картина "мировой цивилизации", куда якобы необходимо "вернуться", чтобы выйти из кризиса. И для начала надо немного разобраться с понятиями. В бытность премьер-министром Егор Гайдар, отбиваясь от наседавших депутатов, с гордостью заявил: "Да, я — западник!" Депутаты так и отхлынули — ну, раз западник, тогда конечно. Мол, тогда помирать надо, такая нам выпала судьба. А между тем западничество, это "второе Я" славянофильства, было частью российской, а не *антироссийской* культуры — левой головой нашего орла. Мы вышли из одной с Западом "материнской" цивилизации — эллинской, а потом, в союзе с множеством народов, в географических условиях Евразии (которые, правда, многим западникам, начиная с Чаадаева, очень не нравятся), создали свою, особую цивилизацию. Но о разрыве с Западом и речи не было, для нас, по словам Достоевского, седые камни Европы, быть может, дороже, чем самому европейцу. Так что бояться премьера-западника нам нечего, об этом можно было бы только мечтать. Да дело-то в том, что под маской западничества сегодня скрывается именно *евроцентризм* — расистская идеология Запада, возникшая вместе с капитализмом в недрах протестантского мироощущения.

Евроцентризм не сводится к какой-либо из разновидностей этноцентризма, от которого не свободен ни один народ (тем более в условиях кризиса). Это — идеология, претендующая на универсализм и утверждающая, что все народы и все культуры проходят один и тот же путь и отличаются друг от друга лишь стадией развития. Евроцентризм, получивший мощную идеологическую поддержку от науки (в виде дарвинизма), широко распространился в XIX веке. Но основные его положения остались неизменными и сегодня. Когда общество находится на распутье и определяет путь своего развития, политики, проникнутые идеологией евроцентризма, утверждают, что ответ на этот вопрос есть, его открыла Европа. Их лозунг: "Следуй за Западом — это лучший из миров". Африканский экономист и социолог Самир Амин в своей книге "Евроцентризм как идеология: критический анализ" отмечает:

"Либеральная утопия и ее чудодейственный рецепт (рынок + демократия) — это всего лишь набор бледных штампов в рамках господствующих на Западе взглядов. Их успех в средствах массовой информации сам по себе не придает им никакой научной ценности, а говорит лишь о глубине кризиса западной мысли. Потому что этот рецепт, основанный на стойком нежелании понять, что представляет из себя реально существующий капитализм, вероятно, является нежелательным с точки зрения жертв этой системы, и даже не желаемым ими".

---

[2] В течение последних четырех лет вопрос о сокращении или хотя бы замораживании выбросов CO_2 в атмосферу неоднократно ставился на самых представительных международных форумах. Но даже включение этого вопроса в повестку дня блокировалось развитыми индустриальными странами (прежде всего, США). Президент США Буш прямо сказал, что это означает поставить под контроль сам прогресс.

Основная причина, по которой кризис индустриализма с особо разушительной силой проявился именно в России, также лежит в плоскости культуры. Ибо в культурном плане Россия всегда была химерой — частью Запада, но не Западом; христианским миром, но не современным, а традиционным обществом; традиционным обществом, но не Востоком. В результате ключевые идеи западной цивилизации прививались на ствол иного мироощущения и давали порой прекрасные, но аномальные, гипертрофированные плоды. Если воспринималась идея прогресса, то она приобретала уже не квазирелигиозный, а совершенно религиозный смысл (вспомним "Ювенильное море" Андрея Платонова). Если импортировался марксизм и идея классовой борьбы (совершенно внешняя для традиционного общества), то ей отдавались также с сугубо религиозной страстью, не имеющей ничего общего с западным рационализмом, как бы он ни был в некоторых случаях жесток. В "Чевенгуре" буржуев и полубуржуев убивали как братьев, которым надо помочь очистить душу от скверны классовой принадлежности.

Разумеется, когда кризис приобретал в России социально-экономическую окраску (как в 1917 году или сегодня), он также переживался гораздо болезненнее, чем на Западе. Россия не имела того огромного буферного механизма, при помощи которого Запад мог гасить возникающие неравновесия — колонии на первом этапе индустриальной цивилизации, и "третий мир" сейчас. Будучи традиционным обществом, Россия и не могла относиться к вошедшим в нее народам, как метрополия к колониям. Россия "наращивалась" на полиэтническую матрицу, возникшую с самого начала при соединении в Русь славянских, угро-финских и тюркских племен. В основе этой матрицы лежала идея общей исторической судьбы и метафора *семьи народов*. Поэтому Россия субсидировала окраины и была лишена важнейшего для Запада маневра путем изъятия ресурсов из колоний и "экспорта кризиса" в колонии[3].

Наш опыт особенно красноречив, ибо разрушаются несущие структуры общества, как социальные, так и культурные, и в короткий момент разрыва, на изломе, видно то, что скрыто в спокойный период. Уже то уникально, что если в Африке пропагандистом "бледных штампов" евроцентризма является компрадорская буржуазия, отказавшаяся от национальных культурных корней ("люмпен-буржуазия"), то в России — цвет нации, ее интеллигенция. И в своем идеологическом энтузиазме она вынуждена даже предавать память тех, кто еще недавно относился к числу ее интеллектуальных кумиров. Возьмем структурализм. Редкий интеллигент, услышав это слово, не возведет к небу очи: "Ах, Леви-Стросс! Огромный, светлый ум". Но ведь этот светлый ум отрицал евроцентризм всем своим трудом. Вот лишь некоторые фрагменты из его работ:

"...Трудно представить себе, как одна цивилизация могла бы воспользоваться образом жизни другой, кроме как отказаться быть самой собою. На деле попытки такого переустройства могут повести лишь к двум результатам: либо дезорганизация и крах одной системы — или оригинальный синтез, который ведет, однако, к возникновению третьей системы, не сводимой к двум другим".

Такой синтез мы видели и в России (СССР), и в Японии. Такую дезорганизацию и крах мы видим сегодня в РФ. Читаем далее:

"Нет, не может быть мировой цивилизации в том абсолютном смысле, который часто придается этому выражению, поскольку цивилизация предполагает сосуществование культур, которые обнаруживают огромное разнообразие; можно

---

[3] Насколько велики масштабы этого маневрирования, можно видеть на простейших примерах. Когда во Франции в 20-х годах прошлого века возник кризис аграрного перенаселения, она колонизовала соседние страны той же "средиземноморской цивилизации" (Магреб). В Алжире, например, французским колонистам была просто передана половина (!) культивируемых земель. Напротив, когда в США при избытке земли возникла острая нехватка рабочей силы, в Африке были захвачены и обращены в рабство миллионы самых сильных и здоровых молодых мужчин. Современные расчеты показывают, что только невидимое изъятие стоимости "первым миром" из "третьего" составляет около 400 млрд. долларов в год (сюда не включаются "видимые" потоки: вывоз прибылей иностранного капитала, проценты на внешний долг и "бегство" капиталов компрадорской буржуазии). В результате уровень эксплуатации рабочих в "первом мире" при заданном уровне прибавочной стоимости снижается на 40%. Как сказал, радуясь краху коммунизма, один экономист-католик, "развитые капиталистические страны даже не нуждаются в эксплуатируемых массах внутри своей собственной нации. Они имеют для этого слабые народы, так называемый "третий мир". Они могут даже поддерживать "чистоту", которую им обеспечивает географическая удаленность этих народов. Об этом не подумал марксизм, который показал себя гораздо менее изобретательным, чем развитый капитализм".

даже сказать, что цивилизация и заключается в этом сосуществовании. Мировая цивилизация не могла бы быть ничем иным, кроме как коалицией, в мировом масштабе, культур, каждая из которых сохраняла бы свою оригинальность... Священная обязанность человечества — охранять себя от слепого партикуляризма, склонного приписывать статус человечества одной расе, культуре или обществу, и никогда не забывать, что никакая часть человечества не обладает формулами, приложимыми к целому, и что человечество, погруженное в единый образ жизни, немыслимо".

Леви-Стросс даже считал возможным противоядием против униформизации человечества "возникновение в мире антагонистических политических и социальных режимов; можно представить себе, что диверсификация, обновленная каждый раз в новом разрезе, позволит через изменяющиеся формы, которые никогда не перестанут удивлять человека, неопределенное время поддерживать то состояние равновесия, от которого зависит биологическое и культурное выживание человечества".

Все острые кризисы в России последних двухсот лет зарождались и вызревали в той части общества, которая наиболее близко соприкасалась с западными идеями и образом мысли, была к ним наиболее восприимчива. Это естественно, так как именно в западном мироощущении утвердилась идея *изменения через революцию*, через слом старых структур, через свержение авторитетов. Соединяясь с мессианским, религиозным мироощущением русского человека (или аналогичным, конкурирующим с ним мироощущением восточноевропейского еврея), эти уравновешенные на Западе рациональностью идеи приобретали в России взрывчатую силу. Носителем ее в первую очередь была интеллигенция (и тяготеющие к ней, находящиеся под ее влиянием представители среднего класса). Здесь не только культивировались, но становились почти обязательной моральной нормой ненависть к традиционным структурам национального социально-экономического, политического и культурного уклада, радикальные революционные идеи.

Феноменологическое описание, а также анализ психологических и этических оснований этой склонности русской интеллигенции доводить любую нестабильность до стадии острого кризиса дали Достоевский и русские философы-эмигранты, наблюдавшие подготовку и осуществление революций 1905 и 1917 годов (сборники "Вехи" и "Из глубины"). Особое внимание обратили эти философы на гибридизацию гипертрофированного морализаторства русского интеллигента с двумя порождениями западной культуры — научным рационализмом и этикой нигилизма Ницше. Кризис конца XX века, перестройка и либеральная реформа в России дают новый пласт наблюдений и заставляют более подробно рассмотреть принципиальные дефекты научного рационалистического мышления, которые проявляются в условиях культурного кризиса и сами становятся катализатором этого кризиса. Речь идет об общем явлении западной цивилизации и ее культурных анклавов в иных обществах (в данном случае, в среде российской интеллигенции).

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ МИФЫ ЕВРОЦЕНТРИЗМА

Запад как христианская цивилизация

Как и все крупные цивилизации, западноевропейская в процессе своей консолидации активно использовала религиозный фактор. Евроцентризм, как идеология, включает в свою структуру миф *христианизма* Запада как той матрицы, которая предопределила социальный порядок, тип рациональности и культуру Запада в целом. В зависимости от исторической конъюнктуры этот миф подавался в самых различных вариациях или вообще приглушался (во время Французской революции отношение к церкви определялось лозунгом "Раздавите гадину!", а сегодня говорится, что Запад — иудео-христианская цивилизация). Важно, что христианство представлено как формообразующий признак западного человека — в противопоставлении "мусульманскому Востоку". Для создания такого образа идеологам пришлось немало потрудиться. Да и не только идеологам, а и

европейским художникам, приучающим публику к мысли, что в Святом Семействе все были сплошь блондинами. Самир Амин замечает:

"Поскольку христианство родилось не на берегах Луары или Рейна, было необходимо произвести операцию по интегрированию этого учения — восточного по своим культурным корням — в западническую телеологию. Из Святого Семейства и египетских и сирийских отцов Церкви надо было сделать европейцев... Эта евроцентристская конструкция базируется на том толковании религии, которое свойственно любому религиозному фундаментализму. Но именно так и видит себя Запад и определяет себя как христианский (говорится: западная и христианская цивилизация)".

Для России этот миф имеет особое значение, поскольку в нем ставится под сомнение "законность" восточного христианства — православия. Вопреки всем историческим фактам большинство философствующих российских демократов говорят как о фатальной исторической ошибке о принятии Русью христианства от Византии и, таким образом, "выпадении" из христианской цивилизации. Ведь всерьез утверждается, что напрасно в XIII веке русские отвергли цивилизованных христиан-тевтонов и приняли иго мусульман-татар — притом что Александр Невский побратался с сыном Батыя — христианином. Из исторической памяти просто стерли тот факт, что среди шедших с Востока кочевников-монголов христианство было одной из наиболее распространенных религий, а мусульман практически не было. Точно так же в общественном сознании изначально "западным", христианским народом предстают литовцы, принявшие христианство лишь в XV веке, а половцы, которые смешались с русскими, будучи в основном христианами, считаются мусульманами.

Нынешний этап евроцентризма характеризуется внутренней противоречивостью трактовки христианского мифа. С одной стороны, потребность в консолидирующих мифах возросла. В то же время сам тип современной цивилизации, ее этика и остальные основополагающие мифы все более несовместимы с постулатами христианства. Поэтому уже сорок лет назад теолог и историк культуры Романо Гвардини предупреждал, что паразитированию Запада на христианских ценностях приходит конец. Эти трудности стали нарастать с самого начала революций, приведших к образованию современного общества индустриальной цивилизации. Уже колонизация и необходимый для ее оправдания расизм (которого не существовало в средневековой Европе) заставили отойти от христианского представления о человеке. Пришлось позаимствовать идею избранного народа (культ "британского Израиля"), а затем дойти до расовой теории Гобино и до поисков нордических предков Карла Великого и других потомков "златокудрого Менелая". Как пишет А. Тойнби, "среди англоязычных протестантов до сих пор можно встретить "фундаменталистов", продолжающих верить в то, что они избранники Господни в том, самом буквальном смысле, в каком это слово употребляется в Ветхом завете".

Отход от Евангелия и обращение к ряду книг Ветхого завета в ходе Реформации понадобились и для этического обоснования нового, необычного для традиционного общества отношения к наживе. Это подробно исследует М. Вебер в своем труде "Протестантская этика и дух капитализма". Одно только признание богоугодности ростовщичества, совершенно необходимое для развития финансового капитала, означало важное изменение в теологии западного человека. Оно было настолько революционным, что передовые в этом отношении протестантские секты называли себя "британскими израильтянами" (Вебер пишет о "британском гебраизме" как особом культурном явлении). Сыгравшие важную роль в становлении современного общества культурные течения, в том числе мистические (например, масонство), имели ярко выраженный нехристианский характер. А трактовка заложенных в основание этого общества понятий *свобода*, *равенство* и *братство* — характер прямо антихристианский[4].

---

[4] Открытости, солидарности и любви всех людей, с которыми связываются эти понятия в христианстве, революционные идеологи современного общества противопоставили идею власти *просвещенного братства* (братьев-масонов), свобода и равенство которых предполагали разрушение всех традиционных авторитетов и должны были демонстрироваться ритуальным убийством *монарха* и *гения*. Существует точка зрения, что этот ритуал предписан мистическим мифом происхождения братства от вольных каменщиков, строивших иерусалимский Храм. Гениальным архитектором строй-

Примечательно, что в рамках евроцентризма сегодня в опалу попало не только православие, но и другая консервативная (хотя и не такая "реакционная") ветвь христианства — католичество. Здесь даже очень прогрессивный папа римский не помогает. В то время как в философии и истории на все лады обсуждается благотворная роль протестантизма (например, в развитии европейской науки), средства культурного воздействия акцентируют внимание то на обскурантизме католической Церкви (странный спектакль с извинениями за "дело Галилея"), то на преследовании евреев инквизицией. И результат достигается. Например, молодежь Испании (даже верующая) явно стесняется своей причастности к католичеству и при каждом удобном случае старается продемонстрировать свое к нему критическое отношение. Был я оппонентом на одной диссертации по истории образования в XIX веке. Знаком с диссертантом, знаю, что он — верующий католик. Но на всякий случай, как свидетельство своей лояльности демократии, рассыпает по тексту такие замечания: "Попытки включить преподавание науки в качестве ключевого элемента системы образования наталкивались на религиозную традицию христианства, особенно в Католической церкви... В условиях непримиримого противостояния между религиозной традицией и новой наукой сложился климат общего отрицательного отношения к науке" и т. п. Зачем, спрашиваю, это делаешь? Почему противостояние *непримиримое*, ведь как-то примирились? И если говорить о религиозной традиции, разве именно христианство было наиболее консервативным в области образования? Ведь известно, что именно христианство породило "вселенскую школу", что вся система образования, которой посвящена твоя диссертация, выросла из христианского университета и схоластики[5]. Оказывается, никак нельзя. Живешь в условиях демократии — будь добр соответствовать прогрессивным установкам.

Наконец, весь пафос индустриальной цивилизации, связанный с технологией, культом огня и силы, эпосом переделки мира носит не христианский, а *титанический* характер. Действительно, образ Прометея пронизывает все европейское образование, и Самир Амин просто констатирует факт: "Капиталистическая цивилизация является, очевидно, *прометеевской*. Но Прометей — грек, а не христианин". Если же говорить о конце нашего века, то титаническое начало, похоже, уступает место циклопическому. Сила становится все более разрушительной, а ее демонстрация — все более жестокой. В них все более проглядывают неоязыческие ритуалы.

Запад — продолжение античной цивилизации

Другим базовым мифом евроцентризма является созданная буквально "лабораторным способом" легенда о том, что современная западная цивилизация является плодом непрерывного развития античности (колыбели цивилизации). Эта легенда соответствующим образом преломляется во всех основных исторических планах. В области социально-экономической она предстает как история "правильной" смены формаций и непрерывного прогресса. Здесь по мере развития производительных сил первобытнообщинный строй сменяется рабством, которое уступает место феодализму, а затем, в ходе научной и промышленной револю-

---

ки был царь Израиля. Каменщики, чтобы продемонстрировать свою свободу и равенство, убили этого монарха-гения. В Новое время, похоже, стало трудно находить людей, совмещающих два этих качества в одном лице. И в 1793 году пришлось, помимо короля, послать на гильотину гения Франции Лавуазье (оказавшего, кстати, неоценимые услуги революции). Эта казнь не находит рационального объяснения ни у одного историка.

[5] Через пару дней — еще более грустное наблюдение. Приехал с лекцией известный профессор из Италии. Персона во всех отношениях приятная — бывший коммунист, ныне увлеченный исследователь иудаизма. Тема: "Каббала и наука" — как говорится, лед и пламень. И рассказывает, с юмором, историю, как средневековый маг и раввин уговаривал папу римского освоить каббалу, а тот категорически отказывался. Тогда раввин сам прибыл в Ватикан и, как только он ступил ногой во дворец, папа умер. Как смешно! И что же? Аудитория, католики и дети католиков, сидящие в актовом зале колледжа "Санта Исабель", расхохотались. И не потому, что папа был какой-то особый реакционер, так что поделом ему. Просто посчитали необходимым поддержать хихиканье профессора. Меня это поразило. Ведь им рассказали легенду об убийстве главы церкви, к которой принадлежали все их предки, — иерарха, который, как мог, сопротивлялся враждебной мистической силе. Рассказали в лекции не научного, а пропагандистского характера, это было ясно. Ну чему тут можно радоваться, каким бы ты атеистом ни был?

ции — капитализму. Затем между разными течениями евроцентризма начинается спор о том, является ли капитализм завершающей стадией развития человечества ("конец истории") или является предысторией и лишь готовит предпосылки для социализма. Мы в этот спор вдаваться не будем. Главное, что в рамках евроцентризма лишь эта смена формаций признается правильной. Раз славяне и монголы не знали рабства, а в Китае не было крепостного права и государственной религии — значит, в цивилизацию им попасть и не удалось, сегодня должны проходить специальный курс обучения у Запада.

Но сама схема мифологична. Древняя Греция не была частью Запада, она была неразрывно связана с культурной системой Востока. А наследниками ее в равной мере стала варварская Западная Европа (через Рим) и восточно-христианская, православная цивилизация (через Византию). Более того, этот античный миф вначале был вообще развит в противовес мифу христианскому. Об этом пишет Самир Амин:

"Евроцентризм не является социальной теорией, которая бы интегрировала все свои элементы в целостную и непротиворечивую картину общества и истории. Речь идет о предрассудке, который действует как деформирующая сила в самых разных предлагаемых социальных теориях. Этот предрассудок евроцентризма пользуется запасом готовых элементов, включая один и отбрасывая другой в зависимости от идеологических запросов момента. Известно, например, что европейская буржуазия в течение долгого времени с недоверием и даже презрением относилась к христианству и поэтому раздувала "греческий миф"... Согласно этому мифу, Греция была матерью рациональной философии, в то время как "Восток" никогда не смог преодолеть метафизики... Эта конструкция совершенно мистифицирована. Мартин Бернал показал это, описав историю того, как, по его выражению, "фабриковалась Древняя Греция". Он напоминает, что греки прекрасно осознавали свою принадлежность к культурному ареалу Древнего Востока. Они не только высоко ценили то, чему обучились у египтян и финикийцев, но и не считали себя "анти-Востоком", каковым представляет евроцентризм греческий мир. Напротив, греки считали своими предками египтян, быть может, мифическими, но это не важно. Бернал показывает, что "эллиномания" XIX века была инспирирована расизмом романтического движения, архитекторами которого часто были те, кто инспирировал и "ориентализм".

В СССР мы тоже учились по сугубо евроцентристским учебникам истории, детально знали все перипетии афинской демократии и споров в римском сенате, Восток же был для нас застывшей неподвижной маской. Точно так же из марксизма нам давали окрашенные в евроцентристские цвета выжимки. Сейчас мы должны будем, как больной, обучающийся говорить после паралича, восстанавливать свои контакты с марксизмом — мы не можем обойтись без его разработок, как и без европейской науки и философии вообще. И когда прилагаешь эти усилия, оказывается, что Маркс был гораздо умнее и глубже, чем нам его представляли. Многое, что мы принимали за его постулаты, было не более чем рабочей моделью. Это касается и евроцентризма, в частности трактовки "греческого мифа"[6].

Мифом является и утверждение о непрерывности процесса культурной эволюции и смены социально-экономических формаций. Феодализм был принесен *варварами*, сначала размывавшими, а затем и завоевавшими рабовладельческую Римскую империю. Варвары же в своем укладе этапа рабства не проходили — они становились рабами как военнопленные античных государств (и создавали там проблемы). Какая же это непрерывность? Это — типичный *разрыв непрерывности*, причем в крайней форме, связанной с военным поражением. О культуре и

---

[6] Самир Амин, указывая на "пропитанность" марксизма евроцентризмом, в то же время бережно старается выявить реальный смысл критикуемых им положений, очистить их от евроцентристских наслоений. В частности, он отмечает:

"Маркс, чья интуиция порой достигала удивительной остроты и опережала возможный для его времени уровень теории, объясняет нашу симпатию к Древней Греции тем, что она — напоминание о "нашем детстве" (детстве всего человечества, а не Европы); Энгельс никогда не переставал выражать аналогичные симпатии не только по отношению к "варварам" Запада, но и к ирокезам и другим аборигенам Северной Америки — напоминанию о нашем еще более далеком детстве. Позже многие антропологи — и в этом аспекте не евроцентристы — выражали такое же расположение к другим называемым "примитивными" народам, без сомнения, по той же причине".

говорить нечего — разрыв в продолжении античной традиции составлял более тысячи лет (оттого-то и *Возрождение*, оттого-то и миф о "темном" средневековье как потерянном времени). Более того, Запад на время вообще утерял культурное наследие античности и получал его по крохам от Востока — через арабов, тщательно сохранивших и изучивших греческую литературу. Западная цивилизация создавалась сообща, и евроцентризм, кроме всего прочего, — идеология *неблагодарных потомков*. Уж этому мы сегодня имеем доказательств сверх меры.

Миф о "правильной" смене общественных формаций подкрепляется важным мифом *эволюционизма*. Своими корнями этот миф уходит в историю восприятия времени в европейской культуре, в историю перехода от циклического времени аграрной цивилизации к идее бесконечного, линейного, направленного в будущее времени ("стрела времени"). Новое восприятие времени создало почву для появления идеи *прогресса*, как считают некоторые философы, самой важной идеи Запада за три тысячи лет. Идея прогресса стала той метафизической, почти религиозной основой, которая заставляет капиталиста расширять производство и накапливать капитал. Этого жгучего мотива искренне не понимает *живущий* на земле человек традиционного общества[7].

Идея эволюционизма приобрела статус фундаментального мира после триумфального шествия *дарвинизма* по всем ареалам европейской культуры (с особенностями его восприятия в католических и православных обществах, которые хорошо изучены). Этот триумф вроде бы биологической теории и был, видимо, предопределен острой социальной потребностью в научном обосновании того, что уже вошло в культуру и социальную практику (социал-дарвинизм Спенсера появился раньше, чем сам дарвинизм; Маркс был счастлив тем, что его политэкономическая концепция интенсивного расширенного воспроизводства и технического прогресса получила с дарвинизмом естественно-научное объяснение). Получив сильные импульсы от сугубо западноевропейских идеологических структур (протестантской "естественной теологии", мальтузианства и механистической политэкономии Адама Смита), дарвинизм сторицей вернул долг, снабдив евроцентризм прекрасно замаскированным идеологическим оружием, которое вот уже полтора века интенсивно используется во всех сферах общественной жизни.

В приложении к обществу, культуре и цивилизации эволюционизм дал идею *развития* и *естественного отбора*. Общества разделились на развитые и слаборазвитые (или развивающиеся), в обыденное сознание прочно вошла мысль, что отставшие в своем развитии общества или погибают в ходе конкуренции, или становятся зависимыми и эксплуатируемыми, и что это — *естественный* закон жизни[8]. Согласно этому мифу, Западу повезло в том, что он с самого начала попал на "столбовую дорогу" мировой цивилизации, а другие заплутались и выбираются на эту дорогу с опозданием — за что вынуждены платить опередившему их Западу как более удачливому конкуренту. Сопротивляться этому бесполезно, ибо это — закон природы. Но хорошим поведением у Запада можно получить скидку (а плохое поведение неизбежно влечет за собой наказание).

Но антропологи знают (хотя сегодня разумно помалкивают), что в приложении к культуре и обществу *эволюционизм* является идеологической спекуляцией и не имеет никакого научного обоснования. К. Леви-Стросс, изучавший жизнь "примитивных" народов и их культур, "со вкусом поданных к столу "со всеми соусами" псевдонаучным людоедством, презирающим целостность человеческой

---

[7] Для этого человека страсть к накоплению, движущая "настоящего" капиталиста, действительно остается загадкой, которой он заинтригован и которую силится разрешить. С детства помнятся разговоры стариков (особенно в деревне) на эту тему, которые всегда заканчивались недоуменными сентенциями вроде "ведь двух обедов не съешь" или "ведь на тот свет с собой не возьмешь". Лишь сегодня, читая Вебера, психоаналитиков типа Фромма и по-новому вникая в Ветхий завет, понимаешь, что наши старики и не могли понять западного капиталиста, ибо его мотивация носит иррациональный характер, а чужую метафизику *понять* нельзя по определению. Но ее полезно *знать*.

[8] Чтобы не обострять проблему, мы не будем углубляться здесь в такую щекотливую тему, как биологический расизм и уничтожение "отставших в своем развитии" народов огнем и мечом *прометеевской цивилизации*. Как пишет Э. Тоффлер в "Третьей волне", сам Дарвин высказался в связи с уничтожением аборигенов Тасмании: "С почти полной уверенностью можно ожидать, что в какой-то период в будущем... цивилизованные расы людей уничтожат и заместят дикие расы во всех уголках земли". По мнению многих историков из "третьего мира", сам Дарвин был видным социал-дарвинистом, поэтому приложение "социал" можно вообще опустить.

культуры", во множестве мест пытается объяснить это самыми разными способами. Вот один из самых общедоступных:

"Биологический эволюционизм и псевдоэволюционизм, который мы рассматриваем, — совершенно разные доктрины. Первая возникла как широкая рабочая гипотеза, основанная на наблюдениях, в которых удельный вес интерпретации исключительно мал... Но когда от фактов биологии переходят к фактам культуры, все резко усложняется. Можно извлечь из земли материальные объекты и убедиться, что, согласно глубине геологических слоев, форма или способ изготовления определенных объектов изменяется. И тем не менее один топор не рождает физически другой топор, как это происходит с животными. Сказать в этом случае, что один топор эволюционировал из другого, представляет из себя метафорическую формулу, не обладающую научной строгостью, которую имеет аналогичное выражение в отношении биологических явлений. И то, что верно для материальных объектов, физическое существование которых доказывается раскопками, еще более справедливо по отношению к общественным институтам, верованиям, вкусам, прошлое которых нам обычно неизвестно. Концепция биологической эволюции сопряжена с гипотезой, имеющей самый высокий коэффициент вероятности, который достижим в сфере естественных наук; напротив того, концепция социальной и культурной эволюции дает, в самом лучшем случае, лишь соблазнительную и опасно удобную процедуру представить действительность".

В отношении же целых народов и цивилизаций биологическая метафора эволюционизма вообще не имеет смысла, ибо число единиц анализа мало, и их конкретная история известна и спекуляций не допускает. Ради идеологических спекуляций обязательно приходится историю фальсифицировать. Развитие Запада и погружение в "слаборазвитость" множества культур — единый конкретно-исторический процесс, в котором части взаимообусловлены. Леви-Стросс, также разными способами, постоянно напоминает это западному интеллигенту:

"Это отношение (Запада со "слаборазвитыми" культурами) нельзя представлять абстрактно. Невозможно отвлечься от тех результатов, к которым привели практикуемые в течение нескольких веков насилие, угнетение и уничтожение. С этой точки зрения тема развития не может быть предметом спекулятивных рассуждений... Никогда развитие нельзя считать, как это делал Малиновский (Malinovski B. The Dynamic of Cultural Change), "результатом воздействия более высокой и активной культуры на более простую и пассивную". Эта "простота" и "пассивность" являются не внутренними свойствами рассматриваемых культур, а результатом воздействия на них *развития* в его начальном периоде: результатом ситуации, созданной зверствами, грабежом и насилием, без которых не были бы созданы исторические условия для этого самого развития (произойди все другим образом, ситуация контакта была бы совершенно иной, настолько, что мы не можем ее даже представить себе). Поэтому не может быть "начальной точки изменения", если только мы не согласимся определить ее в тот единственный момент, когда она реально существовала, то есть в 1492 году, накануне открытия Нового Мира. После чего через разрушение Нового Мира, а затем еще нескольких миров, начались складываться условия для развития в пользу Запада, которые затем обеспечили это развитие, прежде чем оно снова нависло извне над обществами, ограбленными в прошлом, — чтобы это самое развитие могло родиться и расти на их останках... И намного раньше этого "нового контакта" эти общества ощущали на себе воздействие двумя способами: или в форме второго, "дистанционного" разрушения, или в форме их собственных желаний, которые также эквивалентны разрушению".

Сегодня в России мы имеем, пожалуй, все три формы: внедренные в общественное сознание "желания", разрушение "на расстоянии" и прямой "контакт" с полной открытостью для грабежа и "развития".

Технологический миф

Одно из утверждений евроцентризма состоит в том, что именно западная цивилизация создала культуру (философию, право, науку и технологию), кото-

рая доминирует в мире и предопределяет жизнь человечества. В это искренне верит человек, сформированный школой и телевидением и уже неспособный взглянуть вокруг (ведь приручить и обучить лошадь было не менее сложным и творческим делом, чем построить атомную бомбу, — но западная философия сумела вытравить чувство благодарности к предкам). Одним из "завоеваний" евроцентризма является реальное подавление исторического чувства в людях — одна из великих побед над природой. Время стало *манипулируемо*[9]. Леви-Стросс пишет: "Вся научная и промышленная революция Запада умещается в период, равный половине тысячной доли жизни, прожитой человечеством. Это надо помнить, прежде чем утверждать, что эта революция призвана полностью перевернуть эту жизнь". А дальше он ставит под сомнение сам критерий, по которому оценивается культурный вклад той или иной цивилизации:

"Два-три века тому назад западная цивилизация посвятила себя тому, чтобы снабдить человека все более мощными механическими орудиями. Если принять это за критерий, то индикатором уровня развития человеческого общества станут затраты энергии на душу населения. Западная цивилизация в ее американском воплощении будет во главе... Если за критерий взять способность преодолеть экстремальные географические условия, то, без сомнения, пальму первенства получат эскимосы и бедуины. Лучше любой другой цивилизации Индия сумела разработать философско-религиозную систему, а Китай — стиль жизни, способные компенсировать психологические последствия демографического стресса. Уже три столетия назад ислам сформулировал теорию солидарности для всех форм человеческой жизни — технической, экономической, социальной и духовной — какой Запад не мог найти до недавнего времени и элементы которой появились лишь в некоторых аспектах марксистской мысли и в современной этнологии. Запад, хозяин машин, обнаруживает очень элементарные познания об использовании и возможностях той высшей машины, которой является человеческое тело. Напротив, в этой области и связанной с ней области отношений между телесным и моральным Восток и Дальний Восток обогнали Запад на несколько тысячелетий — там созданы такие обширные теоретические и практические системы, как йога Индии, китайские методы дыхания или гимнастика внутренних органов у древних маори... Что касается организации семьи и гармонизации взаимоотношений семьи и социальной группы, то австралийцы, отставшие в экономическом плане, настолько обогнали остальное человечество, что для понимания сознательно и продуманно выработанной ими системы правил приходится прибегать к методам современной математики... Австралийцы разработали, нередко в блестящей манере, теорию этого механизма и описали основные методы, позволяющие его реализовать, с указанием достоинств и недостатков каждого метода. Они ушли далеко вперед от эмпирического наблюдения и поднялись до уровня познания некоторых законов, которым подчиняется система. Не будет преувеличением приветствовать их не только как родоначальников всей социологии семьи, но и как истинных основоположников, придавших строгость абстрактного мышления изучению социальных явлений".

Не вызывает сомнения, однако, что лишь западная цивилизация создала технологические средства и тип взаимоотношений между нациями, при которых стала возможной и весьма вероятной смерть человечества.

В России сегодня миф о том, что Запад изначально был генератором технологий для всего мира, используется очень активно. Виталий Коротич даже ссылается

---

[9] Вся техносфера, в которой живет человек Запада, действительно создает — даже на бытовом уровне — ощущение полной победы над пространством, климатом и временем, причем инструментом победы являются *деньги*. Пространства не существует, ибо ты (если позволяет кошелек) можешь преодолеть его на самолете (даже сверхзвуковом) или при помощи телефона и телефакса. Человек желает настолько чувствовать себя независимым от климата, что даже если едет в магазин за пару километров, включает в машине кондиционер. И печальную реальность отражает анекдот, порожденный нашим закомплексованным интеллигентом (советский турист на Западе, зимой, спрашивает в лавке: "Когда у вас начинают продавать свежую клубнику?" — и слышит в ответ: "Как и все остальное, в восемь часов утра"). Для человека традиционного общества, сохранившего ощущение второго (циклического) времени, это странно. Наоборот, наслаждение видится в том, чтобы переживать ход времени и его "вечное возвращение" — ощущать его в плодах и удовольствиях, *соответствующих* времени года, а не подавляющих его структуру, переживать летом жару и прохладу, а зимой — мороз и тепло дома. А в человеке среднего класса, стремящемся быть "настоящим европейцем", горит болезненное желание есть клубнику именно зимой, а кататься на лыжах именно летом, на дорогом курорте.

на "Дубинушку" — мол, как машину изобрести, чтоб работе помочь, так сразу к "англичанину-мудрецу". А сами с пьяной бабой, да вдоль по Питерской. Исаак Фридберг, наоборот, поглаживает русского мужичка по головке и науськивает его на Восток, откуда "постоянно идет угроза" — в то время как с Запада он получал только блага:

"Через западные границы пришло в Россию все, что и по сей день является основанием могущества и национальной гордости России... — все виды транспорта, одежды, большинства продуктов питания и сельскохозяйственного производства — можно ли сегодня представить Россию, лишенной этого?"

Действительно, невозможно себе представить Россию, вдруг лишенной всех видов одежды — а можно ли представить себе взрослого человека, хотя бы и из "Независимой газеты", всерьез озабоченного такой перспективой для России[10]? И как это, интересно, Запад предполагает отнять все, что он так щедро пропустил через свои границы в Россию? Но если серьезно, то это евроцентризм, доведенный уже не до абсурда, а до маниакальной стадии. Ну как может сегодня прийти в голову считаться, где сшили первые джинсы, а где научились делать горшок из глины. В исторической перспективе временные различия в появлении в разных странах телеграфа или хоккея исчезающе малы, а приручение лошади было для цивилизации событием несравненно более важным, чем изобретение паровой машины. И даже если встать на уровень рассуждений Фридберга — неужели он всерьез считает, что "большинство видов сельскохозяйственного производства" созданы Западом?

Нет смысла спорить с Фридбергом, сознательно "создающим сюжеты" (он, например, утверждает, что идея полетов в космос пришла в Россию с Запада — или вправду ничего не знает о метафизике космизма и о том, как она преломилась в разных культурах?). Но этот сюжет — хороший повод лишний раз послушать Леви-Стросса, причем именно о том, что дали Западу потомки наших сибирских народов. Он считает это редким случаем кумулятивного, непрерываемого (вплоть до вторжения европейцев) технологического развития в истории.

"За этот период (15—20 тыс. лет со времени перехода через Берингов пролив в Америку) эти люди продемонстрировали один из самых немыслимых случаев кумулятивной истории в мире: исследовали от северной до южной оконечности ресурсы новой природной среды, одомашнили и окультурили целый ряд самых разнообразных видов животных и растений для своего питания, лекарств и ядов и даже — факт, который не наблюдался нигде больше,— превращали ядовитые вещества, как маниока, в основной продукт питания, а другие — в стимуляторы или средства анестезии; систематизировали яды и снотворные соединения в зависимости от видов животных, на которых они оказывают селективное действие, и, наконец, довели некоторые технологии, как ткачество, керамика и обработка драгоценных металлов, до уровня совершенства. Чтобы оценить этот колоссальный труд, достаточно определить вклад Америки и цивилизации Старого Мира. Во-первых, картофель, каучук, табак и кокаин (основа современной анестезии), которые, хотя и в разных смыслах, составляют четыре опоры западной цивилизации; кукуруза и арахис, которые революционизировали африканскую экономику даже до того, как были широко включены в систему питания Европы; какао, ваниль, помидоры, ананас, красный перец, разные виды бобовых, овощей и хлопка. Наконец, понятие нуля, основы арифметики и, косвенно, современной математики, было известно и использовалось у майя как минимум за пятьсот лет до его открытия индийскими мудрецами, от которых Европа узнала о нем через арабов. Поэтому, видимо, календарь той эпохи у майя был точнее, чем в Старом Мире. Чтобы определить, был ли политический режим инков социалистическим или тоталитарным, было исписано море чернил. В любом случае, этот режим выражался через самые современные формулы и на несколько веков опередил европейские феномены того же типа".

И Леви-Стросс это писал, и я это цитирую без всякого желания начать

---

[10] Фридберг сообщает в начале своей статьи, что он прослушал курс Натана Эйдельмана "История — как сюжет" и что "таким остроумным способом он избавлял" слушателей от невежества. Видимо, все-таки *пытался* избавить. А возможно, обучал представлять историю как сюжеты на потребу идеологическим запросам момента. Трудно найти другое такое нагромождение агрессивных мистификаций, как в этой статье.

считаться, кто и что ценного внес в развитие человеческой культуры. Надо быть уже полностью подавленным идеей рыночной экономики, чтобы составлять такой баланс. Смысл цитаты в том, чтобы призвать человека не верить плоским и пошлым мифам, окинуть взглядом не сюжеты, а *историю*. И в этой перспективе окажется, что вопрос, где впервые стало использоваться электричество, а где была изобретена непрерывная разливка стали, просто не имеет смысла. Начиная с времен книгопечатания и научной революции, технологическое развитие приобрело характер *всеобщего труда* человечества и стало, скорее, похоже на действие *природных* сил, ибо человечество стало интегрированной и активной частью природы и даже, наконец, было включено, вопреки всем механистическими догмам, в картину мира.

К технологическому мифу тесно примыкает другой, очень важный для идеологии сегодняшних изменений России миф — о *земледельческом Западе* и скотоводческом *кочевом Востоке*. Полностью игнорируя реальную историю, евроцентризм представляет уклад жизни кочевых народов Азии как непроизводительный, ориентирующий на захват чужих земель и эксплуатацию трудолюбивых земледельцев Запада. Поскольку для устойчивости России исключительно важно сохранение сложившегося за тысячелетие способа совместной жизни славянских, угро-финских и тюркских народов, проект расчленения России основан прежде всего на противопоставлении славян ("Запада") *степнякам* ("Востоку"). В этом направлении активно работает не только популярная демократическая пресса, но и солидные академические журналы типа "Вопросов философии". Одним из часто публикуемых авторов стал здесь В. Кантор, специализирующийся на обличении "Степи". И это — в журнале Российской Академии наук, той Академии, которая славилась в мире своей этнографической школой, накопившей огромное знание о кочевых цивилизациях. Не будем здесь вдаваться в подробный спор с Кантором. Тот, кто не склонен сразу же доверяться новоявленным идеологам, всегда может прочесть хотя бы книги Л. Н. Гумилева, замечательные и как литературные произведения. А тем, кому такой автор кажется неубедительным (сын Ахматовой, корни татарские — небось приукрашивает степняков; Кантор все-таки надежнее), процитирую А. Тойнби. Тут уж "знак качества" есть — великий английский историк. Что же пишет он на основании археологических данных о "паразитах-кочевниках"?

"Следующий шаг в социальной эволюции был совершен в период второго существенного изменения климата. Первый приступ засухи застал в Евразии человека-охотника. Вторую волну засухи встретил уже оседлый земледелец и скотовод, для которого охота стала второстепенным занятием. В этих обстоятельствах вызов засухи, который проявился с большей силой, породил две, причем совершенно различные, реакции. Начав доместикацию жвачных, евразиец вновь восстановил свою мобильность, утраченную было в период, когда он совершил свой первый крутой поворот — от охоты к земледелию. В ответ на новый импульс старого вызова он вновь обрел активность.

Некоторые из земледельцев решили просто уйти от засухи и по мере наступления ее передвигались со всем своим скарбом, скотом, припасами. Им не пришлось кардинальным образом менять свой образ жизни, так как, гонимые засухой, они искали себе новую родину с привычными условиями существования, где они могли бы, как и раньше, сеять, жать, пасти скот на пастбищах.

Однако их степные братья ответили на вызов другим, более отважным способом. Эта часть евразийцев, оставив непригодные для жизни оазисы, также отправилась в путь вместе со своими семьями и скотом. Но они, оказавшись в открытой степи, охваченной засухой, полностью отказались от земледелия, как их предки когда-то полностью отказались от охоты, и стали заниматься скотоводством. Они не пытались уйти из степи, а приспособились к ней.

Как видим, номадический кочевой ответ на повторяющийся и усиливающийся вызов действительно был рывком. В первый период засухи доземледельческие предки кочевников от охоты перешли к земледелию, превратив охоту в дополнительный и вспомогательный промысел. А в период второго ритмического наступления засухи патриархи номадической цивилизации смело вернулись в степь и приспособились к жизни в таких условиях, в каких не могли бы существовать ни земледельцы, ни охотники. Засушливую степь мог освоить только пастух, но,

чтобы выжить там и процветать, кочевник-пастух должен был постоянно совершенствовать свое мастерство, вырабатывать и развивать новые навыки, а также особые нравственные и интеллектуальные качества.

Во-первых, доместикация животных — искусство более высокое, чем доместикация растений, поскольку это победа человеческого ума и воли над менее послушным материалом. Другими словами, пастух — больший виртуоз, чем земледелец... Номадизм был более выгоден экономически, чем земледелие. Здесь напрашивается определенная параллель с промышленным производством. Если земледелец производит продукцию, которую он может сразу же и потреблять, кочевник, подобно промышленнику, тщательно перерабатывает сырой материал, который иначе не годится к употреблению — кочевник пользуется естественными выпасами, скудная и грубая растительность которых непригодна для человека, но пригодна для животных... Эта непрямая утилизация растительного мира степи через посредство животного создает основу для развития человеческого ума и воли... Кочевники не смогли бы одержать победу над степью, выжить в столь суровом естественном окружении, если бы не развили в себе интуицию, самообладание, физическую и нравственную выносливость".

Тойнби останавливается лишь на одном из технологических достижений кочевников, которое стало важным вкладом в развитие цивилизации (а список этих достижений велик — от технологии консервирования молочных продуктов до изобретения кривой сабли, означавшего качественный скачок в военном деле):

"Степное общество — это не просто пастухи и стада. Среди домашних животных есть и такие, функции которых существенно отличаются от функций стада парнокопытных — кормить и одевать кочевников. Эти животные — собаки, верблюды, лошади — помогают кочевнику выжить и нужны ему не менее, чем стада. Доместикация этих животных по праву может считаться шедевром номадической цивилизации и ключом к последующему успеху. Без их помощи номадический рывок был бы невозможен. Человек здесь проявил чудеса изобретательности. Овцу или корову, чтобы они служили человеку, нужно просто приручить, хотя это тоже порой довольно трудно. Собака, верблюд и лошадь, функции которых куда более сложны, требуют не только приручения, но и обучения. Нужно сделать из них помощников человека. Это замечательное достижение номадизма помогло кочевникам не только выжить в степи, но и приспособиться некоторым из них к роли "пастырей" человека".

Можно сказать, что судьба России была счастливой: сочетание природных, культурных и психологических качеств населявших ее народов позволили возникнуть *симбиозу* укладов (охоты, земледелия и кочевого скотоводства) с интенсивным обменом продуктами, технологиями и культурными достижениями. Сегодня не просто стоит вопрос о разрушении этой системы — делается все возможное для натравливания одной части на другую. И инструментом воздействия на российскую интеллигенцию (а через нее — на "среднего" человека) служит *евроцентризм.*

Миф о человеке экономическом

Любая идеология стремится объяснить и обосновать тот социальный и политический порядок, который она защищает, через апелляцию к *естественным* законам. "Так устроен мир" и "такова природа человека" — вот конечные аргументы, которые безотказно действуют на обычную публику. Поэтому идеологи тщательно создают модель человека, используя всякий идущий в дело материал: научные сведения, легенды, верования, даже дичайшие предрассудки. Разумеется, для современного человека убедительнее всего звучат фразы, напоминающие смутно знакомые со школьной скамьи научные формулы и изречения великих ученых. А если под такими фразами стоит подпись академика, а то и Нобелевского лауреата (не мира, а просто Нобелевского лауреата), то тем лучше. Понятно, что идеология сама становится фактором формирования человека, и созданные ею мифы, особенно если они внедряются с помощью системы образования и средств массовой информации, лепят человека по образу заданной формулы.

Евроцентризм создал свою антропологическую модель, которая включает в себя несколько мифов и которая изменялась по мере появления нового, более свежего и убедительного материала для мифотворчества. Вначале, в эпоху научной революции и триумфального шествия ньютоновской механической модели мира, эта модель базировалась на метафоре механического (даже не химического) *атома*, подчиняющегося законам Ньютона. Так возникла концепция *индивида*, развитая целым поколением философов и философствующих ученых[11]. Затем был длительный период биологизации (социал-дарвинизма, затем генетики), когда человеческие существа представлялись животными, находящимися на разной стадии развития, борющимися за существование, причем механизмом естественного отбора была конкуренция. Идолами общества тогда были успешные дельцы капиталистической экономики, Self-made men, и их биографии "подтверждали видение общества как дарвиновской машины, управляемой принципами естественного отбора, адаптации и борьбы за существование"[12].

Сильно идеологизированная школа психологов США развивала "поведенческие науки" (известные как бихевиоризм), представляющие человека как механическую или кибернетическую систему, детерминированно отвечающую на стимулы внешней среды. А совсем недавно шли большие дебаты вокруг социобиологии — попытки синтеза всех этих моделей, включая современную генетику и эволюционизм, кибернетику и науку о поведении. И хотя все эти течения и научные программы открыли много интересного и поставили важные вопросы, при переносе полученного знания в культуру и в социальную практику оно деформировалолсь в соответствии с требованиями господствующей идеологии — как конкретной (например, нацизма, очень заинтересованного в генетике), так и метаидеологии всего западного общества — евроцентризма.

И на всех этапах разными способами создавался и укреплялся миф о *человеке экономическом — homo economicus*, который создал рыночную экономику и счастлив в ней жить. Эта антропологическая модель легитимировала разрушение традиционного общества любого типа и установление нового и очень специфического экономического и социального порядка, при котором становится товаром рабочая сила и каждый человек превращается в торговца. О становлении этой модели американский антрополог Маршалл Сахлинс замечает: "Создавая свои труды в эпоху перехода к развитому рыночному обществу, Гоббс воспроизводит последовательность исторических событий как логику *человеческой природы*. Экспроприация человека человеком, к которой приходит в конце концов Гоббс, представляет собой, как показал Макферсон, теорию действия в экономике, основанной на конкуренции" (70, с. 127).

С точки зрения антрополога, это построение является типичной мифологической конструкцией, которая, впрочем, сегодня уже почти не видна под грузом последующих наслоений. Эта конструкция действительно нетрадиционна[13]. М. Сахлинс говорит о ней:

"Очевидно, что Гоббсово видение человека в естественном состоянии явля-

---

[11] Атомистические представления, находившиеся в "дремлющем" состоянии в тени интеллектуальной истории, были выведены на авансцену именно идеологами — прежде всего, в лице философа XVII века Пьера Гассенди, "великого реставратора атомизма". Уже затем атомизм был развит естествоиспытателями — Бойлем, Гюйгенсом и Ньютоном. Атом, по Гассенди, — неизменное физическое тело, "неуязвимое для удара и неспособное испытывать никакого воздействия". Атомы "наделены энергией, благодаря которой движутся или постоянно стремятся к движению".

[12] На деле никакого отношения к естественным процессам этот идеологический миф не имеет. К. Лоренц пишет: "

Существует целый ряд доказанных случаев, когда конкуренция между себе подобными, то есть внутривидовой отбор, вызывала очень неблагоприятную специализацию... Мы должны отдавать себе отчет в том, что только профессиональная конкуренция, а не естественная необходимость, заставляет нас работать в ритме, ведущем к инфаркту и нервному срыву. В этом видно, насколько глупа лихорадочная суета западной цивилизации".

[13] Модель Гоббса означала и отход от христианского представления о человеке, лежавшего до этого в основании европейской культуры. Так, понятие равенства людей кардинально отлично от того, которое было декларировано в христианской религии. У Гоббса "равными являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый ущерб во взаимной борьбе". Отказ от солидарности и взаимопомощи как основы совместной жизни также является вполне осознанным: "хотя блага этой жизни *могут быть увеличены благодаря взаимной помощи*, они достигаются гораздо успешнее подавляя других, чем объединяясь с ними". Я выделил слова, показывающие, что речь шла о философском выборе из двух альтернатив. И такой выбор был сделан.

ется исходным мифом западного капитализма. Современная социальная практика такова, что история Сотворения мира бледнеет при сравнении с этим мифом. Однако также очевидно, что в этом сравнении и, на деле, в сравнении с исходными мифами всех иных обществ миф Гоббса обладает совершенно необычной структурой, которая воздействует на наше представление о нас самих. Насколько я знаю, мы — единственное общество на Земле, которое считает, что возникло из дикости, ассоциирующейся с безжалостной природой. Все остальные общества верят, что произошли от богов... Судя по социальной практике, это вполне может рассматриваться как непредвзятое признание различий, которые существуют между нами и остальным человечеством".

Важнейшими основаниями естественного права в рыночной экономике — в противоположность всем "отставшим" обществам — являются *эгоизм* людей-"атомов" и их *рационализм*. Хотя множество исследований, да и обыденный опыт, показывают, что люди стали людьми именно благодаря тому, что преодолевали эгоизм и проявляли альтруизм, далеко выходящий за рамки краткосрочных рациональных расчетов. А что главные мотивы их поведения носят иррациональный характер и связаны с идеалами и движениями души — это мы видим на каждом шагу. Английский социолог Б. Барнес пишет об использовании науки в формировании этого мифа, переходящего в *утопию*:

"Ряд ведущих научных школ доказывают, что склонность к рациональному расчету и приоритет индивидуальных интересов при выполнении рациональных расчетов являются врожденной склонностью людей, системообразующей частью человеческой природы. Согласно этим теориям, выполнять рациональные расчеты и быть эгоистами — входит в саму сущность человека, и с этим ничего нельзя поделать... Наука играет (в этих теориях) фундаментальную роль. Как все более надежный источник знания, она является прогрессивной, освобождающей силой. Благодаря ей люди становятся все лучше информированными, все более свободными для расчета последствий своих действий во все более широком спектре ситуаций и во все более продолжительной перспективе... Наука — предел непрерывного процесса рационализации. Научный прогресс ведет к утопии, в которой человеческая природа якобы может быть выражена полностью, где всякое действие есть свободное действие индивидуума, основанное на индивидуальном рациональном расчете".

Придание *рационализму* статуса важнейшего отличительного качества человека западной цивилизации сыграло огромную роль в разрушении *традиции* — того, что скрепляет общества, основанные на солидарности (и не только с современниками, но и с ушедшими и с будущими поколениями). "Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью... включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать это сомнению", — писал Декарт. И это было очень привлекательно, так как рационализм освобождал человека от множества норм и запретов, зафиксированных в традициях, преданиях, табу. В то же время это резко упрощало (и обедняло) культуру. О разрушении традиций под натиском рационализма Конрад Лоренц пишет:

"В этом же направлении действует установка, совершенно законная в научном исследовании, не верить ничему, что не может быть доказано. Борн указывает на опасность такого скептицизма в приложении к культурным традициям. Они содержат огромный фонд информации, которая не может быть подтверждена научными методами. Поэтому молодежь "научной формации" не доверяет культурной традиции".

Для формирования "человека организации", необходимого для современной корпорации, и человека с детерминированным поведением (даже если это террорист — важно, чтобы его поведение соответствовало расчетам) большое значение имели мифы, порожденные бихевиоризмом. Они сегодня не менее активно, чем мифы социал-дарвинизма, внедряются в общественное сознание в России. Тот успех, который имеет в идеологии индустриализма *бихевиоризм* — механистическое представление человека как управляемой стимулами машины, К. Лоренц объясняет склонностью к "техноморфному мышлению, усвоенному Человечеством вследствие достижений в овладении неорганическим миром, который не требует принимать во внимание ни сложные структуры, ни качества систем... Бихевиоризм доводит его до крайних следствий. Другими мотивами является

жажда власти: уверенность, что человеком можно манипулировать посредством дрессировки, основана на стремлении достичь этой цели".

В современной версии, в необихевиоризме (B. Skinner) ставится даже вопрос о "проектировании культуры" таким образом, чтобы она формировала человека таким, каким его хочет видеть "общество". Такую задачу, впрочем, ставят все тоталитарные общества, но в отличие от традиционных обществ (каким был, например, и СССР), современное западное общество реально имеет для этого технологические средства. Одним из них и является миф бихевиоризма. Э. Фромм так объясняет огромную популярность Скиннера на Западе:

"В кибернетическую эру личность все больше и больше подвержена манипуляции. Работа, потребление, досуг человека манипулируются с помощью рекламы и идеологий — Скиннер называет это "положительные стимулы". Человек утрачивает свою активную, ответственную роль в социальном процессе; становится полностью "отрегулированным" и обучается тому, что любое поведение, действие, мысль или чувство, которое не укладывается в общий план, создает ему большие неудобства;фактически он уже *есть* тот, кем, *как предполагается, он должен быть.* Если он пытается быть самим собой, то ставит под угрозу — в полицейских государствах свою свободу и даже жизнь, в демократических обществах возможность продвижения или, реже, рискует потерять работу и, пожалуй, самое главное, почувствовать себя в изоляции, лишенным коммуникации с другими"[14].

Если мы вспомним, в чем обвиняли "совка" демократические средства массовой информации все последние годы, то окажется, что в вину ему вменялось именно *несоответствие* всем основным мифам о человеке, сложенным в евроцентризме. Уравниловка и архаичный коллективизм, иррациональность поведения и неумение посчитать свою выгоду, неправильная реакция на стимулы, приверженность глупым традициям и предрассудкам. Отвлечемся от того, что все это говорилось занудливым, сварливым тоном, иногда доходило просто до неприличной ругани. Главное в том, что элита нашего либерального движения в целом сходится на том, что антропологический миф евроцентризма неприложим к основной массе населения России. Очень важный и обнадеживающий вывод.

Последняя попытка придать евроцентристскому мифу о человеке естественно-научное обоснование в виде социобиологии была быстро отбита самими учеными Запада — уж слишком торчали идеологические уши. М. Сахлинс писал:

"То, что заложено в теории социобиологии, есть занявшая глухую оборону идеология западного общества: гарантия ее естественного характера и утверждение ее неизбежности".

Миф развития через имитацию Запада

Растущее внутреннее напряжение во всей идеологической конструкции евроцентризма создает один из центральных мифов, гласящих, что западная цивилизация вырвалась вперед благодаря тому, что капитализм создал основанные на рациональной политэкономии мощные производительные силы. Остальные общества просто отстали в своем развитии и теперь вынуждены догонять. Тем, кто слушается учителей, Запад поможет — и в конце концов на земле воцарится (уже воцаряется) либеральный капитализм англосаксонского образца и настанет (уже настает) "конец истории".

Напряженность растет потому, что этот миф эксплуатируется все интенсивнее по мере того, как все более наглядным и очевидным становится невозможность его осуществления[15]. Это проявляется особенно скандальным образом на тех

---

[14] К сожалению, здесь невозможно привести подробные выдержки из работ Скиннера с очень интересными и остроумными комментариями Фромма.

[15] Утверждение о том, что страны "третьего мира" якобы отстали и развиваются по тому же пути, что и Запад, — сугубо идеологический миф, не имеющий ничего общего с действительностью. Самир Амин пишет:

"Производственный аппарат в странах периферии не воспроизводит то, что было в центре на предыдущем этапе развития. Эти производственные системы различаются качественно. Чем далее идет по пути развития периферийный капитализм, тем более резким становится это расхождение и тем более неравным разделение доходов. В своем развитии эта единая система воспроизводит дифференциацию, поляризацию центр — периферия".

редких форумах, которые вынуждены допустить глобальное рассмотрение ситуации — *мир в целом*. В этом случае единственным, хотя и углубляющим трещины, выходом становится полное и повсеместное замалчивание события. Так произошло, например, со всемирной конференцией ООН на высшем уровне по экологии "Рио-де-Жанейро-1992". Она шумно рекламировалась в течение почти двух лет в ходе подготовки. Однако в момент и после проведения вся мировая пресса, подконтрольная западной управляющей элите, как воды в рот набрала. И поразительно восприятие интеллигента: он, как ребенок игрушки, ожидал "Рио-92", о котором ему жужжали в уши и которое он в светской беседе обязан был постоянно упоминать. А когда конференция состоялась, его полностью лишают желанной информации. И он этого даже не замечает. Выходит, даже его желания подчиняются сигналам каких-то вживленных в его мозг электродов. Нет сигнала: "желай информации о "Рио-92!" — и он равнодушен. Ты ему будешь эту информацию навязывать — он ее будет отвергать.

Но такие форумы, которые вдруг вырываются из-под идейного контроля евроцентризма, очень редки. Как правило, во всех "анализах" мир расчленен, и взаимодействие между частями излагается очень туманно, в терминах "общечеловеческих ценностей". Самир Амин отмечает этот методологический трюк:

"Западная мысль выходит из затруднения, "просто отказываясь рассматривать весь мир как единицу анализа, что позволяет приписать неравенство между составляющими мир национальными компонентами исключительно действию "внутренних" факторов. Таким образом, утверждаются предрассудки о наличии внеисторических особенностей, характеризующих различные народы".

На деле, не было и нет развития Запада "с опорой на собственные силы", которое "отставшие" страны могли бы взять в качестве примера и воспроизвести на своей почве. Современная западная "цивилизация" *с самого начала* представляет собой уродливое сращивание двух миров, которое исключительно из идеологических целей представляется как "развитые" и "развивающиеся" страны. Возникновение этой связи, с образованием колоний и, затем, современного капитализма, было поворотным пунктом и необратимым событием, предопределившим судьбу "отставших" стран. В своей "Структурной антропологии" К. Леви-Стросс пишет:

"Общества, которые мы сегодня называем "слаборазвитыми", являются таковыми не в силу своих собственных действий, и было бы ошибочно воображать их внешними или индифферентными по отношению к развитию Запада. Сказать по правде, именно эти общества, посредством их прямого или косвенного разрушения в период между XVI и XIX веками, сделали возможным развитие западного мира. Между этими двумя мирами существуют отношения комплементарности (дополнительности). Само развитие с его ненасытными потребностями сделало эти общества такими, какими мы их видим сегодня. Поэтому речь не идет о схождении двух процессов, каждый из которых развивался изолированно своим курсом. Отношение ревнивой враждебности между так называемыми слаборазвитыми обществами и механистической цивилизацией связано с тем, что в них эта механическая цивилизация вновь открывает для себя творение своих собственных рук или, точнее, коррелят тех разрушений, которые она произвела в этих обществах, чтобы воздвигнуть свою собственную реальность".

"Открыться" этой цивилизации означает запустить в свой организм ее генетическую матрицу и переваривающие ферменты. Любое общество, которое до этого находилось вне этого симбиоза, при полном втягивании его в "мировую систему рыночной экономики" вынуждено деструктурироваться и пополнить обе части. В какой из двух комплементарных миров, в какую реальность собираются (и могут) вернуть Россию ее реформаторы? Какие признаки позволяют прогнозировать действия "механистической цивилизации", взявшейся руководить Россией в этом процессе?

Непрерывно повторяемое приглашение "следовать путем Запада" противоречит и исторической реальности. Достаточно упомянуть труды историков Индии и Египта (по понятным причинам малоизвестные в России — они не укладываются в евроцентристскую схему марксизма), показавших, что именно европейские колонизаторы целенаправленно разрушали структуры капитализма, возникавшие в этих странах и весьма сходные с теми структурами, которые сложились в Японии в результате реформы Мэйдзи (Япония сумела их сохранить, создав

"железный занавес". В Египте эти структуры начали складываться при активном участии мамелюков, начиная с XIV века, достигли зрелости к началу XIX века и были подорваны экспедицией Наполеона, а затем демонтированы после интервенции европейской коалиции в 1840 году. В Индии капитализм был подавлен, а затем систематически ликвидирован английскими колонизаторами.

В 1983 году я случайно попал в Индию на узкое совещание мировых экспертов по науке в развивающихся странах, организатором которого был известный английский издатель Голдсмит. Приглашали председателя ГКНТ СССР, потом президента АН СССР, потом его вице-президентов. Но те, люди опытные, не поехали — и докатилось до меня, наивного сотрудника. Были Нобелевские лауреаты, был министр Индии по науке, говорил по делу. Потом уехал, и началось, на мой взгляд, что-то неприличное. Говорили о чем угодно, только не о проблеме (много времени заняла загадка таинственного влияния музыки Бартока на Эйнштейна). Я, зная реальность науки Кубы, Монголии и Вьетнама, начал "ставить вопросы". Меня оборвали с такой личной неприязнью, какой я никогда не предполагал в "экспертах". За меня вступился престарелый и очень уважаемый в Индии историк — на него прикрикнули, как на мальчишку. Зато он со мной разговорился и подарил мне книгу, в которой анализирует то, что писал Маркс об "азиатском способе производства", основываясь на данных английской Вест-Индской компании. На деле, Индия в момент прихода колонизаторов была в буквальном смысле страной *рыночной экономики* в масштабе субконтинента. Производство каждой области достигало высокой степени специализации, и сари или какой-нибудь соус, производимый где-то на Севере, продавались во всех уголках огромной страны. Существовала густая сеть дорог, по которой непрестанно шли караваны повозок с грузами. Точно так же, функционировали и крупные ирригационные системы. Англичане вернули Индию к архаической феодальной раздробленности и ликвидации рыночной инфраструктуры. Честно признаюсь, что эта книга (и несколько других работ этого историка) была болезненным ударом по моему зараженному вульгарным марксизмом сознанию. Хотя влияние стариков, жизнь в деревне, путешествия по стране (и по странам) не давали проникнуть мифу евроцентризма глубоко в душу, все же много его легких для употребления штампов бренчит в голове.

Что же касается песенки уже нескольких поколений наших политиков о том, что "заграница нам поможет" вернуться в цивилизацию, то пока нет никаких симптомов того, что Запад действительно собирается помочь России в формировании структур производительного капитализма. Скорее, есть обратные признаки.

И, наконец, взглянем на эту проблему с философского уровня. Ведь в конечном счете утверждение, что все культуры должны воспринять специфический уклад производства, распределения и вообще жизни, порожденный западным обществом, отражает *техноморфное* мышление. Убеждение в том, что человечество, как *машина*, должно быть построено по наилучшему проекту. Этой идее противостоит — причем издавна — другая идея, согласно которой человечество, подобно любой *экосистеме*, живо и устойчиво до той поры, пока поддерживается достаточное разнообразие культур и цивилизаций. Сегодня мы видим сознательное и безжалостное уничтожение, под лозунгами евроцентризма, совершенно особой и во многих отношениях замечательной цивилизации России-СССР. А тот же Леви-Стросс предупреждал, что каждая из сохранившихся в мире, после всех войн и колониального разрушения, цивилизаций необходима человечеству: "И если в каком-то определенном плане она кажется застывшей или даже регрессирующей, это не значит, что с какой-то иной точки зрения она не является центром важных изменений".

И мы должны с грустью признать, что сегодня российская интеллигенция, отказавшись от наследия Достоевского, Менделеева и Вернадского, в общем встала под знамена *техноморфной* идеи. И это как раз в тот момент, когда интеллектуальный ресурс этой идеи практически исчерпан, когда освоение экологического сознания все более и более воспринимается как условие выхода из общего кризиса индустриализма и даже условие выживания человечества. Когда даже изнутри евроцентризма самими духовными лидерами Запада разоблачается миф о принципиальной возможности существования *наилучшего* типа общества и требова-

ние "следовать путем Запада" (при всех сопровождающих его словесных украшениях) рассматривается как глупое или преступное покушение на разнообразие экосистемы человечества. Леви-Стросс так квалифицирует эту позицию:

"Все эти спекулятивные рассуждения сводятся фактически к одному рецепту, который лучше всего можно назвать *фальшивым эволюционизмом*. В чем он заключается? Речь идет, совершенно четко, о стремлении устранить разнообразие культур — не переставая приносить заверения в глубоком уважении к этому разнообразию. Ведь если различные состояния, в которых находятся человеческие общества, удаленные как в пространстве, так и во времени, рассматриваются как *этапы* единого типа развития, исходящего из одной точки и должного соединиться в одной конечной модели, то совершенно ясно, что разнообразие — не более чем видимость. Человечество становится однородным и идентичным самому себе, и признается лишь, что эта его однородность и самоидентичность могут быть реализованы постепенно, а значит, разнообразие культур отражает лишь ситуацию момента и маскирует более глубокую реальность или задерживает ее проявление".

И от интеллектуальных и душевных усилий интеллигенции во многом зависит сегодня вопрос: восстановит ли Россия свою траекторию как самостоятельная культура, поддерживающая уже обедненную до критического уровня культурную экосистему, — или необратимо будет втянута в процесс "переваривания" сильной и активной *сегодня* культурой Запада.

(Продолжение следует)



ВАДИМ КОЖИНОВ

ЗАГАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ XX ВЕКА

Статья первая. "ЧЕРНОСОТЕНЦЫ" И РЕВОЛЮЦИЯ

2. Что такое Революция?

Выдвижение столь "глобального" вопроса в этом сочинении может показаться чем-то странным: ведь речь идет об одном определенном явлении эпохи Революции — "черносотенстве" — и вдруг ставится задача осмыслить сущность этой эпохи вообще, в целом. Но, как я попытаюсь показать, взгляд на революцию, при котором в качестве своего рода точки отсчета избирается "черносотенство" — непримиримый враг Революции, — имеет немалые и, быть может, даже особенные, исключительные преимущества.

Уже говорилось о том, что именно и только "черносотенцы" ясно предвидели ужасающие результаты революционных потрясений. Не менее существенно и их понимание действительного, реального состояния России в конце XIX — начале XX века. Либералы и — тем более — революционеры на все лады твердили о безнадежной застойности или даже безысходном умирании страны, — что они объясняли, понятно, ее "никуда не годным" экономическим, социальным и — прежде всего — политическим строем. Без самого радикального изменения этого строя Россия, мол, не только не будет развиваться, но и вообще в ближайшее время перестанет существовать. Именно такое "понимание" чаще всего и толкало людей к революционной деятельности. Один из виднейших "черносотенных" идеологов, Л. А. Тихомиров (в 1992 году вышло новое издание его содержательного трактата "Монархическая государственность"), который в молодые годы был не просто революционером, но одним из вожаков народовольцев, с точным знанием дела писал в своей исповедальной книге "Почему я перестал быть революционером?" (М., 1895), что на путь кровавого террора его бывших сподвижников вело внедренное в них убеждение, согласно которому в России-де "ничего нельзя делать" (с. 45), и вообще "Россия находится на краю гибели, и погибнет чуть не завтра, если не будет спасена чрезвычайными революционными мерами" (с. 56).

Это убеждение — пусть и не всегда в столь заостренной форме — владело сознанием большинства в эпоху Революции. А после 1917 года пропаганда вдалбливала в души безоговорочный тезис о том, что-де только революционный переворот спас Россию от неотвратимой и близкой смерти. Между тем реальное бытие России конца XIX — начала XX века совершенно не соответствовало сему диагнозу. В 1913 году В. В. Розанов опубликовал свои воспоминания о знаменитом "черносотенце" А. С. Суворине (1834 — 1911), где передал, в частности, такое его размышление.

"Все мы жалуемся каждый день, что ничего нам не удается, во всем мы отстали". На деле же "за мою жизнь... Россия до такой степени страшно выросла... во всем, что едва веришь. Россия — страшно растет, а мы только этого не замечаем..."(1). Розанов добавил, что именно этим пониманием порождены были замечательные суворинские ежегодные издания "Вся Россия", "Весь Петербург", "Вся Москва" и т. п., где "указана, исчислена и переименована вся торговая, промышленная, деятельная, вся хозяйственная Россия" (с. 19). И далее Розанов вспоминал о Суворине: "Мне он передавал как-то затруднения и почти капкан, сделанный ему Департаментом торговли и мануфактур в деле издания "Всей России"... "Я сделал уже огромные затраты, до 15 000 рублей, когда вдруг получается приказание: "Не выдавать

Продолжение. Начало в № 10 за 1992 год.

сведений"... Им что Россия", — слышалось в раздраженном тоне Суворина. Вообще нашу бюрократию, с ее вековым космополитическим духом, с ее черствым формальным либерализмом, — бюрократию, глухую ко всему русскому, ко всякой чести и славе России, даже к пользе и счастью России, он хорошо знал и никогда не переоценивал" (с. 20).

Любопытно, что уже после 1917 года прекрасный поэт Михаил Кузмин (в свое время — член Союза русского народа) воспел эти суворинские издания в своем свободном стихе, говоря о наслаждении просто "перечислить"

Все губернии, города,
Села и веси,
Какими сохранила их
Русская память.
Костромская, Ярославская,
Нижегородская, Казанская,
Владимирская, Московская,
Смоленская, Псковская...

И тогда
(Неожиданно и смело)
Преподнести
Страницы из "Всего Петербурга"
Хотя бы за 1913 год —
Торговые дома
Оптовые, особенно:
Кожевенные, шорные,
Рыбные, колбасные,
Мануфактуры, писчебумажные,
Кондитерские, хлебопекарни —
Какое-то библейское изобилие...

Пароходства... Волга.
Подумайте, Волга!
Где не только (поверьте)
И есть,
Что Стенькин курган...

Возьмем всего только двадцатилетие, с 1893 по 1913 год; без особо сложных разысканий можно убедиться, что Россия за этот краткий период выросла поистине "страшно" (по суворинскому слову). Население увеличилось почти на 50 миллионов человек (с 122 до 171 млн.) — то есть на 40 процентов; среднегодовой урожай зерновых — с 39 млн. тонн до 72 млн. тонн, следовательно, почти вдвое (на 85 процентов), добыча угля — в 5 раз (от 7,2 млн. тонн до 35,4 млн. тонн), выплавка железа и стали — более чем в 4 раза (от 0,9 млн. тонн до 4,3 млн. тонн) и т. д., и т. п.

Правда, по основным показателям промышленного производства Россия была все же позади наиболее развитых в этом отношении стран, — о чем не переставали и не перестают до сих пор кричать ее хулители. Но от кого Россия "отставала"? Всего только от т р е х специфических стран "протестантского капитализма", где непрерывный промышленный рост являл собой как бы важнейшую добродетель и цель существования, — Великобритании, Германии и США. "Отставание" от еще одной промышленно развитой страны, Франции, в 1913 году было, в сущности, небольшим (добыча угля в России и Франции — 35,4 млн. тонн и 43,8 млн. тонн, выплавка железа и стали — 4,3 млн. тонн и 6,9 млн. тонн и т.п.). А других промышленных "соперников" у России в тогдашнем мире просто не имелось...

Французский экономист Эдмон Тэри по заданию своего правительства приехал в 1913 году в Россию, тщательно изучил состояние ее хозяйства и издал свой отчет-обзор под названием "Экономическое преобразование России". В 1986 году этот отчет был переиздан в Париже, и в предисловии к нему совершенно справедливо сказано: "Тот, кто внимательно прочтет этот б е с п р и с т р а с т н ы й а н а л и з, п о й м е т, ч т о Р о с с и я п е р е д р е в о л ю ц и е й э к о н о м и ч е с к и б ы л а з д о р о в о й, б о г а т о й страной, с т р е м и т е л ь н о и д у щ е й в п е р е д"(2)

Впрочем, дело не только в этом. Едва ли уместно (хотя многие поступают именно так) судить о состоянии и развитии страны в начале XX века исключительно — или даже хотя бы главным образом — на основе ее собственно экономических, хозяйственных показателей. Ведь тогда придется прийти к выводу, что в 1913 году такие, скажем, страны, как Италия и тем более Испания, находились по сравнению с Великобританией и Германией — да и даже с самой Россией! — в глубочайшем упадке, в состоянии полнейшего ничтожества.

Нельзя, например, отрицать, что очень существенным показателем состояния страны являлось тогда положение в ее книгоиздательском деле. Ведь книги — в их многообразии — это своего рода "инобытие" всего бытия страны, запечатлевающее так или иначе любые его стороны и грани; книжное богатство, без сомнения, порождается богатством самой жизни.

В 1893 году в России было издано 7783 различных книг (общим тиражом 27,2 млн. экз.), а в 1913-м — уже 34006 (тиражом 133 млн. экз.), то есть в 4,5 раза больше и по названиям, и по тиражу (кстати сказать, предшествующий, 1912 год был еще более "урожайным" — 34.630 книг). Дабы правильно оценить эту информацию, следует знать, что в 1913 году в России вышло книг почти столько же, сколько в том же году в Англии (12 379), США (12 230) и Франции (10 758), в м е с т е в з я т ы х (35 367)! С Россией в этом отношении соперничала одна только Германия (35 078 книг в 1913 году), но, имея самую развитую полиграфическую базу, немецкие издатели исполняли многочисленные заказы других стран и, в частности, самой России, хотя книги эти (более 10 000) учитывались все же в качестве германской продукции.

Можно бы привести еще множество самых различных фактов, подтверждающих мощный и стремительный рост, все-

стороннее развитие России в конце XIX — начале XX века, — от экономики и быта до искусства и философии, но здесь, конечно, для этого нет места. К тому же (что уже отмечено) одно только книжное богатство так или иначе свидетельствует о богатстве породившего его многообразного бытия страны. Сам тот факт, что Россия в 1913 году была п е р в о й книжной державой мира, невозможно переоценить.

Тем не менее тогдашние либералы и прогрессисты, стараясь не замечать очевидности, на все голоса кричали о том, что-де Россия, в сравнении с Западом, пустыня и царство тьмы. Правда, после 1917 года некоторые из них как бы опомнились. Среди них — и известный, по-своему блестящий публицист и историк культуры Г. П. Федотов (1886—1951), который в 1904 году вступил в РСДРП и достаточно результативно действовал в ней, но позднее начал "праветь". А в послереволюционном сочинении открыто "каялся":

"Мы не хотели поклониться России — царице, венчанной царской короной... Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели ее... Еще недавно мы верили (вот именно "верили", не обладая способностью понять и даже просто у в и д е т ь. — **В. К.**), что Россия страшно бедна культурой, какое-то дикое, девственное поле. Нужно было, чтобы Толстой и Достоевский сделались учителями человечества, чтобы пилигримы потянулись с Запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия — не нищая, а насыщенная тысячелетней культурой страна — предстала взорам... не обещание, а зрелый плод. Попробуйте ее отмыслить — и насколько беднее станет без нее культурное человечество... Мир может быть не в состоянии жить без России. Ее спасение есть дело всемирной культуры".

Далее Федотов высказал даже и понимание того, что русская культура выросла не на некоем пустом месте: "Плоть России есть та хозяйственно-политическая ткань, вне которой нет бытия народного, нет и русской культуры. Плоть России есть государство русское... Мы помогли разбить его своею ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой вины"(4).

Казалось бы, следует только порадоваться этому прозрению и этому покаянию Федотова. Но, во-первых, очень уж чувствуется, что он прямо-таки наслаждался своей покаянной медитацией — смотрите, мол, какой я хороший... Помог разбить русское государство, а теперь, поняв, наконец, что оно значило, готов искупать свою вину. Впрочем, даже и в определении этой вины присутствует явная ложь: активный член РСДРП, оказывается, всего лишь "помогал" разбить русское государство "своею ненавистью или равнодушием" — то есть некими своими внутренними состояниями. Однако это еще далеко не самое главное. Федотов заявляет здесь же: "Мы знаем, мы помним. Она б ы л а. Великая Россия. И она б у д е т. Но народ, в ужасных и непонятных ему страданиях, потерял память о России — о самом себе. Сейчас она живет в нас... В нас должно совершиться рождение будущей великой России... Мы требовали от России самоотречения... И Россия мертва. Искупая грех... мы должны отбросить брезгливость к телу, к материально государственному процессу. Мы будем заново строить это тело..."(с. 136).

Итак, вырисовывается по меньшей мере удивительная картина. Эти самые "мы" т о л ь к о п о с л е "умерщвления" с их "помощью" России и подсказок с Запада "огляделись вокруг", и их "взорам" в п е р в ы е предстала великая страна. Но далее выясняется, что лишь эти "мы" и обладают-де таким знанием, и именно и только эти "мы" способны воскресить Россию...

Естественно возникает вопрос о том, как же относятся эти самые "мы" к "черносотенцам" и их предшественникам, которые н и к о г д а н е с о м н е в а л и с ь в величии России и постоянно сопротивлялись ее "умерщвлению"? Федотов в одном из позднейших своих сочинений дал недвусмысленный ответ. Увы, объявлял он, "Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия... Пушкин примирился с монархией Николая... В сущности, только Герцен из в с е й плеяды XIX века может учить свободе". А о "черносотенстве" XX века сказано здесь же так: "В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России... с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский". И, более того, оказывается, "Его ("черносотенства" — **В. К.**) идеи победили в ходе русской революции..."!!! (6).

Каково? Тот факт, что большинство "черносотенных" деятелей, не уехавших из России, было без следствия и суда расстреляно еще в 1918—1919 годах, Федотова никак не смущает. Остается заключить, что настоящими "черносотенцами" (которые и победили) были, по мнению Федотова, Ленин и Свердлов, Троцкий и Зиновьев, Каменев и Бухарин...

Невольно вспоминается, что хорошо знавшая Федотова Зинаида Гиппиус едко, но метко прозвала его "подколодным теленком". Я отнюдь не намерен отрицать даровитости и публицистического блеска сочинений Федотова, но как идеолог он в определенном смысле "вреднее" откровенных русофобов...

В русской культуре XIX века Федотов, как мы видели, указал единственного своего сотоварища — Герцена. И, кстати сказать, не вполне обоснованно, ибо в свои зрелые годы, после долгого искуса эмиграцией, Герцен многое понял иначе. Вроде бы это должно было произойти за четверть века эмигрантской жизни и с вовсе

не глупым Федотовым. А поскольку не произошло, приходится сделать вывод, что Федотов, несмотря на свои гимны "Великой России", постоянно вонзал жало в действительную, реальную великую Россию с ее могучей государственностью, за служение которой он, как мы видели, готов был отринуть убеждения Пушкина, Гоголя и Достоевского, — не говоря уже об их продолжателях. Сознательно или бессознательно Федотов выполнял заказ тех мировых сил, для которых р е а л ь н а я великая Россия всегда являлась нестерпимым соперником...

Да и что Федотов противопоставлял этой реальной великой России? Свое очень абстрактное, в сущности, даже бессодержательное понятие "Свобода".

Настоящим "философом свободы" был, как известно, Бердяев, и его никак нельзя упрекнуть в недооценке этого — не раз конкретно определяемого им — феномена человеческого бытия. И, если Федотов постоянно кричал об отсутствии или хотя бы фатальном дефиците свободы в России, Бердяев писал, например, в 1916 году:

"Россия — страна безграничной свободы духа..." И эту "органическую, религиозную свободу" русский народ "никогда не уступит на за какие блага мира", не предпочтет "внутренней несвободе западных народов, их порабощенности внешним. В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства". И далее: "Россия — страна бытовой свободы, неведомой... народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей... Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник — самый свободный человек на земле... Россия — страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей"(7).

Таков был вердикт виднейшего "философа свободы"; Федотов же постоянно твердил, что свобода наличествует только на Западе, и России прямо-таки необходимо импортировать ее оттуда и внедрить — чего бы это ни стоило.

Между прочим, я полагаю, что некоторые приведенные суждения Бердяева не вполне точны. Когда он говорит, например, что характерный для России тип странника "так прекрасен", это можно понять в духе утверждения заведомого "превосходства" России над Западом, где, мол, царит над всем "жажда прибыли". У Запада есть своя безусловная красота, и речь должна идти не о том, что русское "странничество" прекраснее всего, а только о том, что и в России также есть своя красота — и своя свобода! Но в конечном счете Бердяев и говорит именно об этом, видя в России свободу духа и быта, — а не свободу в сфере политики и экономики, которая столь характерна для Запада. Те же, кто требовал объединить в России и то, и другое, по сути дела впадали в "методологию" гоголевской невесты Агафьи Тихоновны, которая мечтала: "Если бы... взять сколько-нибудь развязности, которая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича..." И еще одно. Внимательные читатели Бердяева могут напомнить мне, что в этом же своем сочинении 1916 года он утверждал: "Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю... Интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории... Никакая философия истории... не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность... почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни?" (с. 8).

Вполне возможно, что в отвлеченных философских категориях разгадать это противоречие нелегко, но если перейти на простой язык жизни, оно не столь уж загадочно. На этом языке на свой вопрос достаточно убедительно ответил сам Бердяев, утверждая (см. выше), что русский народ, русские люди не поглощены "земным благоустройством", что они по натуре своей "странники". И если бы не было могучей государственности, эта "странническая" Россия, в сущности, неизбежно и давно бы растворилась и исчезла. Должна же была все-таки безграничная свобода духа и быта русских людей, о которой говорит Бердяев, иметь прочные скрепы? Их и обеспечивала внеположная по отношению к духовной и бытовой свободе ограда государства...

* * *

Экскурс в "федотовскую" идеологию (имевшую и имеющую немало горячих почитателей) выявил, надо думать, некоторые существенные черты "революционного сознания". Возвратимся теперь к проблеме мощного и стремительного развития России в конце XIX — начале XX века. Либеральная, революционная и, позднее, советская пропаганда вбивала в головы людей представление, согласно которому Россия переживала тогда застой и чуть ли не упадок, из которого ее, мол, и вырвала Революция.

И мало кто задумывался над тем, что великие революции совершаются не от слабости, а от силы, не от недостаточности, а от и з б ы т к а.

Английская революция 1640-х годов разразилась вскоре после того, как страна стала "владычицей морей", закрепилась в мире от Индии до Америки; этой революции непосредственно предшествовало славнейшее время Шекспира (как

в России — время Достоевского и Толстого). Франция к концу XVIII века была общепризнанным центром всей европейской цивилизации и культуры, а победоносное шествие наполеоновской армии ясно свидетельствовало о тогдашней исключительной мощи страны. И в том, и в другом случае перед нами, в сущности, пик, а п о г е й истории этих стран — и именно он породил революции...

Было бы абсурдно, если бы в России дело обстояло противоположным образом. И если вспомнить хотя бы несколько самых различных, но, без сомнения, подлинно "изобильных" воплощений русского бытия 1890—1910-х годов — таких, как Транссибирская магистраль, свободное хождение золотых монет, столыпинское освоение целины на востоке, всемирный триумф Художественного театра, титаническая деятельность Менделеева, тысячи превосходных зданий в пышном стиле русского модерна, празднование Трехсотлетия Дома Романовых, наивысший расцвет русской живописи в творчестве Нестерова, Врубеля, Кустодиева и других — станет ясно, что говорить о каком-либо "упадке" просто нелепо.

В трактате французского политика и историософа Алексиса Токвиля "Старый порядок и Революция" — одном из наиболее проницательных размышлений на эту тему — показано, в частности, следующее: "Порядок вещей, уничтожаемый Революцией, почти всегда бывает лучше того, который непосредственно ему предшествовал". Франция 1780-х годов ни в коей мере не находилась — продолжает свою мысль Токвиль — "в упадке; скорее можно было сказать в это время, что нет границ ее преуспеянию... Лет за двадцать пред тем на будущее не возлагали никаких надежд; теперь от будущего ждут всего. Предвкушение этого неслыханного блаженства, ожидаемого в близком будущем, делало людей равнодушными к тем благам, которыми они уже обладали, и увлекало их к неизведанному" (8).

(Здесь нельзя не напомнить мифа о "прогрессе", о котором шла речь в первой главе моего сочинения и который выступал в качестве своего рода подмены религии.)

Преуспевавшие российские предприниматели и купцы полагали, что кардинальное изменение социально-политического строя приведет их к совсем уже безграничным достижениям, и бросали миллионы антиправительственным партиям (включая большевиков!). Интеллигенция тем более была убеждена в своем и всеобщем процветании при грядущем новом строе; нынешнее же положение образованного сословия в России представлялось ей ничтожным и ужасающим, и она, скажем, не обращала никакого внимания на тот факт, что в России к 1914 году было 127 тысяч студентов — больше, чем в тогдашних Германии (79,6 тыс.) и Франции (42 тыс.) вместе взятых (9) (то есть дело обстояло примерно так же, как и в книгоиздании).

Стоит еще сообщить, что расхожее утверждение о "неграмотной" России, которая после 1917 года вдруг стала быстро превращаться в грамотную — это заведомая дезинформация. Действительно большая доля неграмотных приходилась в 1917 году, во-первых, на старшие возрасты и, во-вторых, на женщин, которые тогда были всецело погружены в семейный быт, где грамотность не была чем-то существенно нужным. Что же касается, например, мужчин, вступавших в жизнь в 1890—1900-х годах, — то есть мужчин, которым к 1917 году было от 20 до 30 лет, — то даже в российской деревне 70 процентов из них были грамотными, а в городах грамотные составляли в этом возрасте 87,4 процента (10). Это означало, что в молодой части рабочего класса неграмотных было всего лишь немногим более 10 процентов.

О рабочих следует сказать особо, ибо многие убеждены, что революционные акции в России совершала некая полунищая пролетарская "голытьба". Как раз напротив, решающую роль играли здесь квалифицированные и вполне прилично оплачиваемые люди, — те, кого называют "рабочей аристократией". Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на любую фотографию 1900—1910-х годов, запечатлевшую революционных рабочих: по их одежде, прическе, ухоженности усов и бороды, осанке и выражению лиц их легко можно принять за представителей привилегированных сословий. Это были люди, которые, подобно предпринимателям и интеллигенции, стремились не просто к более обеспеченной жизни (она у них вовсе и не была скудной), но хотели получить свою долю власти, высоко поднять свое общественное положение. Вот хотя бы одно весомое свидетельство. Н. С. Хрущев вспоминал впоследствии: "Когда до революции я работал слесарем и зарабатывал свои 40—45 рублей в месяц, то был материально лучше обеспечен, чем когда работал секретарем Московского областного и городского комитетов партии" (11) (то есть в 1935—1938 гг.; партаппаратные "привилегии" утвердились позже). Для правильного понимания хрущевских слов следует знать, что даже в Петербурге (в провинции цены были еще ниже) килограмм хлеба стоил тогда 5 коп., а мяса — 30 коп. (стоит сказать и о "деликатесных" продуктах: 100 граммов шоколада — 15 коп., осетрины — 8 коп.); метр сукна — 3 руб., а добротная кожаная обувь — 7 руб. и т. д. Кроме того, к 1917 году Хрущеву было лишь 23 года, и он, конечно, не являлся по-настоящему квалифицированным рабочим, который мог получать в 1910-х годах и по 100 руб. в месяц.

Короче говоря, рабочий класс России к 1917 году вовсе не был тем скопищем полуголодных и полуодетых людей, како-

вым его пытались представить советские историки. Правда, накануне Февраля в Петербурге уже началась разруха (в частности, впервые за двухвековую историю города в нем образовались очереди — их тогда называли "хвосты", а слово "очередь" в данном значении появилось лишь в советское время — за хлебом), но это было только последним толчком, поводом; Революция самым интенсивным образом назревала и готовилась по меньшей мере с начала 1890-х годов. Уже в 1901 году Горький изобразил впечатляющую фигуру рабочего Нила (пьеса "Мещане"), — мощного, независимого — в частности, достаточно много зарабатывающего — и по-своему образованного человека, безоговорочно претендующего на роль хозяина России.

Итак, в России были три основных силы — предприниматели, интеллигенты и наиболее развитой слой рабочих, — которые активнейше стремились сокрушить существовавший в стране порядок — и стремились вовсе не из-за скудости своего бытия, но скорее напротив — от "избыточности"; их возможности, их энергия и воля, как им представлялось, не умещались в рамках этого порядка...

Естественно встает вопрос о преобладающей части населения России — крестьянстве. Казалось бы, именно оно должно было решать судьбу страны и, разумеется, судьбу Революции. Однако десятки миллионов крестьян, рассеянные на громадном пространстве России, в разных частях которой сложились существенно различные условия, не представляли собой сколько-нибудь единой, способной к решающему действию силы. Так, в 1905—1906 годах крестьянство приняло весьма активное участие в выборах в 1-ю Государственную думу; достаточно сказать, что почти половина ее депутатов (231 человек) были крестьянами. Но, как показано в обстоятельном исследовании историка С. М. Сидельникова "Образование и деятельность Первой государственной думы" (М., 1962), политические "пристрастия" крестьянства тех или иных губерний, уездов и даже волостей резко отличались друг от друга; это ясно выразилось в крестьянском отборе "уполномоченных" (которые, в свою очередь, избирали депутатов Думы): "В одних волостях избирали лишь крестьян... демократически настроенных, в других — ... по взглядам своим преимущественно правых и черносотенцев" (с. 138).

Вообще-то сотни тысяч крестьян в то время всецело поддерживали "черносотенцев", но это не могло привести к весомым результатам, ибо дело Революции решалось в "столицах", в "центре", который — поскольку Россия издавна была принципиально "централизованной" в политическом отношении страной — мог более или менее легко навязать свое решение провинциям.

И еще один пример. В 1917 году крестьянство в своем большинстве проголосовало на выборах в Учредительное собрание за эсеровских кандидатов, выступавших с программой национализации земли (а это целиком соответствовало заветной крестьянской мысли, согласно которой земля — Божья), и в результате эсеры получили в Собрании преобладающее большинство. Но когда поутру 6 января 1918 года большевики "разогнали" неугодное им Собрание, крестьянство в сущности ничего не сделало для защиты своих избранников (да и как оно могло это сделать — организовать всеобщий крестьянский поход на Петроград?).

Наконец, нельзя не остановиться на одной связанной с крестьянством проблеме — вернее, целом узле проблем, которые чаще всего толкуются тенденциозно или просто ошибочно. Крестьянство, количественно составлявшее основу населения России, не могло быть самостоятельной, активной и весомой политической (и, в частности, революционной) силой в силу бедности, весьма низкого жизненного уровня его преобладающего большинства. Совершенно ложно представление, согласно которому революции устраивают нищие и голодные: они борются за выживание, у них нет ни сил, ни средств, ни времени готовить революции. Правда, они способны на отчаянные бунты, которые в условиях уже подготовленной другими силами революции могут сыграть немалую или даже огромную разрушительную роль; но именно и только в уже созданной критической ситуации (так, множество крестьянских бунтов происходило в России и в XIX веке, но они не вели ни к каким существенным последствиям).

Ныне многие авторы склонны всячески идеализировать положение крестьянства до 1917 — или, точнее, 1914 года. Ссылаются, в частности, на то, что Россия тогда "кормила Европу". Однако Европу кормили вовсе не крестьяне, а крупные и технически оснащенные хозяйства сумевших приспособиться к новым условиям помещиков или разбогатевших выходцев из крестьян, использующие массу наемных работников. Когда же после 1917 года эти хозяйства были уничтожены, оказалось, что хлеба на продажу (и не только для внешнего, но и для внутреннего рынка), товарного хлеба в России весьма немного (вопрос этот был исследован виднейшим экономистом В. С. Немчиновым, и его выводы послужили главным и решающим доводом в пользу немедленного создания колхозов и совхозов). Крестьяне же — и до 1917 года и после него — сами потребляли основное количество выращиваемого ими хлеба (и кормового зерна), — притом многим не хватало этого своего хлеба до нового урожая или даже до весны...

Все это, казалось бы, противоречит сказанному выше о бурном росте России. Какой же рост, если составляющие пре-

обладающее большинство населения крестьяне в массе своей бедны? Но, во-первых, и в жизни крестьянства в начале века были несомненные сдвиги. А с другой стороны, самое мощное развитие не могло за краткий срок преобразовать бытие огромного и разбросанного по стране сословия. Средние урожаи хлебов пока еще оставались весьма низкими — от 6,7 центнера с гектара пшеницы до 12,1 — кукурузы...

И крестьян легко было поднять на бунты, "подкреплявшие" революционные акции в столицах. А кроме того, для главных революционных сил — предпринимателей, интеллигенции и квалифицированных рабочих — бедность большинства крестьян (а также определенной массы "деклассированных элементов" — "босяков", воспетых Горьким и другими) являлась необходимым и безотказно действующим а р г у м е н т о м в их борьбе против строя. Есть все основания полагать, что в конечном счете всестороннее развитие России подняло бы и уровень жизни крестьян. Но поборники "прогресса" были уверены, что, изменив политический строй, они могут без всяких помех повести всех к полному благоденствию...

* * *

Возвратимся еще раз к тем трем основным силам, которые "делали" Революцию. Их несло на гребне той могучей волны стремительного роста, который переживала Россия. Выше цитировались справедливые слова из предисловия к изданному в 1914 году отчету французского экономиста Э. Тэри, — слова о "здоровой, богатой стране, стремительно идущей вперед". Но вслед за этой фразой сказано: "Революция — не естественный итог предшествующего развития, а несчастье, постигшее Россию". И вот это уже весьма неточное суждение. Нет, именно невиданно бурный и чрезвычайно — в сущности чрезмерно-быстрый рост "естественно" вылился, претворился в Революцию.

Об этом еще в 1912 году с острейшей тревогой говорил на заседании Русского собрания известный в то время "черносотенный" деятель и публицист И. А. Родионов: "...русская душа с тысячами смутных хотений, с тысячами неосознанных возможностей, подобно безбрежному океану, разливается через край... Великий народ... создавший мировую державу, не мог не быть обладателем такой воли, которая двигает горами... И народ доспел теперь до революции...

Я не верю в Россию... не верю в ее будущность, если она немедленно не свернет на другую дорогу с того расточительного и гибельного пути жизни, по которому она с некоторого времени (с 1890-х гг. — **В. К.**) пошла. Потенциальная сила народа тогда только внушает веру в себя, когда она расходуется в меру... У нас же этот Божеский закон нарушен"(12).

Напомню еще раз переданные Розановым слова Суворина о том, что на его глазах "Россия с т р а ш н о выросла во всем". Ведь не случайно же — хотя и, наверное, неосознанно — сорвался с его губ такой вроде бы неуместный эпитет!

Часто говорят, что слабость России накануне 1917 года доказывается ее "поражением" в тогдашней мировой войне. Но это, в сущности, беспочвенная клевета. За три года войны немцы не смогли занять ни одного клочка собственно русской земли (они захватили только часть входившей в состав империи территории Польши, а русские войска в то же время заняли не меньшую часть земель, принадлежавших Австро-Венгерской империи). Достаточно сравнить 1914 год с 1941-м, когда немцы, в сущности, всего за три месяца (если не считать их собственных "остановок" для подтягивания тылов) дошли аж до Москвы, чтобы понять: ни о каком "поражении" в 1914 — начале 1917 года говорить не приходится.

Очень осведомленный и весьма умный Уинстон Черчилль, наслушавшись речей о "поражении России", написал в 1927 году: "Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией должен бы исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна... Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо... пожираемая червями" (13).

Впрочем, Черчилль не усматривает причину гибели Российской империи именно в том, что она, как он утверждает, развила неисчерпаемые силы, развила чрезмерно. Грозную опасность, таящуюся в "страшном" росте России, видели, пожалуй, одни только "черносотенцы". Прогрессистским и либеральным идеологам всех мастей, напротив, мнилось, что Россия развивается-де недостаточно быстро и широко (или даже вообще будто бы стоит на месте), они постоянно стремились сокрушить преграды, мешающие "движению вперед". И это была поистине безнадежная слепота людей, мчащихся в могучем потоке и не замечающих этого. Большинство из них в какой-то момент ужаснулось, но было уже поздно... И тогда они — опять-таки большинство — начали доказывать, что их прекрасная устремленность была чем-то или кем-то искажена, испорчена, превращена в свою противоположность.

Это был заведомо неверный диагноз; все, что делалось в России с 1890-х годов, и не могло завершиться иначе! Действи-

тельно мудрые люди — хотя их и теперь со злобой называют "черносотенцами" — ясно предвидели этот итог задолго до 1917 года. Выше приводилось честное признание одного из кадетских лидеров В. А. Маклакова, согласно которому "правые" в своих предвидениях оказались всецело правыми. И сам тот факт, что все происшедшее было совершенно точно предвидено (хотя бы в цитированной мною записке П. Н. Дурново), свидетельствует о неотвратимой закономерности происшедшего, — хотя либералы и тем более революционеры вплоть до 1917 года с полным пренебрежением отвергали "черносотенные" пророчества.

А после 1917 года многие либералы и революционеры взялись "исправлять" якобы кем-то искаженную историю. Ради этого была начата тяжелейшая гражданская война.

В течение многих лет официальная пропаганда стремилась доказать, что Белая армия вела войну для восстановления "самодержавия, православия, народности". И в конце концов это было принято на веру чуть ли не всеми. Не буду скрывать, что и сам я в свое время — в 1960-х годах — полагал, что Белая армия имела целью воскрешение той исторической России, перед которой преклонялись Гоголь и Достоевский, Леонтьев и Розанов. Помню, как, пролетая четверть с лишним века назад в самолете над Екатеринодаром (я не называл его Краснодаром), несколько человек торжественно встали, чтобы почтить память павшего здесь "Лавра Георгиевича" (Корнилова), как мы благоговейно взирали на возлюбленную "Александра Васильевича" (Колчака) А. В. Тимиреву, которая дожила до 1975 года...

Сейчас такие жесты стали общей модой, и многие видят во всех генералах и офицерах Белой армии жертвенных (пусть и тщетных) спасителей русской монархии... Однако перед нами глубочайшее заблуждение. Один из виднейших деятелей Белой армии, генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский поведал в своих предельно искренних воспоминаниях, что по своим политическим убеждениям эта армия представала как "мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов... "Боже Царя храни..." провозглашали только отдельные тупицы (то есть люди, не понимавшие основную направленность белых. — **В. К.**), а масса Добровольческой армии надеялась на "учредилку", избранную по "четыреххвостке", так что, по-видимому, эсеровский элемент преобладал" (14).

Впрочем, обратимся к главным вождям Белой армии. Все они — "выдвиженцы" кадетско-эсеровского Временного правительства. Не буду останавливаться на беззастенчиво предавшем своего Государя и занявшем его пост Верховного главнокомандующего М. В. Алексееве, поскольку он не так уж знаменит. Но вот широко популярные Л. Г. Корнилов и А. И. Деникин. К Февралю они были всего только командирами корпусов, — то есть стояли в ряду многих десятков тогдашних военачальников. В 1917 году за нелепо краткий срок в несколько месяцев они перепрыгивают через ряд ступенек должностной иерархии. Корнилов становится сначала Главнокомандующим войсками Петроградского военного округа и первым делом — уже 7 марта — лично арестовывает царскую семью... Затем он командует армией, фронтом и, наконец, назначается Верховным главнокомандующим. Деникин в марте же из комкора превращается в начальника штаба Ставки Верховного главнокомандования, а затем получает в руки Западный фронт...

Необходимо иметь в виду при этом, что Временное правительство провело очень большую "чистку" в армии. Лучший современный знаток военной истории А. Г. Кавтарадзе сообщает: "Временное правительство уволило из армии сотни генералов, занимавших при самодержавии высшие строевые и административные посты... Многие генералы, отрицательно относившиеся к проводимым в армии реформам... уходили из армии сами" (15). Совершенно иной была судьба Корнилова и Деникина.

Всем известно, что оба эти генерала вступили позднее в острый конфликт с Керенским; однако это был скорее результат борьбы за власть, нежели последствие каких-либо глубоких расхождений.

Вице-адмирал А. В. Колчак к Февралю был на более высокой ступени, чем эти два генерала; он командовал Черноморским флотом. Вскоре после переворота его призывают в Петроград, чтобы отдать в его руки важнейший Балтийский флот. Чуть ли не первое, что он делает, приехав в столицу, — идет на поклон к патриарху РСДРП Г. В. Плеханову... Назначение Колчака, который тут же был произведен в "полные" адмиралы, на Балтику в силу разных обстоятельств отложили, и Временное правительство отправляет его с некой до сих пор не вполне ясной миссией в США (официально речь шла всего-навсего об "обмене опытом" в минном деле, но по меньшей мере странно, что подобная роль предоставляется одному из ведущих адмиралов...). Из США Колчак через Японию и Китай прибывает в сопровождении представителей Антанты в Омск, чтобы стать военным министром, а позднее главой созданного здесь ранее эсеровско-кадетского правительства. Едва ли не главным "иностранным" советником Колчака оказывается в Омске капитан французской армии (в которую он поступил в 1914 году), родной брат-погодок Я. М. Свердлова и приемный сын А. М. Горького (Пешкова) Зиновий Пешков, еще в июле 1917 года назначенный представителем французского правительства при Керенском, а позднее явившийся (как

и Колчак, через Японию и Китай) в Сибирь...

Перед нами поистине поразительная ситуация: в красной Москве тогда исключительно важную — вторую после Ленина — роль играет Яков Свердлов, а в белом Омске в качестве влиятельнейшего советника пребывает его родной брат Зиновий! Невольно вспоминаешь широко известное стихотворение Юрия Кузнецова "Маркитанты"... При этом нельзя еще не напомнить, что именно Колчак был объявлен тогда Верховным правителем России, которому — пусть хотя бы формально — подчинялись все без исключения белые.

Все эти и другие подобные факты, раскрывающие характер белого движения, отнюдь не являются в настоящее время некими тайнами за семью печатями (хотя кое-что в них остается сугубо таинственным); они изложены по документальным данным в целом ряде общедоступных исследований. Но в общем сознании эти факты не присутствуют. Так, например, в новейших кинофильмах, изображающих белых (а таких фильмов было немало) последние обычно представлены в качестве истовых монархистов. Разумеется, в составе Белой армии были и монархисты, но они, если и действовали, то сугубо т а й н о и к тому же подвергались слежке, а подчас и репрессиям.

А. И. Деникин рассказывает, например, в своем основательном труде "Очерки русской смуты" о подпольной деятельности монархистов в его войсках во время его "похода на Москву":

"Вероятно, усилия их не были бесплодны, потому что в августе (1919 года . — **В. К.**) информационная часть "ОСВАГА" ("Осведомительное агентство" — **В. К.**) отмечала: "Что касается монархических партий и групп, то... главным их орудием является отдел военной пропаганды. Они сумели посадить туда многих своих единомышленников, через которых распространяют свою литературу. Правда, делается это весьма осторожно и без ведома лиц, стоящих во главе отдела, через низших служащих". Крайние правые партии, — свидетельствует далее Деникин уже от себя лично, — не захватывали... численно широких кругов населения и армии... Я знаю очень многих добровольцев, которые не слыхали никогда и названий этих организаций. О существовании некоторых из них я сам узнал только теперь при изучении материалов. Точно так же они не имели своей легальной прессы... Но их подпольная агитация оказывала несомненное влияние, в особенности среди неуравновешенной (! — **В. К.**) и мало разбиравшейся в политическом отношении части офицерства... У них был, однако, общий лозунг — "Самодержавие, православие и народность"... Что касается отношения этого сектора к власти (имеется в виду власть белых. — **В. К.**), оно было вполне отрицательным" (16).

Подобных свидетельств можно привести сколько угодно. Иногда пытаются объяснить категорическое неприятие белыми вождями монархии и вообще "дофевральской" России их социальным происхождением: ведь, скажем, основатель Белой армии генерал Алексеев был сыном простого солдата, Корнилов — казачьего хорунжего (чин, соответствующий низшему, уже даже "полуофицерскому" званию прапорщика), Деникин — вообще сыном крепостного крестьянина, правда, сумевшего выслужиться из рядовых в офицеры, и т. п. Кстати сказать, из 70 с лишним генералов и офицеров — "отцов основателей" Белой армии, участников "1-го Кубанского похода", — как выяснил уже упомянутый превосходный современный историк А. Г. Кавтарадзе, — всего только ч е т в е р о обладали какой-нибудь наследственной или приобретенной собственностью; остальные жили и до 1917 года только на служебное жалованье (по-нынешнему — на зарплату).

В связи с этим А. Г. Кавтарадзе иронически цитирует суждение историка Л. М. Спирина, утверждавшего, что белые-де "не могли смириться с тем, что рабочие и крестьяне отняли у них и их отцов земли, имения, фабрики, заводы" (с. 36) и именно поэтому воевали. Никаких земель и заводов ни у белых генералов, ни тем более у их отцов не было и в помине.

Что ж, поэтому они и шли против прежней России? Дело, по-видимому, обстоит сложнее. Алексеев, Корнилов, Деникин совершили в конце XIX — начале XX века воистину головокружительную карьеру (подумайте только: родившийся в тверской деревне в семье рядового солдата Алексеев, выпущенный в свои 19 лет прапорщиком из юнкерского училища, к 57 годам стал генералом от инфантерии!). И это значит, что они оказались на самом гребне мощного и стремительного роста России, — роста, который побуждал их верить в безграничный "прогресс". Вполне уместно сказать, что эти генералы были настроены, в сущности, "революционно", и, конечно, совершенно не случайно тот же Алексеев вместе с "левеющим" октябристом Гучковым начиная с 1915 года готовил военный заговор, предусматривающий насильственное свержение Николая II.

Исходя из всего этого, естественно заключить, что само название "Белая армия" (или "гвардия") возникло как противоположение не только (а может быть, и не столько) "Красной армии", но и "Черной сотне"...

Весной 1993 года я участвовал в телевизионной программе, посвященной памяти Николая II. Большинство выступавших, как это сегодня принято, весьма положительно отзывались о последнем русском самодержце (кстати, самодержец означает вовсе не "абсолютный", а с у в е р е н н ы й монарх). Но один исто-

рик, не преодолевший ненависти, обвинил Николая II в том, что его сторонники развязали гражданскую войну, повлекшую неисчислимые жертвы. Я возражал историку, но по краткости отпущенного мне времени не мог произнести то, что изложено выше. Невозможно оспорить, что гражданской войной руководили отнюдь не монархисты, а либералы (прежде всего — кадеты) и революционеры, не согласные с большевиками (главным образом — эсеры).

В конце концов Белая армия никак не могла — если бы даже и хотела — идти на бой ради восстановления монархии, поскольку Запад (Антанта), обеспечивавший ее материально (без его помощи она была бы бессильна) и поддерживавший морально, ни в коем случае не согласился бы с "монархической" линией (ибо это означало бы воскрешение той реальной великой России, которую Запад рассматривал как опаснейшую соперницу).

Сравнительно недавно (хотя еще до пресловутой "гласности") было издано тщательное исследование историка Н. Г. Думовой "Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917—1920 гг.)" (М., 1982), в котором неопровержимо доказано, что ни о какой существенной деятельности монархистов в ходе гражданской войны не может быть и речи, что решающую роль играли кадеты и эсеры (последние — особенно в стане Колчака). Любопытно, что Н. Г. Думова, — по-видимому, для того чтобы, как говорится, не дразнить гусей, — уважительно говорит о тех историках, которые пытались (конечно, совершенно тщетно) доказать, что вина за гражданскую войну лежит на монархистах. Так, она пишет (с. 12), что-де "большой вклад... внесла монография Г. З. Иоффе "Крах российской монархической контрреволюции" (1977)". Между тем труд самой Н. Г. Думовой по существу начисто опровергает основные положения сей монографии...

Впрочем, при более или менее вдумчивом чтении становится ясно, что и книга Г. З. Иоффе сама опровергает свое собственное название (и, разумеется, основной свой тезис) — "Крах российской м о н а р х и ч е с к о й контрреволюции". Нельзя не заметить, что определение "монархическая" — это только смягченный вариант определения "черносотенная", ибо последнее слово присутствует в книге Г. З. Иоффе едва ли не на большинстве страниц — и присутствует в конечном счете для того, чтобы "свалить" на "черносотенцев" трагедию гражданской войны.

Но поскольку книга Иоффе — это все же не пропагандистская брошюра, а обширное исследование, в котором приводится множество разнообразных фактов, заявленная автором версия, согласно которой главной силой, развязавшей гражданскую войну, были монархисты (читай — "черносотенцы"), буквально рушится на глазах любого внимательного читателя.

Судите сами. Г. З. Иоффе сообщает, например (отрицать это и невозможно), что в стане Колчака "политически первую скрипку... играли правые эсеры" (при этом не надо удивляться слову "правые": если говорить о левых эсерах, то они до лета 1918 года делили власть с большевиками, входили в Совнарком и ВЦИК Советов). Однако затем Г. З. Иоффе начинает уверять нас, что на деле-то колчаковская армия была-де во власти "махровых черносотенцев" (с. 169). Из чего же это следует? Оказывается, при Колчаке, пишет Иоффе, "в Омске и других городах действовала т а й н а я (выделено мною. — **В. К.**) организация офицеров-монархистов" (с. 176), ибо "черносотенно настроенная омская военщина предпочитала действовать негласно" (с. 177); более того, Иоффе утверждает (без каких-либо аргументов), что, мол, даже и сам Колчак всегда оставался "скрытым монархистом..." (с. 181).

Между прочим, ничего себе обстановочка, при которой Верховный правитель вынужден тщательно скрывать свои истинные убеждения! При этом Иоффе, как ни странно, утверждает еще, что, несмотря на монархизм Верховного правителя, "в монархических кругах... вынашивались планы переворота, направленного... против режима Колчака" (с. 193), что "наиболее реакционно настроенные (то есть "махрово черносотенные". — **В. К.**) генералы и офицеры не оставляли своих надежд "убрать" Колчака" (с. 196). Вот уж в самом деле курьез: казалось бы, Колчаку следовало только шепнуть этим генералам и офицерам, что в действительности он монархист, и все было бы в порядке.

Но суть дела даже и не в этом. Вполне можно допустить, что какая-то часть генералов и офицеров в стане Колчака тайно исповедовала монархические и даже "махрово черносотенные" взгляды. Однако пытаться на этом основании объявить колчаковцев вообще "монархистами" и "черносотенцами" — в сущности то же самое, что объявить их "большевиками", поскольку ведь в армии Колчака очень активно действовала и большевистская агентура (гораздо более активно, чем "черносотенная"). Член тогдашнего Омского (подпольного) комитета РКП(б) С. Г. Черемных вспоминал: "Основную работу среди солдат (колчаковских. — **В. К.**) вели рабочие из нелегальных партийных ячеек и боевых групп (десяток)... Они доводили до сознания мобилизованных в колчаковскую армию, что война против Советской республики только на пользу русской и международной буржуазии. Каждое утро на постовых будках, дверях, оконных рамах и стеклах складов появляются надписи: "Долой эту сволочь — сибирское правительство и его ставленников!" (17) — то есть эсеров и Колчака с его генералами — и т. д. и т. п. "Тайная"

деятельность "черносотенцев" в стане Колчака совершенно меркнет перед этой не столь уж тайной деятельностью большевиков! Монархисты, согласно утверждениям самого Г. З. Иоффе, лишь еле заметно нечто затевали...

Более решительно попытались действовать затаившиеся монархисты позднее, при Врангеле, — то есть уже перед концом Белой армии. Иоффе сообщает о том, что готовился "монархический заговор, созревший (даже! — **В. К.**) в мае — июне 1920 г. среди части морских офицеров Севастополя. План заговорщиков состоял в том, чтобы арестовать Врангеля и нескольких близких к нему лиц (из числа, понятно, либеральных деятелей. — **В. К.**), после чего провозгласить главой белого движения великого князя Николая Николаевича". Однако "заговор очень быстро был раскрыт и ликвидирован" (с. 261).

Сообщая о подобных фактах, Иоффе, повторяю, начисто опровергает декларируемое и в названии его книги, и в многочисленных общих фразах представление о Белой армии как монархической и "черносотенной". Да, в этой армии, конечно, были и "черносотенцы". Но они ни в коей мере не определяли ее политическое лицо.

Нельзя не сказать еще о том, что Иоффе не раз на протяжении своей книги говорит о деятельности во время гражданской войны реальных "черносотенных" лидеров — главным образом, Н. Е. Маркова и В. М. Пуришкевича. Но деятельность эта, как выясняется из книги, целиком сводилась к вынашиванию планов (именно и только вынашиванию) освобождения арестованного Николая II, к изданию немногих и малотиражных монархических брошюр и прокламаций, и, наконец, к различным не имевшим каких-либо серьезных последствий совещаниям "черносотенцев" и их посланиям друг другу. Никакого результативного участия в гражданской войне эти доподлинные "черносотенцы" не принимали.

Многое раскрывает следующее сопоставление: выше упоминалось, как адмирал Колчак пошел на поклон к лидеру РСДРП Плеханову, а Иоффе, в свою очередь, рассказывает, что произошло после того, как лидер "черносотенцев" Пуришкевич сумел однажды пробиться на прием к генералу Корнилову: "Сведения об этом попали в печать и корниловскому окружению пришлось разъяснить, что встреча эта была чисто официальной и продолжалась несколько минут" (с. 82).

Все это недвусмысленно свидетельствует, что, во-первых, Белая армия, по существу, не имела ничего общего с "черносотенцами" (и, выражаясь мягче, монархистами) и, во-вторых, "черносотенцы" не играли хоть сколько-нибудь значительной роли в гражданской войне. А значит, нелепо вменять им в вину эту кровавую мясорубку, — как, впрочем, и вообще какие-либо кровавые дела (о чем еще будет сказано подробно).

* * *

Итак, в гражданской войне столкнулись две по сути своей "революционных" силы. Отсюда и крайняя жестокость борьбы. Для к о н с е р в а т о р о в (а монархисты, без сомнения, консервативны по определению) вовсе не характерна а г р е с с и в н о с т ь, они видят свою цель в том, чтобы сохранить, а не завоевать.

В высшей степени характерно, что Николай II без борьбы отрекся от престола, ибо, как сказано в его Манифесте от 2 марта 1917 года, "почли Мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение..."

Но об этой теме мы будем говорить в следующей главе. Отмечу еще, что многое из того, о чем было сказано выше, имеет прямое отношение к сегодняшним проблемам, но для выявления сей "переклички" необходимо охарактеризовать еще ряд сторон эпохи Революции.

1. Р о з а н о в В. В. Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине. — М., 1992, с. 18.
2. Т э р и Э. Россия в 1914 г. Экономический обзор. — Paris, 1986, с. 1.
3. Н а з а р о в А. И. Книга в советском обществе. — М., 1964, с. 28.
4. "Вопросы философии", 1990, № 8, с. 133, 134—135, 136.
5. Ф е д о т о в Г. П. Империя и свобода. — Нью-Йорк, 1989, с. 99—100.
6. Там же, с. 91.
7. Б е р д я е в Н. Душа России. — М., 1990, с. 12, 14.
8. Т о к в и л ь. Старый порядок и Революция. — М., 1905, с. 196—197.
9. См.: М и р о н о в Б. Н. История в цифрах. — Л., 1992, с. 136.
10. Там же, с. 82, 83.
11. "Вопросы истории", 1992, № 2—3, с. 82.
12. Р о д и о н о в И. А. Два доклада. — СПб, 1912, с. 79, 77, 71.
13. Цит. по кн.: О л ь д е н б у р г С. С. Царствование Императора Николая II. — Мюнхен, 1949, т. II, с. 256, 257.
14. С л а щ о в-К р ы м с к и й Я. А. Белый Крым 1920 г. — М., 1990, с. 40.
15. К а в т а р а д з е А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. — М., 1988, с. 30.
16. Д е н и к и н А. И. Поход на Москву. — М., 1989, с. 75, 76.
17. Разгром Колчака. Воспоминания. — М., 1969, с. 242.

(Продолжение следует)



ВЛАДИМИР КАСАТОНОВ

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ

(Религиозно-нравственный смысл "Капитанской дочки" А. С. Пушкина)

"Капитанская дочка" А. С. Пушкина закончена 19 октября 1836 года, за три месяца до трагической гибели поэта. Последнее большое произведение, писавшееся три года... Естественно отнестись к нему внимательнее, пристальнее всмотреться в его героев, постараться понять его "сверхзадачу" — смысл. Однако в советском литературоведении незавидна судьба этой последней повести Пушкина. Со школьной скамьи набившие оскомину благоглупости о "Капитанской дочке" как произведении, описывающем крестьянскую войну... плюс "романтическое происшествие..."(1) Из книги, посвященной обзору 25 Пушкинских конференций (1949—1978), на каждой из которых представлено было в среднем не менее полусотни докладов, видим: последней — хочется сказать, предсмертной — повести Пушкина посвящено было только два: "О реальном историческом прототипе героя "Капитанской дочки" и "Капитанская дочка" А. С. Пушкина в школах Оренбуржья..."(2) Наукообразное и обмельчавшее литературоведение спешит выяснить детали — прототипы и т. д., — как бы и не замечая главного вопроса: а стоит ли огород городить, — так ли уж важна эта небольшая повесть для русской литературы и для самого Пушкина? о чем, собственно, она? Если о крестьянской войне, то зачем нужно было писать еще и "Историю Пугачева"? В чем собственный смысл "Капитанской дочки"? Вот на этот вопрос мы и попытаемся ответить в статье.

Хорошо читать "Капитанскую дочку"!.. С первых строк — особая атмосфера русской патриархальной семьи XVIII века. С мягким юмором, особой русской насмешливостью — гарантом трезвости и объективности — ведет повествование пушкинский герой. "В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. "Слава Богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!" Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel, не очень понимая значение этого слова"(3). В нескольких строках, написанных каким-то особым, ярким и упругим языком — проза поэта! — сразу сочная картина "русских типов". Тут все: и провинциальность, спешащая не отстать от столичной — европейской! — культуры, и патриархальная преданность слуг, не за страх, а за совесть — по заповедям евангельским — служащих господам своим, и бесконечная, неискоренимая русская бесхозяйственность, расточительность, беспечность... Да, несомненно, мы дома, мы на родине, это Россия... Вместе с каким-нибудь Змеем-Горынычем из русской сказки так и хочется воскликнуть: "Русским духом пахнет!.." Однако если останемся мы только на уровне наших ощущений — тепла от своего, родного и неуютной прохладности чужеродного, — если останемся только на уровне чутья — национального ли, классового ли, — то не выйдем мы на просторы культуры, в ее мировой универсальности не утвердим нам дорогого, как ценность общечеловеческую, как искорку и блестку Истины вечной. В чем же смысл "Капитанской дочки"?

Нам откроется этот смысл через обсуждение главной драматической линии пове-

---

КАСАТОНОВ Владимир Александрович родился в 1947 году. Окончил механико-математический факультет МГУ и аспирантуру Института истории естествознания и техники РАН. Кандидат философских наук. Автор книги "Метафизическая математика XVII века" и 40 научных работ.

сти: взаимоотношений Петра Андреевича Гринева и Емельяна Пугачева. История этих взаимоотношений насчитывает четыре встречи. Первая — в степи, в буран, когда Пугачев вывел заблудившегося ямщика Гринева к умету — постоялому двору (и, конечно, разговоры на постоялом дворе). Вторая встреча — в Белогорской крепости, которую только что заняли повстанцы, и Гринев, узнанный Пугачевым, был пощажен и отпущен. Третья — в Бердской слободе, где Гринев просит Пугачева освободить его невесту Марью Ивановну Миронову (а также разговор с Пугачевым по дороге в Белогорскую крепость). И, наконец, последняя, четвертая встреча — короткий обмен взглядами между Гриневым, стоящим в толпе, и Пугачевым, всходящим на эшафот, за минуту до того, как голова последнего была отсечена палачом... Четыре встречи, основная сюжетная линия повести.

Герои наши ведут на протяжении всей повести диалог особого рода. Одни и те же слова, понятия меняют свой смысл в зависимости от того мировоззренческого горизонта, в котором их высказывают. Таких мировоззренческих горизонтов, таких особых ценностно упорядоченных уровней существования, к которым апеллирует слово наших героев, мы выделяем в повести три. Первый уровень есть уровень **фактического существования**. Существование на этом уровне исчерпывается своей фактической данностью. На этом уровне человек существует как естественное природное психофизиологическое существо, а в качестве исторического субъекта, как носитель определенных функций — семейных, классовых, национальных и т. д. Вопрос о смысле, о законности, об оправданности, "освященности" этих функций не обсуждается на этом уровне. Существование на этом уровне есть как бы чистое de facto, не ищущее никакого de jure(4). И, следовательно, право на этом уровне есть право факта — "у кого сила, у того и право". Это есть (например) уровень, на котором Пугачев играет роль царя.

Второй уровень есть как бы определенное "очеловечивание" первого: человеческое существование на втором уровне выражается формулой: **фактическое существование плюс свобода**. Причем из всех многообразных определений свободы для нас здесь существенное — это ничем не ограниченная человеческая свобода принять или отвергнуть любое фактическое существование. По сути, речь идет о свободе произвола. С этой точки зрения любая человеческая функция на первом уровне существования, любая данность становится условной. Она может быть оспорена, уничтожена, отменена (как и сотворена, вновь принята на себя). Социальная данность в принципе становится "рукотворной", становится ролью(5), свободно принимаемой и отвергаемой.

На третьем уровне человек в своем опыте произвола, в недрах собственной свободы открывает опять некоторую **данность**, некоторую фактичность, парадоксальность которой состоит в том, что эта фактичность оказывается **данностью внутри свободы**, которая, по определению, есть преодоление всякой данности. Существование человека на третьем уровне есть существование свободы в мире нравственных ценностей — своеобразных духовных реалий, в мире которых свободный человек утверждает себя, как свободная нравственная личность. Мир нравственных ценностей есть иерархически упорядоченный мир, на вершине которого располагается Сверхценность (и Сверхреальность) — Бог. Если общение двух на втором уровне есть общение равных в бесконечности своего произвола человеческих свобод, как бы двух равных богов, то общение на третьем уровне есть общение двух личностей в горизонте отчасти знаемой, отчасти предвосхищаемой Истины, общение "перед лицом Бога".

С этим важным для нас методологическим инструментарием — различением трех уровней общения — приступим теперь к анализу четырех встреч Пугачева и Гринева. Нам будет удобнее начать со второй, со встречи в Белогорской крепости. Вспомним в общих чертах ситуацию. Пугачев занял со своими повстанцами Белогорскую крепость, где служил Гринев. Комендант крепости, его жена и не признавшие Пугачева царем офицеры, были повешены или убиты на глазах Гринева. Последний чудом спасся: Пугачев узнал в Гриневе офицера, который подарил ему однажды тулуп со своего плеча в благодарность за помощь во время бурана в степи. Вечером Гринева приводят в избу, где Пугачев пирует со своими сообщниками. После долгого застолья и "под занавес" зловещей песни про виселицу все, наконец, расходятся. Гринев с Пугачевым остаются с глазу на глаз. Приведем это место дословно.

"Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный). Ты крепко передо

мною виноват, — продолжал он; — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: "Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую".

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. "Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?"

— Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. "А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?"

— Как могу тебе в том обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. "Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит"(6).

Попытаемся отдать себе отчет в том, что происходит в этом разговоре. Пугачев сразу предлагает общение на уровне фактического существования, на том уровне, на котором он выдает себя за царя: "Не думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?" Пугачев говорит от имени факта: меня почитают истинным государем, — "Обещаешь ли служить мне с усердием?" Гринев же отказывается уравнивать голый факт силы с правом. "...Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным... Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою". Именно **честь**, чувство потомственного дворянина, ощущающего себя наследником родовых традиций, верности, служения **престолу и отечеству**, связанного присягой и привычкой и не мыслящего себя вне этих социальных детерминаций, помогает Гриневу восторжествовать над "слабостию человеческою". Уступить силе, признать бродягу государем значило бы не просто испугаться, значило бы разрушить целый социальный космос и тем самым утерять смысл исторического существования... Трубным призывным гласом звучит здесь у Пушкина тема чести, обозначенная и эпиграфом ко всей повести — "Береги честь смолоду". Мы вернемся еще к этому в дальнейшем.

Однако как объяснить это Пугачеву? Прямая ссылка на честь, на присягу только бы разъярила атамана — разве не оспаривает он своим бунтом всего устоявшегося социального порядка со всеми его условностями? — Старая присяга — ложная присяга, нужно принести новую! И Пугачев ставит вопрос ребром: "Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо". Гринев в сложном положении, и выход из него он находит очень нетривиальный: "Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую". **Отвечать прямо** невозможно. Ибо уже с самого начала разговора "в воздухе повис" вопрос о праве, о ценностях и о чем-то еще очень глубоком и решающем, о чем, однако, вот так сразу, с первых слов говорить невозможно. Невозможно именно потому, что общение на этом более глубоком уровне требует определенной **открытости** человека,

требует такой духовной установки, которая необходимым своим условием имеет максиму: реальность не исчерпывается фактическим положением вещей...И эту установку человек может выбрать только **свободно** (или не выбрать, опять же свободно). Необходимо, чтобы разговор разворачивался бы в горизонте свободы, а Гринев еще не знает "предлагаемых обстоятельств", не знает, до какой степени свобода "разрешена" Пугачевым. Пугачев помиловал Гринева, это акт свободы, конечно, но где ее границы?

Но надежда только на нее, на свободу, только она способна преодолеть тупик (для Гринева) фактической ситуации и обещать что-то утешительное в будущем. Именно к свободе Пугачева и обращается Гринев. Вся эта доверительность тона, призыв к искренности, к универсальности, интерсубъективности разумности — "ты человек смышленый: ты сам увидел бы..." — все это как бы одно целое: Пугачев, будь человеком... Человеком в том смысле, как диктует это второй и третий уровень существования в нашей схеме: есть свобода и, следовательно, мир не исчерпывается только видимым и осязаемым, только фактическим господством и подчинением... Особенно эти слова: "Рассуди, могу ли я признать в тебе государя?" Ведь это приглашение: Пугачев, встань на мое место, как бы ты поступил? — Какая дерзость по отношению к государю! Какая смелость со стороны пленника! Что дает Гриневу право на это? Что ведет его? А то, что пережито было уже Гриневым, когда, готовый к смерти на виселице, был он неожиданно помилован. Цепь неумолимо связанных событий неожиданно разорвалась, и действительность обнаружила вдруг свои новые, таинственные измерения и, значит, новые возможности жить и надеяться... Именно к этим новым возможностям и апеллирует Гринев, угадывая уже, что они дороги и Пугачеву.

И Пугачев отвечает на "приглашение" Гринева. "Ну, добро, — говорит он, — а разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?.. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?" Хорошо, говорит Пугачев, ты не веришь, что я истинный государь. Но разве нет удачи удалому? Разве не имеет человек права захотеть и стать государем? Разве не верно — кто смел, тот и съел? Ведь это не я, Пугачев, придумал, это уже было в истории до меня... Гринев предлагает общаться на уровне свободы. И Пугачев соглашается. Но свобода свободе рознь. Есть свобода произвола, свобода Гришки Отрепьева (наш второй уровень диалога). Вот к со-гласию на этом уровне и приглашает Пугачев Гринева. Гринев опять в очень сложном положении. Он, конечно, не признает легальности самого уровня существования, который предлагает ему Пугачев. Но спорить об этом значило бы спорить о ценностях, об истине, о мировоззрении, а это предполагает еще большую степень открытости человека, гарантии которой у Гринева нет. Опять — до каких границ "разрешает" свободу Пугачев — еще не ясно. И Гринев делает шаг неожиданный и очень смелый. "Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу". То самое чувство чести, которое удержало Гринева от малодушного поступка, не позволило ему признать царя в самозванце, но которое было **скрытой** пружиной его действий, здесь явлено открыто. Гринев как бы возвращается на первый уровень существования (и диалога). Он сам хотел углубления диалога, Пугачев принял это и заговорил именно "от свободы", однако продолжать эту тему было бы опасно, чувствует Гринев. Объяснять Пугачеву, что свобода Гришки Отрепьева есть свобода беззаконная — не значило бы это **метать бисер перед свиньями**? Ведь от имени этой свободы беззакония и говорит Пугачев. Что же делать?.. И Гринев отступает. Точнее, стоит — **с твердостию** (см. текст) — на том, что является исходным рубежом ситуации: "Я природный дворянин". Другими словами: я дворянин, а ты — бунтарь, и я тебе служить не могу. Мы — по разные стороны баррикады. Семь бед — один ответ: все как бы возвращается к тому моменту, когда помилованного Гринева подтащили к Пугачеву, для лобызания руки. И Гринев, как и тогда, отказался. Все возвратилось... Кроме одного: в этом свершившемся круге событий уже обретен некоторый **положительный опыт** общения в свободе: уже не раз показал Пугачев свое благорасположение Гриневу, и именно на него делает ставку Гринев и в этом повороте диалога. Именно это позволяет ему сказать: "Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург". И еще одно. Есть в этом возврате к уровню фактического существования и некоторый намек. Заново противопоставляя фактичность существования безграничному произволу беззаконной свободы, Гринев как бы говорит: и сама фактичность отнюдь не так условна, как этого тебе хотелось бы, Пугачев, не есть только роль; фактичность социального института может быть освящена и достойна защиты даже ценою жизни. Да и свобода тоже, как ни кажется безграничным ее произвол, также самоопределяется в виде некоторых устойчивых реалий — присяга, честь, верность, вера... Впрочем, здесь это только намек, который будет развернут позже.

С удивительным тактом гениального художника Пушкин начинает новый абзац: "Пугачев задумался". И оттуда, из глубин душевной жизни, "из-за дум", из глубин

предчувствий приходит к Пугачеву решение и новый вопрос: "А коли отпущу, так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?" Пугачев соглашается: хорошо, у нас есть особый модус наших отношений, ты просишь меня отпустить, — я отпущу. Но не "отпустишь" ли и ты меня, Гринев, не прекратишь ли и ты действовать мне во зло? Теперь как бы Пугачев взывает к Гриневу, — Гринев, будь человеком и ты... Но Гринев связан законом чести. Он не может изменить своей воинской присяге. Но любопытно, как неожиданно меняется для Гринева, скажем, не статус его службы, но его психологическое отношение к долгу службы. Если в предыдущем ответе Гринева присяга — это нечто святое и безусловное, подчеркнутое лаконичной торжественностью тона: "Я присягал государыне императрице: тебе служить не могу", — то в новых словах Гринева как бы подменили. "Как могу тебе в этом обещаться? Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего". Так и слышится: пойду — а не хотел бы! не моя воля — а по своей бы и не пошел! Если велят — делать нечего, — хотя и хотел бы! Только что перед нами был убежденный защитник государства и престола, сама верность и честь, и вот, вдруг — **невольник чести**! Нет, Гринев не отказывается от чести и присяги. Но только... но только отвечать от имени чести тому, от имени чего говорит Пугачев, было бы бестактно, неблагодарно (и нелогично)... Поэтому так деформируется отношение Гринева к чести. Там, в первом ответе, это честь перед лицом беззакония самозванцев и воров. Там — от нее сверху вниз взгляд на дерзость и безумие своеволия. Здесь — от нее снизу вверх взгляд к чему-то высшему, к евангельскому "Не клянитесь"(7), может быть... Нет, Гринев не хочет упразднить законов чести, конечно. Но сколь любопытны его неуклюжие попытки как бы оправдать честь на уровне "добрых отношений": "Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится?.."

Разговор парадоксальным образом — через возврат на первый уровень — переходит на третий. Здесь, на этом уровне существования, созревает решение Пугачева отпустить Гринева. С точки зрения именно этого уровня честь Гринева со всей ее бескомпромиссностью и прямотой оказывается вдруг, для него самого, слишком прямолинейной, со всей ее смелостью слишком эгоцентричной... Странным образом, чувствует Гринев, в выборе своей позиции должен он учитывать как бы не только свои интересы, но и — в каком-то странном смысле — интересы Пугачева... Как и Пугачев, который, оказывается, вдруг должен почему-то беспокоиться о чести Гринева... Заговорило что-то третье, перед чем и Пугачев, и Гринев равны... И Гринев находится сказать именно перед лицом этого третьего: "Голова моя в твоей власти; отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду". Спаси-бо значит: спаси Бог. Отпустишь или казнишь, говорит Гринев, всё перед лицом Бога и Бог тебе судья. Перед лицом Бога почувствовал ты, Пугачев, необходимость — и благостность — за добро ответить добром. Пред очами Божьими стоим мы и сейчас... Гринев не хочет — и боится — спора с Пугачевым. Но он опирается на то, что бесспорно для обоих. Есть Бог и есть Истина. Хотя Пугачев и действует по видимости так, что произвол своеволия ничем не ограничен, однако — и это существеннейшая черта пушкинского Пугачева, тем не менее, он оказывается нравственно вменяем. За добро до́лжно ответить добром: Пугачев решается отпустить Гринева.

Дальше у Пушкина идут замечательные строки: "Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк". Только что произошло нечто значительное. Вдруг после сражения, ужасных убийств и выматывающей душу тревоги установилась тишина. Кончилась ли война? Спасены ли близкие? — Нет, бунт еще только в самом разгаре. Но посреди этого бунта вдруг найдено нечто, что умиряет страсти, утешает душу, обещает спасение самое полное... Этот мир, тишина, надежда пришли не извне, не с наступлением усыпляющей ночи, а изнутри — из глубины души человеческой, которая вдруг открывает бесконечные горизонты веры и надежды. Эта тишина морозной ночи есть тишина души, коснувшейся вечности и осознавшей, что она в мире не одна, что совесть ее доносит ей весточку из мира горнего. И эти яркие зимние звезды над головой — тоже только символы, только отражения нравственных ориентиров, сокрытых в душе человеческой, сущих всегда и везде, как бы ни закрывали их плотные облака людских страстей...(8) Это опять наш третий уровень существования, и, может быть, самый адекватный этому уровню модус общения есть диалог через тишину, диалог-молчание... С него, впрочем, и начался разговор Пугачева с Гриневым: "Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему". Что-то

происходит между Пугачевым и Гриневым в молчании... И более того: в любом разговоре, даже самом напряженном и обостренном, музыка этого молчания, однажды начавшись, не смолкает уже никогда. Она оказывается лоном, вместилищем любого общения. И в этом молчаливом диалоге странным образом все уже как бы разрешено, примирено, спасено... Детской непритворной веселостью прорывается стихия этого молчаливого общения в погруженный в заботу и страдание мир обыденной реальности. Человек, обретший эту опору, это убежище, эту примиренность в кровавой драме исторической действительности, воистину чувствует себя, по слову Савельича, — с радостью встречающего освобожденного Гринева, — "как у Христа за пазушкой"(9).

Три уровня существования, три, соответствующих им, уровня диалога. Если угодно, можно видеть в этом отражение классического для христианской культуры разделения на тело, душу и дух. Причем жизненная драма происходит сразу на всех трех уровнях, они разом вовлечены в игру, взаимно ограничивая и определяя друг друга. Нельзя сказать, что Истина только там, на третьем уровне, так как Истина есть одновременно и путь к ней, то есть путь на первом и втором уровнях существования — уровне фактической данности вещей и отношений обыденного мира и уровне их переоценки человеческой свободой. Истина выступает здесь как свет, как светоч — ведущий человека и освящающий его, как свет, который "и во тьме светит"(10).

Эту рассеянность света высших сфер бытия по пространству жизни по-своему выражает и образ Савельича, слуги Гринева. Пара Гринев — Савельич есть чистый пушкинский парафраз сервантесовских Дон-Кихота и Санчо Пансы. Для доказательства достаточно привести лишь одно место из повести. Вот Гринев с Савельичем отправляются из Оренбурга на спасение Марьи Ивановны: "Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее..."(11) Высокие и благородные побуждения, действия Гринева Савельич занижает и отражает в пародийном ключе. Вот утро в Белогорской крепости после занятия ее повстанцами Пугачева. Те странные и глубокие отношения, которые завязались между Гриневым и Пугачевым и следствием которых было уже чудесное избавление Гринева от виселицы, не достаточны для Савельича сами по себе. Для их реальности Савельичу нужно их более материальное подтверждение. Истина для его трезвого хозяйственного ума простолюдина неотделима от справедливости, а последняя от права собственности. Как говорится, "дружба дружбой, а денежки — врозь", и парадокс в том, что реальность первого, в некотором смысле, в гарантии второго. И Савельич выступает перед Пугачевым с реестром похищенных у них вещей. Чем чуть и не погубил и себя, и своего хозяина. Однако Пугачев все-таки прислал Гриневу в дорогу лошадь, овчинный тулуп и полтину денег. "Вот видишь ли, сударь, — резонирует Савельич, — что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно..." И он, конечно, прав, беззаветно преданный и верный своему барину Архип Савельевич. Только одно неверно: не вмещается в слова и подарки та глубина взаимоотношений, которая вдруг открылась Гриневу и Пугачеву. Слова, рассудочность, трезвость — это одно, а тут глубже — совесть, лицо, молчание...

Перейдем к анализу следующей встречи Гринева с Пугачевым (третьей, если считать от встречи в степи). Вспомним предшествовавшие ей обстоятельства. Гринев, отпущенный Пугачевым, воевал против последнего в составе оренбургского гарнизона. Через бывшего белогорского урядника Максимыча Марья Ивановна передала Гриневу письмо. В этом письме она описала свое катастрофическое положение — Швабрин принуждает ее выйти за него замуж — и слезно просила о помощи. Гринев вместе с верным Савельичем отправляется в Белогорскую крепость. Но по дороге, в Бердской слободе, его останавливают посты Пугачева, арестовывают и приводят к своему атаману. Пугачев и его товарищи приготовились встретить пленного оренбургского офицера, разыграть перед ним роль царя и его свиты, но как только Пугачев узнает Гринева, разговор сразу же принимает частный характер. "Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. "А, ваше благородие! — сказал он мне с живостью. — Как поживаешь? Зачем тебя Бог принес?" Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. "А по какому делу?" — спросил он меня"(12).

Гринев остро чувствует неслучайность происходящего. Странным образом его личная судьба, судьба его невесты оказываются связанными, с одной стороны, с судьбой самозванца и, с другой — с исторической судьбой государства. "Я не мог не подивиться странному стечению обстоятельств, — размышлял Гринев еще после своего первого чудесного спасения в Белогорской крепости, — детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!"(13) Какая-то высшая, безусловная сила неумолимо бросает в кипящий котел истории судьбы личные и народные, перемешивает все — добро, зло, ненависть и любовь, величие и ничтожество, чтобы в новом высшем синтезе достигнуть каких-то своих, до поры сокрытых от людей и только ей ведомых

целей... Однако нечто от этого высшего смысла истории начинает "просвечивать" уже и здесь, в человеческой эмпирии. Знаменитый пророческий сон Гринева во время бурана в степи как бы обозначает заранее "траекторию" взаимоотношений с Пугачевым на протяжении всей повести. И каждая новая встреча с Пугачевым отмечена для Гринева чувством предопределенности. Так и здесь, в Бердской слободе: "Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение"(14). Частная жизнь Гринева оказывается тесно связана с исторической судьбой пугачевского бунта. История, в изображении Пушкина, оказывается **человечной** — не только классовой, национальной, военной, экономической — все эти абстрактные определения недостаточны, не покрывают ее сущности, — история оказывается человечески **отзывчивой**. "Свое дело" влюбленного молодого человека Петра Андреевича Гринева и исторические события пугачевского бунта оказываются соизмеримыми. И на вопрос Пугачева, — по какому делу он выехал из Оренбурга, — Гринев отвечает: "Я ехал в Белогорскую крепость, избавить сироту, которую там обижают". И — о, чудо! — Пугачев, грозный атаман огромного войска, хочет помочь честному человеку Петру Гриневу, тому самому офицеру Гриневу, который воюет против него, Пугачева.

Логика этих отношений отнюдь не понятна на обычном — фактическом — уровне существования. Логика обыденного мира ясно и недвусмысленно выражена сообщником Пугачева — беглым капралом Белобородовым. "Швабрина сказнить не беда, — говорит он, — а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров"(15). Вот логика мира, разделенного баррикадами борьбы, — жестокая, неумолимая и по-своему законная, правильная. Таковы правила игры. Гринев прекрасно понимает это: "Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился"(16).

Но в отношениях Пугачева с Гриневым тон задает другой уровень, где все фактические разделения людей становятся так или иначе условными. Именно от этого уровня и обращается Пугачев к Гриневу, заметив смущение последнего. "Ась, ваше благородие, — сказал он подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?"(17). Два уровня: на одном — ненависть и страх, на другом — взаимопомощь и надежда. Но не только это открывается нашим героям, ведущим свой диалог на более глубоком уровне реальности. Есть еще какая-то особая радость освобождения от давящей жестокой логики этого обыденного мира фактической данности, где все непроницаемо, социальные роли жестоко разграничены и неумолимо предопределены. Радость преодоления тяжести фактичности через свободу, **радость полета, парения**, радость игры... Игра с самим бытием — с самой жизнью! — особый **метафизический кураж** двигает Пугачевым, лукаво подмигивающим Гриневу — "Ась, ваше благородие?" Как бы: хоть и страшно, но мы-то с тобой знаем, что не может все кончиться так плоско и бездарно, — не должно! Этот метафизический кураж человеческой свободы нередко выражался Пушкиным и, может быть, лучше всего в знаменитой песне Вальсингама из "Пира во время чумы":

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

"Бессмертья, может быть, залог!" — Кто не рисковал, тот, может быть, и не жил, и риск сам по себе — бессмертья, может быть, залог... Пушкин касается здесь глубоко архаических языческих верований о спасении через героизм... Вальсингам спорит в "Пире" со священником... Тема дворянства (рыцарства) и священства и, более общим образом, тема государства и церкви волновала Пушкина всю жизнь. И здесь, в "Капитанской дочке", Пушкин дал относительно уравновешенную трактовку этой темы. Если в таких произведениях, как "Пир во время чумы", скорее, только поставлен вопрос(18), то в "Капитанской дочке" дан уже и некоторый ответ, ответ глубоко национальный, как бы от лица русской истории.

Эта жизнь, как риск, как захватывающая игра со смертью в пугачевском "Ась, ваше благородие?", как все, что касается свободы, расщепляется на две темы, соответственно нашим двум уровням свободы (второму и третьему). Тут и высокая игра героизма, но тут и жизнеутверждающая надежда на спасение. И именно последнее тут же подхватывает Гринев: "Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал..." Однако не может быть покоя в этом мире, раздираемом непримиримой борьбой: сообщник Пугачева Белобородов опять требует допроса Гринева. Спор Белобородова и Хлопуши еще сильнее заостряет ситуацию(19). И Пугачев, и Гринев чувствуют опасность. Нужно как-то вернуться на тот особый уровень общения, который дорог — и жизненно необходим — обоим. Хотя бы напоминанием о нем. "Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: "Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге". — Уловка моя удалась. Пугачев развеселился"(20). Это не только благодарность — и как бы лесть — за доброту Пугачева. Это напоминание о другой возможной жизни. Это как бы воспоминание в хмурый и холодный день о весеннем солнышке и ручьях... И лед подозрительности (со стороны Пугачева) растоплен. Разговор опять принимает частный характер, поверх всех разделяющих барьеров. Пугачев узнает, что речь идет о невесте Гринева, и склоняется к тому, чтобы помочь жениху.

На другое утро Пугачев с Гриневым отправляются в Белогорскую крепость. Доброе дело едет делать Пугачев, изо дня в день творящий так много злых! И настроение у него соответствующее: "Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку"(21). По дороге между нашими героями происходит замечательнейший разговор, можно сказать, кульминационный в сфере выразимого словом. То, что остается за его границами, уже трудно объяснить. "Дальнейшее — молчанье..." С молчанья же и начинается этот диалог. "Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу, прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья"(22).

Что же происходит? Мы видим вдруг, что в отношениях Пугачева и Гринева смешиваются все устоявшиеся понятия. Офицер и дворянин сотрудничает с бунтовщиком и самозванцем. Враги, воюющие отнюдь не в шутку, а **на уничтожение**, вдруг становятся друзьями, и один надеется не просто "на пощаду, но даже и на помощь" другого. Все социальные институты, все непримиримые социальные противоречия, сама история вдруг как бы отменяются! Пожарище крестьянской войны, беспощадно заглатывающее каждый день сотни и сотни жизней, — "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", по слову самого Пушкина(23), — как будто и не касается совсем наших героев, которые, на самом деле, суть явные и сознательные участники этой национальной распри. Что происходит? Как назвать это? Может быть, наиболее адекватное имя этому — имя, апеллирующее к евангельскому образу, — **хождение по водам**. Как при хождении по водам, которое демонстрировал — и которому учил! — Христос, преодолеваются физические законы мира, так и здесь, в странной истории отношений офицера Гринева и самозванца Пугачева, рассказанной Пушкиным, отменяются законы социальные, законы разделения и вражды. И герои то несмело, то с ликующей детской радостью, как апостол Петр в Евангелии, учатся ходить по бурному морю истории... И действительно радостно переживание этой свободы от — нередко роковой — тяжести социальных детерминаций. Радостно Пугачеву помогать Гриневу. Радостно сказать ему: "Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья". Как важно человеку — в особенности преступившему моральные нормы, "сжегшему за собой мосты", — хотя бы в глазах кого-то не быть кровопийцей, ибо сплошь и рядом это значит — обрести себя вновь и в своих глазах, **прийти в себя**...(24)

В особенности важно это сочувствие, эта возможность диалога с "порядочным человеком" для Пугачева (как его рисует Пушкин). Он довольно трезво оценивает свою ситуацию, несмотря на весь кураж своего самозванства, на всю серьезность той драмы, которую он разыгрывает на сцене российской истории. "Ребята мои умничают. Они

воры, — говорит Пугачев. — Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою"(25). Собственно, положение Пугачева незавидное. Не верит он и в возможность помилования — слишком далеко зашел. Ему остается только идти вперед и вперед — по трупам, через новые преступления к реализации титанического плана ниспровержения существующей государственной власти. В роковой необходимости этого движения, в его принудительности, в почти неизбежном провале всей авантюры есть что-то глубоко унижающее и уже никак не совместимое со всеми теми благородными "позами", которые принимал Пугачев перед Гриневым. Чувствуя это, мучаясь и желая как бы оправдаться — перед Гриневым, перед самим собой и, может быть, еще перед чем-то, более высоким, — Пугачев пускает в ход свой "козырь", калмыцкую притчу. Эта притча есть как бы **символ веры** Пугачева, тот образ, та интуиция, которая не только выражает его позицию, но и сама служит источником, питающим и направляющим всю динамику "самовыражения" пугачевской авантюры. Эта притча у Пушкина явно подается как некий религиозный символ, и согласно диалектике последнего можно сказать, что сам Пугачев — в измерении своего самозванства — оказывается как бы лишь образом этой притчи. Приведем ее полностью.

"— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст! — Какова калмыцкая сказка? — Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину"(26).

Здесь у Пушкина, в этой жуткой притче, написанной в 30-х годах прошлого века, уже все готово. Еще до всяких "белокурых бестий", теоретически воспеваемых или практически культивируемых, до Нечаева, до "Народной воли", до "экспроприации экспроприаторов", до всяких "красных бригад" и "Аксьон директ" все уже готово — вся философия "героического" произвола, вся романтика одичалого своеволия, вся эстетика "героического пессимизма" сверхчеловека... Готова и оценка, выношенная, выстраданная пушкинским сердцем к 37-му году его жизни... Если при встрече в Белогорской крепости Гринев не мог спорить с Пугачевым по мировоззренческим проблемам — это было опасно, да и непонятно еще — к чему? — то теперь ситуация иная. Гринев видит, что Пугачеву очень важно не быть в его глазах просто лишь "кровопийцей". Пугачеву **жизненно** необходима эта "метафизическая роскошь" — общение с человеком перед лицом Истины, а не только лишь в тисках исторической необходимости. Поэтому Гринев и может ответить Пугачеву искренне. Пугачев, рассказав калмыцкую сказку, как бы формулирует свой жизненный идеал. И короткой фразой Гринев отвечает от имени своего мировоззренческого идеала: "Жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину". Это сильный удар по позиции Пугачева. Гринев как бы говорит: ты непростой человек, Пугачев, глубоко чувствуешь ты жизнь и догадываешься, что, может быть, последняя правда открывается не в военных победах и поражениях, а вот в таких искренних беседах, что ведем мы с тобой... Потому так и ценишь ты их... Но именно в том смысле, в каком мы общаемся с тобой, ты и неправ... Это сильный удар по Пугачеву. И как нередко бывает, особенно сильный, может быть, потому, что высказано было нечто, в чем боялся признаться себе сам...

"Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал"(27). Герои наши замолчали. Точнее, диалог продолжается, но через молчание. Самый глубокий возможный диалог на третьем уровне — диалог-молчание... "Оба мы замолчали, погрузились каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути..."(28). Диалог продолжается. С гениальным тактом и лаконичностью мастера показывает Пушкин, что на глубинных уровнях диалога и сама природа вовлекается в него. Как в средневековом мышлении природа никогда не остается безразличной к человеческим проблемам, а служит особым символическим текстом, посланием Бога к человеку, которое лишь надо уметь прочесть, так и здесь — ничто не безразлично в природе, во внешней действительности этому глубинному касанию одной души другой, этому предстоянию лица лицу перед Лицом... Все внешнее выражает внутреннее, все продолжается молчаливый диалог и ненавязчиво, целомудренно **исполняет** его... Почему же так уныла татарская песня? Да потому, наверное, что если и есть только в жизни лишь "героические" виражи своеволия, возносящие прах до небес и обращающие горы в пустыни, то как бы и нет тогда ничего и очень тогда грустно жить на свете, господа, а может быть, и совсем не стоит...

Далее следует глава, посвященная освобождению Марьи Ивановны. Выведенный из себя, Швабрин совершает очередное злодейство: он объявляет, что Марья Ивановна не племянница белогорского священника — как представляли ее Пугачеву, — а дочь повешенного капитана Миронова, коменданта Белогорской крепости. Пугачев недоволен, что Гринев не рассказал об этом заранее. Но Гриневу удается все-таки уговорить Пугачева. "Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но Бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души..."(29). Гринев просит, почти требует: Пугачев, будь человеком, доведи до конца доброе дело, которое ты начал. Уже и не важно то, кто ты есть на самом деле и какие опасные игры играешь ты с людьми и с историей...

Радостно и сладко Пугачеву отзываться на этот призыв друга-врага Гринева: значит, есть кто-то в мире, чья молитва о буйной его головушке вечной, несгорающей свечкой будет гореть перед Богом! Значит, уже не "кровопийца" только!.. "Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. "Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!" Дай вам Бог! — тоже молитва. За молитву чем платить: только молитвой.

И вот, наконец, отъезд из Белогорской крепости. Некоторое ощущение нереальности, — точнее, **неотмирности** происходящего, — не оставляет нашего героя. "Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце"(30). Есть чудо: вот аксиома жизни, открываемая Гриневым. И если есть чудо, то все возможно и ничего не нужно бояться. И если гордыня, всегда смотрящая сверху вниз, — высокомерно и над-меваясь — даже и в хорошем будет отыскивать плохое — чтобы, так сказать, a posteriori подтвердить свое превосходство! — то любовь, сочувствие даже и в плохом будут искать хорошее, чтобы поддержать, не дать упасть в бездну отчаяния. Ты лучше, чем ты есть, Пугачев, я знаю это, — как бы говорит Гринев. — Нужно только помочь этому хорошему взрасти в тебе и окрепнуть. И ты сам знаешь это хорошее в себе и очень дорожишь им. О, если бы нам объединить наши усилия, ведь **на самом деле** мы — заодно... Однако мир, суетливый, грохочущий и смущающий, как обычно, помешал сказать и сделать то, чем полно было сердце.

"Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка". Пугачев уехал **из этой жизни**, из этого оазиса, где люди глубоко сочувствуют и — с риском для себя — помогают друг другу, в **ту жизнь**, действительную, где в пожарище страстей и борьбе своеволий сгорает и погибает все, оставляя после себя только ровную, покрытую снегом бескрайнюю степь да стонущую, унылую песню... Там действительность, а что же здесь? Там, "для всех" — изверг и злодей, здесь — для одного — спаситель и помощник. Вся повесть Пушкина как бы одно большое доказательство, что жизнь не исчерпывается только действительностью фактического уровня (наш первый уровень). Она — глубже, неожиданнее, чудеснее. Там — лишь **действительность**, а здесь — сама **реальность**.

Далее в повести следуют драматические события окончания войны, ареста Гринева и его чудесного помилования. Но для нас сейчас самое важное — это краткое упоминание о последней встрече Гринева и Пугачева (четвертой по счету от встречи в степи, в буран), о последнем появлении той своеобразной "музыкальной темы", которая служит как бы лейтмотивом всей повести и вокруг которой организуется ее целое. Вот это место: "Из семейственных преданий известно, что он (П. А. Гринев. — **В. К.**) был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу"(31).

Читаешь и спрашиваешь себя — зачем нужно было Пушкину это упоминание, эта еще одна встреча? Разве недостаточно было Гриневу просто **услышать** о смерти Пугачева? Или, наоборот, мог же ведь Пушкин подробно (и драматично) рассказать о казни Пугачева? Функция этой встречи никак не оправдывается **сюжетом** повести, она может быть необходима только с точки зрения **идеологии** повести. Дело в том, что эта встреча **глазами** — и кивок Пугачева, как бы подтверждающий — "Я тебя узнал, ваше

благородие, вижу, что и ты меня узнаешь", — есть в чистом виде встреча на том третьем уровне, который служил "пространством" самых глубоких диалогов наших героев. Конечно же, эта встреча есть диалог-молчание (за исключением кивка Пугачева). Однако интенсивность этого диалога несравнимо выше, чем — аналогичные диалоги-молчания в предыдущих встречах: ведь одному из них через минуту отрубят голову, и оба знают это... Это обмен взглядами, в которые **вмещается вся жизнь**... Это чистое предстояние лицом к лицу. Причем под лицом мы понимаем здесь не часть головы, не материальный психофизиологический факт, а лицо как **лик**, как духовно-целостный образ человека, выражающий собою всю полноту его жизненного **исполнения** — данный человек, данная жизнь с точки зрения вечности. Уже и в этой жизни, в пространстве и времени, хотя и замутненный психологизмами, этот лик человека начинает проступать сквозь "муть и рябь" эмпирической действительности(32). Особенно в критической ситуации, в которой и находятся наши герои во время последней встречи: один при-сутствует при совершающейся своей казни, другой, глубоко сопереживая, при казни первого...

Гениальное художественное чутье Пушкина подсказывает ему и эту специальную форму: в одном предложении соединены живая — кивающая — голова и мертвая: "...узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу". Та голова, которая "узнала и кивнула", никак не равна другой, "мертвой и окровавленной", не просто потому, что первая — живая, а вторая — нет, а прежде всего потому, что **лицо не равно голове**; голову можно отрубить, лицо же бессмертно и пребывает в вечности(33). Всегда будет помнить Гринев последний взгляд Пугачева, и всегда будет предстоять перед ним **живое** лицо последнего, и нескончаем их диалог в вечности — о перипетиях их жизни, о свободе и истине, о мужестве и чести, о преступлении и наказании, о добре и зле... Последняя встреча Пугачева и Гринева представляет собой в очищенном от всего случайного и эмпирического виде как бы парадигму их диалогов, чистую **онтологию** их общения, и служит своеобразным символом всей повести.

Итак, еще раз: особое значение, которое имеют в повести диалоги Гринева и Пугачева, связано со специальным характером мировоззренческого "пространства", в котором эти диалоги развиваются. Оно (это пространство) странным образом отделено от обыденной жизни, от той сцены, на которой разыгрываются исторические события повести. Хотя все **содержание** диалогов прямо связано с этой общечеловеческой исторической действительностью, однако, парадоксальным образом, наши герои в своих диалогах как бы занимают определенную дистанцию по отношению к этой действительности, отказываются от своего непосредственного, сплошь и рядом страстного и корыстного отношения к ней и как бы sub specie aeternitatis ищут истинной и окончательной оценки происходящего. Эта "возгонка" эмпирического героя до уровня субъекта, имеющего возможность взглянуть на свою собственную жизнь и на жизнь вообще с точки зрения вечности, существенно обусловлена христианской идеологией (и антропологией): она предполагает веру в Истину, веру в Бога и открытость человека к этой Истине, сущностную онтологическую "вменяемость" человека. Внедрение этой высшей реальности в обыденную действительность имеет характер чуда: как будто раздается какой-то тихий звон и вдруг все смолкает — грохот, крики, ожесточенная борьба этого мира отступают куда-то вниз, ослабляется узда жестокой принудительности исторических детерминаций, отменяются законы социальной действительности и человек с удивлением и радостью открывает вдруг, что самые трагические и, казалось бы, неразрешимые противоречия этой жизни благополучно и счастливо разрешаются. Начинается то, что мы назвали выше "хождением по водам" исторической действительности. Этот особый характер существования в сфере свободы перед лицом Бога — в сфере **благодатной свободы**, скажем точнее, — прекрасно чувствовал и изображал в своих произведениях Ф. М. Достоевский, воспринявший и развивший многие основные темы пушкинского наследия. Так, в романе "Бесы" Шатов, желая серьезного разговора со Ставрогиным, требуя, чтобы последний оставил свой иронический, снисходительный тон, говорит: "Я уважения прошу к себе, требую! — кричал Шатов, — не к моей личности, — к черту ее, — а к другому, на это только время, для нескольких слов... **Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире.** Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим"(34) (подчеркнуто мной. — **В. К.**). Истинный глубинный диалог требует специальной духовной переориентации. Горизонтом, в котором должен развиваться этот диалог, должна быть "беспредельность", то есть вечность, в которой все начала и концы, которая испытывает и выносит приговор всем жизненным установкам и личностным позициям. Другими словами, диалог должен происходить перед лицом самой Истины. И человек, ведущий этот диалог, есть уже не обычный, "эмпирический субъект" со всеми случайными чертами его индивидуальной психологической и социальной "физи-

ономии", а человек в особом измерении своего существования. Человек здесь как бы поднимается над самим собой, преодолевает все случайное и поверхностное своей жизни и предстает перед нами своим **онтологическим лицом** (ликом), отражающим, согласно христианским представлениям, образ Божий. И именно в качестве последнего он a priori достоин уважения. В пушкинской "Капитанской дочке" впервые для XIX века художественно воплощается то "диалогическое пространство", внутри которого на протяжении двух столетий будут вести свои беседы о смысле жизни святые и преступные русские мальчики от Гринева и Пугачева до пастернаковских Живаго и Антипова.

Важно подчеркнуть парадоксальный характер того мировоззренческого горизонта, той духовной атмосферы, в которой происходят эти диалоги. Правда этого особого мира оказывается непонятной миру обыденному, более того — оказывается сплошь и рядом неправдой и преступлением (в полном соответствии с евангельским "Царство Мое не от мира сего"). Мир не признает и активно борется с той божественной правдой, которую обретают наши герои в глубинах собственного самосознания, в глубине собственной свободы.

В не включенной Пушкиным в окончательную редакцию повести "Пропущенной главе" Гринев (именуемый Буланиным), воюющий под началом Зурина (носящего здесь имя Гринева), спешит освободить своих родителей и невесту от притеснений со стороны бунтовщиков и ночью переходит на территорию, контролируемую Пугачевым. Интересна одна деталь из этой главы. "На всякий случай, — пишет Пушкин, — я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева (то есть Зурина, в окончательной редакции. — **В. К.**)"(35). Как же можно объяснить миру логику этого поведения, если это обнаружится? Конечно, если бы Гринев был действительно шпионом, разведчиком, тогда, понятно, иметь два удостоверяющих документа от двух противоположных воюющих сторон было бы законно. Мир оправдывает любую ложь и коварство во имя преследуемой цели. Однако как объяснить это в случае Гринева, не являющегося государственным шпионом или, если угодно, являющегося по своей инициативе и шпионом, и разведчиком, но иного, странного "царства", где господствует истина, сочувствие, любовь?.. Реакция мира известна и предопределена: подобный "космополитизм" есть измена и преступление или "по крайней мере гнусное и преступное малодушие". Реакция и приговор почти неизбежны, как неизбежно и смущение душ человеческих, рано или поздно узнающих всю полноту истины, еще и еще раз напоминающую, что суд людской еще не есть **окончательная правда**. Эта последняя правда, живущая в глубине сердец человеческих, странным образом присутствует уже и в обыденной действительности, направляет, утешает, поддерживает и в конце концов берет верх над любой ограниченной и самоуверенной человеческой правдой...."И свет во тьме светит, и тьма не объяла его"(36).

Итак, еще и еще раз, о чем же повесть? Как выразить главное содержание "Капитанской дочки"? "Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам", — пишет Пушкин в главе о защите Оренбурга. Нельзя, конечно, сказать, что жанр повести — семейственные записки, но намерение автора понятно. Это особое подчеркивание **частного** характера записок главного героя необходимо Пушкину, чтобы отметить тот ракурс видения, то **духовное пространство**, в котором происходят все центральные события повести. Повесть не есть исторический роман. Истории пугачевского бунта Пушкин посвятил свою "Историю Пугачева". Но в истории (писаной) человек выступает обычно отчужденно, лишь в качестве носителя определенных социальных, психологических функций. Однако есть у каждого человека и другая история: история живого человеческого сердца, история его веры, надежд, любви и ненависти. "Капитанская дочка" есть повесть о **личности в истории**, а не исторический роман и романтическая история (отдельно или суммарно). Уже само название повести настраивает нас в лирическом ключе: повесть будет о любви. Но Пушкин решает более сложную задачу: любовь и фундаментальные личностные отношения должны быть показаны на фоне значительных — и известных — исторических событий. Это соединение лирического и эпического жанров выступает как своеобразное **высветление** смысла истории: исторические события оказываются предопределенными во внутреннем, духовном мире людей, в котором последние противостоят друг другу, как выразители целостных мировоззренческих позиций. Повесть как бы показывает, откуда и как течет время, движется история... С этой точки зрения, собственно, и не очень важно, войну или мир описывает автор — фундаментальные личностные проблемы остаются инвариантными: любовь, милосердие, ненависть, гордыня, самолюбие, честь, предательство... Авантюрная обстановка театра военных действий разве что лишь катализирует, быстрее и рельефнее выявляет те внутренние идейные предпосылки, которыми руководствуются в своей жизни герои (не очень ясно обычно и сами представляющие, к чему их ведет та или иная мировоззренческая установка). Особое впечатление создает в повести этот контраст между грохочущим,

безжалостным миром гражданской войны и сосредоточенной и сочувственной тишиной диалогов главных героев, в которых, кажется, одна душа полностью проникает в другую и солгать другому становится так же трудно, как солгать самому себе(37).

Одной из основных тем повести является тема чести. Повести предшествует эпиграф — "Береги честь смолоду". Однако как понять эту максиму, когда повесть и рассказывает о том, как царский офицер Гринев во время войны с врагом престола и государства Пугачевым вступает с последним в подозрительные товарищеские отношения, "дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег"? Разве не погрешает здесь Гринев против присяги, против офицерской чести? Разве не правы его обвинители? Конечно, с точки зрения формальной поведение Гринева недопустимо. Он нарушает правила чести, он нарушает присягу. Однако весь пафос пушкинской повести в том и состоит, чтобы доказать нам невиновность Гринева. Невиновность и по законам чести! Мы ясно чувствуем это стремление Пушкина оправдать своего героя: подсуден, однако... Нигде в повести Гринев не отступает от чести по малодушию, по страху. Вот в Белогорской крепости пленного Гринева, узнанного и пощаженного Пугачевым, подтаскивают к атаману для лобызания руки "государя". "Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. "Целуй руку, целуй руку!" — говорили около меня. **Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению.** "Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку". Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: "Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!" Меня подняли и оставили на свободе (подчеркнуто мной. — **В. К.**)"(38). Что тебе стоит? — спрашивает Савельич. Стоит чести, и ею Гринев не торгует, даже в обмен на жизнь.

Вот в Бердской слободе Гринев опять стоит перед Пугачевым и его сообщниками. Пугачев спрашивает: "Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава Богу, — отвечал я; — все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; **но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.**

— Ты видишь, — подхватил старичок (Белобородов. — **В. К.**), — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтобы никому не было завидно (подчеркнуто мной. — **В. К.**)"(39). Поведение Гринева ответственно и мужественно. Даже в малом не хочет он погрешить против чести: подтвердить информацию, которая и так достаточно известна Пугачеву. Однако то, что оказывается не под силу страху смерти и угрозам, поддается внушениям тихого голоса, идущего из глубины сердца...

Важно отметить, что в повести Гринев нигде сознательно не поступается своей офицерской честью. **Его** щадят, **ему** дарит подарки и помогает освободить невесту Пугачев. Сам же Гринев не помогает самозванцу ничем, кроме помощи **нравственной**: в проникновенном и доброжелательном диалоге помочь услышать голос собственной совести. Щепетильность Пушкина в этом вопросе принципиальна. Да, жизнь глубже, чем та сфера, в которой действуют законы чести. Однако эта ее глубина отнюдь не отменяет этих законов в области их юрисдикции. Гринев остается лояльным законам чести, но они, так сказать, из причин движущих превращаются в причины формальные: поведение Гринева становится парадоксальным, но тем не менее остается лояльным. Совесть не насилует честь, хотя совестное поведение и не всегда объяснимо с точки зрения чести. Собственно, обвинители Гринева и не могут предъявить ему прямых обвинений (глава "Суд"); за исключением сознательной клеветы Швабрина, двигатель следствия — **непонятность** поведения Гринева. Таковы всегда общие характеристики присутствия свободы высших уровней на низших. Более того. Благодаря особым отношениям с Пугачевым Гринев заставляет самозванца относиться с определенным уважением и к своим представлениям о чести и присяге. "...Бог видит, — говорит Гринев Пугачеву в Белогорской крепости при освобождении Марьи Ивановны, — что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты сделал для меня. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести"(40). И Пугачев, в общем, откликается на этот призыв. Идет **просвещение** Пугачева: через воздействие на высшее в нем — совесть — меняется его поведение и на низших уровнях (на нашем первом уровне существования).

Швабрин, антагонист Гринева в повести, проигрывает последнему прежде всего в вопросе чести. Он ведет себя бесчестно по отношению к девушке, отвергнувшей его. Он изменяет присяге, присоединившись к бунтовщикам. Он клевещет на Гринева перед

судом. Однако все эти бесчестные, предательские поступки, как ни дурны они сами по себе, не выражают еще всей глубины нравственного падения Швабрина. Он бы мог в них раскаяться, и, вообще говоря, по-человечески понятны мотивы, двигающие им: и оскорбленное самолюбие, и ревность, и трусость... Но вина — и беда! — Швабрина глубже: он отвергает саму возможность раскаяться. Пушкин вполне однозначно высказывает это устами Василисы Егоровны Мироновой, укоряющей Гринева за дуэль со Швабриным: "Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч (Швабрин. — **В. К.**): он за душегубство из гвардии выписан, **он и в Господа Бога не верует**; а ты-то что? туда же лезешь?"(41) (подчеркнуто мной. — **В. К.**) Швабрин обречен именно через свое неверие: нет никаких высших соображений, которые могли бы оправдать его поведение, нет для него и алтаря, на который мог бы он принести жертву своего покаяния. Для Швабрина не существует того третьего уровня существования, общения в благодатной свободе, перед лицом Истины, который и составляет саму "соль" отношений Пугачева и Гринева и который есть возможность чудесного разрешения тупиковых противоречий обыденного уровня жизни. Поэтому не просто бесчестен и погибелен путь Швабрина, но и весь образ его у Пушкина носит отпечаток своеобразной инфернальности, самоубийственного отказа от путей истины и добра.

Тема чести была для Пушкина принципиальной. Она была тесно связана и с другим, более глубоким вопросом — как жить в истории? за что держаться? чем руководствоваться? В особенности в смутные, переходные периоды истории, когда ставятся под сомнение сложившиеся традиции и институты... Таким испытанием было для молодого Пушкина декабристское восстание. И, хотя возвращенный в 1826 году Николаем I из ссылки, Пушкин мужественно ответил на прямой вопрос императора: "Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге? — Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога!"(42) — однако и этот ответ, сам по себе замечательный своей двойственностью, и возможное участие Пушкина в выступлении декабристов, если бы он действительно был в Петербурге, были лишь решением вопроса de facto. Но всю оставшуюся жизнь Пушкин должен был решать этот вопрос de jure... И в "Капитанской дочке", законченной, напомним, за несколько месяцев до смерти, на этот вопрос был дан ответ, плод размышлений целой жизни. "Молодой человек! — как будто с завещанием обращается к нам Пушкин, — если записки мои попадут в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений"(43). Ну и, конечно, это знаменитое место о русском бунте (полнее и убедительнее оно сформулировано у Пушкина в "Пропущенной главе"): "Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка"(44). Яснее не скажешь... Однако несомненно и вышеприведенное: "все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем"(45). В повести, как мы отмечали, нигде честь не противоречит совести, в жизни же все могло быть — и было — гораздо трагичней...

За что держаться? Что не подведет? Чести как таковой недостаточно: жизнь со всеми глубокими ее противоречиями оказывается сложнее. Честь сама слишком хрупка, сама требует защиты. Если не оступишься, не смалодушничаешь сам, так на этот случай всегда готова клевета... И именно об этом также "Капитанская дочка". И не случайно глава "Суд" имеет эпиграф "Мирская молитва — морская волна". Рассчитывать сохранить во всех случаях хорошее реноме в глазах людей — в этой жизни не приходится: слишком слаб человек нравственно, и судимый, и судящий... За что же держаться? Ответ "Капитанской дочки" понятен: держаться надо за свою совесть, **за честь в глазах Бога**, за Бога(46). Это поможет сохранить честь и в глазах людей. Все социально значимые ориентиры, условности, приоритеты, институты имеют свои границы, жизнь не вмещается в них во всей своей полноте. Наши, ваши, офицеры, бунтовщики, красные, белые — все эти деления только до определенной степени помогают найти правильное решение, подсказывают правильный выбор. Но очень часто их оказывается недостаточно. Нужно иметь более глубокое, более онтологическое основание своим поступкам. Держаться нужно за Бога... Но как конкретно, как непосредственно в жизни следовать этому совету? На этот вопрос, по нашему мнению, Пушкин в "Капитанской дочке" дает вполне определенный ответ: держаться нужно за **милосердие**. Глубоко христианский, глубоко русский ответ.

Вся последняя повесть Пушкина настолько проникнута духом милосердия, что ее можно было бы назвать **повестью о милосердии**. Центральная сюжетная линия повести — история взаимоотношений Гринева и Пугачева есть прежде всего история милосердия. Во всех четырех встречах милосердие является как бы нервом отношений

наших героев. С милосердия начинается эта история, им и кончается. Мы можем сейчас вспомнить о первой встрече Гринева с будущим самозванцем, которую выше, при анализе других встреч, опустили. Пугачев вывел заблудившегося во время бурана Гринева к постоялому двору. Вот замерзший Гринев входит в избу.

"— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.'

"Здесь, ваше благородие", — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающих глаза. "Что, брат, прозяб?" — "Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? Заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик"(47). Уже в этом обращении — **брат** — от дворянина к босяку, голяку — нарушаются социальные условности, классовая "субординация". Люди, пережившие только что довольно неприятное, опасное приключение, чувствуют особую общность, вдруг объединившую их, — все смертны, жизнь каждого хрупка, без различия званий и возраста, — все под Богом ходим... Однако нужно слово, нужно **имя**, чтобы этот особый дух общности воплотился, из голого субъективного чувства превратился бы в объективный факт совместного бытия. И Гринев находит это слово — в стихии обыденного русского языка знак пробы высших христианских добродетелей — брат, братство... И слово услышано. На приглашение к братству и ответ соответствующий: раскрылся сразу Пугачев, пожаловался — "что греха таить? заложил вечор у целовальника", — почти исповедался! — есть грех, мол, по страсти к выпивке и последнее с себя снимешь, а потом сам страдаешь... Гринев предлагает Пугачеву чай, а после, по просьбе последнего, и стакан вина. Но ниточка сочувствия, жалости, благодарности не обрывается на этом. Наутро Гринев еще раз благодарит Пугачева и хочет подарить ему полтину денег на водку. Прижимистый Савельич, верный страж барского добра, ропщет. Тогда Гринев приказывает отдать Пугачеву свой заячий тулуп. Савельич изумлен. И дело не только в том, что тулуп дорог. Подарок бессмыслен — с черствой прямотой человека, "знающего цену вещам" и "называющего вещи своими именами", Савельич открыто заявляет: "Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, **собака**, в первом кабаке (подчеркнуто мной. — **В. К.**)"(48). Да и не полезет этот юношеский тулуп на пугачевские "окаянные плечища"! И Савельич прав: тулуп трещит по швам, когда Пугачев надевает его... Однако, пишет Пушкин, "Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком". Тут не в тулупе дело... Тут впервые промелькнуло между офицером Гриневым и беглым казаком Пугачевым нечто иное... И помог этому, по контрасту, именно Савельич. Два отношения к человеку: для одного "собака", "пьяница оголтелый", для другого — "брат"... И первое очень оскорбительно, в особенности потому, что и сам знаешь за собой грех ("что греха таить? заложил вечор у целовальника"...). И правда в словах Савельича и нет... И не оспаривает Пугачев правды слов Савельича — мол, пропьет "в первом кабаке" подаренный новый тулуп так же, как и старый: знает, сам про себя, что слаб, страстен и подчас не отвечает за себя... Однако: "Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля..."(49) Две правды: одна по-хамски(50) тычет пальцем в греховную наготу другого, другая, все видя, как бы говорит: но ведь и он человек... И как важно, чтобы кто-то настоял на второй правде, когда так мало сил оспорить первую... В благодарности Гринева не просто благодарность. Тут больше. Тут жалость, милосердие и... уважение. Уважение к человеку, к его достоинству. И человеку холодно. А человеку не должно быть холодно. Потому, что он образ Божий. И если мы безразлично проходим мимо человека, которому холодно, то это, вообще говоря, кощунственно... Все это и почувствовал Пугачев. Потому так и радуется он подарку. Потому и такое теплое напутствие Гриневу: "Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей"(51).

И завязались между нашими героями таинственные отношения, где высший и низший — едины, где нет ни господина, ни раба, ни эллина, ни иудея, ни мужчины, ни женщины, где враги — братья... Чем можно ответить на милость, на милосердие? Чем его измерить? — Только милосердием же. Причем оно, странным образом, оказывается как бы неизмеримым. Если нечто сделано не из корысти, не из расчета, не "баш на баш", а **ради Бога**, то ответное милосердие и один, и второй, и больше раз все как бы не может покрыть, оплатить первого... Странные свойства у милосердия: не от мира оно сего и приносит с собой все время законы мира горнего...(52)

И через все остальные встречи Гринева и Пугачева основной темой идет именно тема милосердия. При занятии Белогорской крепости Пугачев, узнав Гринева, тут же помиловал его, спас от смертной казни. Вечером в беседе наедине Пугачев говорит: "...я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов"(53). Но сколь несоразмерны услуга и воздаяние: стакан вина, заячий тулуп и... жизнь, подаренная офицеру противного войска, с которым ведется беспощадная война! Что за правила мены? Каким странным

законом управляется поведение Пугачева? — Законом неотмирным, законом горним, законом милосердия, который **юродство** для мира сего, но которого нет выше и благороднее в этом мире. Разглядел однажды Гринев **человека** в Пугачеве, обратился к этому **внутреннему человеку**, и не может уже забыть этого Пугачев. Он просто вынужден помиловать Гринева, так как забыть, перечеркнуть то касание душ, которое было в первой встрече, значило бы самоубийственно уничтожить в **самом себе** нечто самое дорогое, самое святое... Потому что там, в этом молчаливом диалоге внутреннего человека с другим, личности с личностью, все мы — едины, хотя и мыслим многое по-разному. Там — свет и любовь и — безмерная — переливается частично она и в этот сумеречный и жестокий мир жалостью и милосердием... Поэтому и в конце этого напряженного и драматичного диалога, в котором Пугачев приглашает Гринева присоединиться к восставшим, а Гринев, следуя совести своей и чести, отказывается — рискуя отчаянно! — в конце этого диалога — примиряющий финал. Все тягостные условия, все преграды, вся **метафизическая теснота** исторического существования преодолевается теми, кто прикоснулся истины общения в любящей, милосердной свободе.

Милосердие, однажды дарованное, питает надежду и потом в самых сложных обстоятельствах и, однажды содеянное, все время зовет к себе, как к себе самому — к своей лучшей, истинной ипостаси. Где жизнь — там милосердие. И наоборот: милосердие — жизнетворно. Пугачев не верит в помилование для себя и в этом неверии уже начало смерти, пророчество о ней... Гринев — наоборот — сама вера, сама надежда в добрые начала, которые живы в душе Пугачева. "Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души..."(54). Кто же может устоять перед такой мольбой? Разве только уж очень одичавшее во зле сердце... Пушкинскому же Пугачеву, преступному и верующему, радостно возвращаться к себе милующему, к себе истинному. "Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. "Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!"(55)

И если возможны такие чудеса, то, кажется, — все возможно! Еще одно малое усилие верующего в милосердие — человека и Бога — сердца, и весь ужас, вся кровь и боль гражданской войны отступят, погаснут, как болезненный, горячечный сон... И этот враг, предводитель врагов, враг-друг перестанет быть врагом и навсегда уже будет только другом, может быть, самым дорогим, — ведь он доказал свою верность в таких сложных обстоятельствах... Процитируем еще раз это замечательное место: "Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время"(56). Но одного желания Гринева мало. Нужно, чтобы очень захотел и поверил в возможность милосердия и сам Пугачев...

Но если невозможно спасти от насильственной смерти, то пусть хоть будет она легкой и быстрой. Неотступно преследует Гринева мысль о его странном друге-враге, и, в особенности, после поимки последнего, с окончанием войны. "Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровью стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: "Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать". Что прикажете делать: мысль о нем неразлучно была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина"(57). И обратно: мысль о милосердии и сочувствии, которое проявил Пугачев, неотступно возвращает Гринева к мысли о нем, но не как самозванце, не как атамане бунтовщиков, а как о том **внутреннем человеке**, открытом влиянию добрых сил, не желающему, — как это ни странно, — и в глазах людей быть кровопийцей... Что прикажете делать? — повторим мы вслед за Пушкиным, — если так уж мы соделаны, что никакие наши грехи и преступления не способны до конца извратить и стереть образ Божий в душе человеческой, и пока жив человек, остается в любящем и верующем сердце надежда на спасение...

Пушкин в своей повести касается одной из заветнейших струн русской души, одной из определяющих тем русской культуры. Вся повесть написана с постоянным ощущением возможности покаяния для Пугачева, как бы в перспективе превращения его в Благоразумного разбойника Евангелия. В Евангелии по обе стороны Иисуса Христа были распяты два разбойника. Распятый по левую руку хулил Господа и повторял фарисейское: "Если ты Христос, спаси Себя и нас". Другой же, распятый по правую

руку, укорял своего товарища, говоря: "... Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: Помяни меня, Господи! когда приидешь в Царствие Твое". И Иисус Христос отвечает ему: "Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю" (Лука, XXIV, 39—43). Христианское предание твердо держится представления, что первым с Господом вошел в рай Благоразумный разбойник (по имени Рах). Тема Благоразумного разбойника в высшей степени значима для русской культуры. Мы можем обнаружить ее в различных сферах отечественной культуры. Так, в XVI—XVIII веках русская иконопись центральных областей России (Тамбовская, Ярославская губернии и т. д.) уделяет очень много внимания образу Благоразумного разбойника. В старообрядческой иконописи эта тема играет большую роль еще и весь XIX век. Сюжеты полных икон "Воскресение и сошедствие во ад" стремятся выявить и выразить смысл истории чудесного спасения Благоразумного разбойника. Фигура Благоразумного разбойника, обнаженного по пояс, в белых портах, несущего большой, тяжелый крест, появляется на северных дверях алтарей, то есть на месте, где традиционно до и после этого периода изображается первосвященник Аарон, первомученик архидьякон Стефан, Архангелы. Иконописная традиция опирается на апокрифические писания вроде, например, "Слова Евсевия о вшествии Иоанна Предтечи во ад"(58).

Для нашей темы не столь важно, что народное православие апокрифов стремится рационализировать, профанировать тайну обращения Благоразумного разбойника: то его в детстве кормила грудью Сама Божия Матерь (по пути в Египет), то крест, на котором распинается разбойник, оказывается сделанным из райского дерева, и т. д. Важно, что народное внимание сосредотачивается на этом, казалось бы, частном евангельском сюжете, узнавая в нем что-то общезначимое для русской жизни: все мы, где-то, разбойники...

Русская литература XIX века с особой чуткостью относится к теме Благоразумного разбойника. Причем тема эта реализуется как актуально — "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского, прежде всего, — так и потенциально, как в "Капитанской дочке" А. С. Пушкина. Вообще, Достоевский, как хорошо известно, всю жизнь мечтал написать большое произведение "Житие великого грешника". В архивах писателя остались наброски плана этого сочинения, а известные романы Достоевского оказываются лишь как бы попытками воплощения этого грандиозного замысла(59).

Главной темой этого сочинения должна была быть именно история покаяния и исправления человека, пережившего глубокое нравственное падение, отвергшего Бога. Настойчивые попытки Н. В. Гоголя воскресить "мертвые души" в продолжениях своей "Поэмы" — эта также попытки художественной реализации идеи Благоразумного разбойника. Н. А. Некрасов в поэме "Кому на Руси жить хорошо" (часть "Пир на весь мир") дал свое воплощение идеи покаявшегося разбойника Кудеяра:

"Днем с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесть Господь пробудил".

Несмотря на ядовитую народнически-революционную концовку некрасовского "Кудеяра", великолепные стихи, а главное, фундаментальная значимость этой темы для русской духовности сделали свое дело: стихи эти превратились в народную песню, в "Легенду о двенадцати разбойниках".

Почему же столь привлекателен сюжет Благоразумного разбойника для русской культуры, для русской души? Основой этого, по нашему мнению, является исторически сложившаяся глубочайшая — до грани еретичества(60) — жалостливость русского человека к человеку вообще. Образ Божий, отраженный в человеке, наделяет последнего возможностью бесконечного благородства. Перед лицом этой возможности все земные грани, иерархии, оценки становятся условными. Последняя Божественная правда может их всех разом отменить. Как бы низко ни упал человек в нравственном отношении, не может он измерить бездны милосердия Божия. "...Да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанной благости и милосердия", — учит нас молиться Иоанн Дамаскин в молитвах на сон грядущий. Ибо так высок Бог христианства. И к этой высоте влечет он верующих в Него. Вырастающее отсюда отношение к человеку в высшей степени **антифарисейское**. Все природные и социальные иерархии становятся условными, пластичными и как бы прозрачными. Иногда почти до нигилизма... Везде проступает самое важное — **лицо**. И несмотря на все исторические издержки русского варианта этого христианского персонализма, именно здесь находит русская культура истинное мерило человека. Рядом с высотой божественного призвания все мы — разбойники и дикие звери по отношению к ближнему(61)... И все достойны жалости, и от всех нас Господь ждет покаяния... Тема Благоразумного разбойника, звучащая то громче, то тише, сопровождает все диалоги Пугачева и Гринева. Гринев **самим фактом**

своего общения с Пугачевым как бы постоянно приглашает последнего покаяться. Эта назойливо открытая возможность мучительна для Пугачева, как кровоточащая рана... Но, парадоксальным образом, приносит она с собой одновременно и облегчающее умиротворение.

Итак, еще и еще раз: в чем же состоит смысл повести? Мы можем теперь сформулировать его следующим образом: взаимоотношение человека с человеком во всей полноте исторических и нравственных детерминаций перед лицом Истины, перед лицом Бога. Особая драматичность и острота этих отношений обусловлена тем, что субъектами их являются две противоположные личности: один, нравственные законы "преступить сумевший", другой — твердо держащийся чести и совести. И основным, решающим модусом этих взаимоотношений — нравственной идеей, направляющей все повествование, — является милосердие (caritas, agápe) — та кардинальная, христианская добродетель, центральное положение которой в русской культуре было Пушкиным глубоко осознано и гениально изображено. По степени авторской сознательности в изображении темы милосердия повесть "Капитанская дочка" является одним из самых христианских произведений в мировой литературе. Именно от "Капитанской дочки", как было уже отмечено, идет в русской литературе традиция проникновенных диалогов "святых и преступников", стоящих "в беспредельности" — перед лицом Бога.

Старательно подбирает Пушкин иллюстрации основной темы повести. Этому служит и история изувеченного башкирца. Он был пойман в Белогорской крепости, как лазутчик, подосланный Пугачевым для распространения подбивающих казаков к бунту листовок. Комендант крепости Иван Кузьмич Миронов начинает его допрашивать, но башкирец ничего не отвечает.

"— Якши, — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкира раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверек, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его за руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, — тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок"(62). Эта сцена нужна Пушкину не только для осуждения жестокого старого обычая пытать при допросе. Замысел его глубже. Вот Белогорская крепость взята повстанцами Пугачева. Среди них и убежавший ранее башкирец. Пугачев приказывает повесить коменданта крепости Миронова. Скупыми, лаконичными фразами отмечает Пушкин всю драму "встреч и узнаваний" этих двух людей — изувеченного при подавлении прошлого восстания безымянного башкирца и капитана Миронова: "Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали еще накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузьмича, вздернутого на воздух"(63). Мир, **лежащий во зле**, идет своими путями, путями мести и немилосердия. "Око за око, зуб за зуб" — вот древний его закон.

Для выявления все той же темы милосердия служит и история урядника Максимыча. Фигура, хотя и скупо обрисованная, но сложная и неоднозначная(64). Максимычу еще до приступа Белогорской крепости не слишком доверяет комендант Миронов. Максимыч тайно встречается с Пугачевым. После разоблачения его в Белогорской крепости сажают под арест, но он бежит. Вместе с Пугачевым входит в крепость. Именно Максимыч указывает Пугачеву, кто комендант крепости. И вот, когда Гринев и Савельич, отпущенные Пугачевым, бредут по дороге, уводящей их от крепости, происходит первая личная встреча, **личное касание** Гринева и Максимыча.

"Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: "Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, — промолвил, запинаясь, урядник, — жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно". Савельич посмотрел на него косо и проворчал: "Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!" — "Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина". — "Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку". — "Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь, — вечно за вас буду Бога молить". При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту он скрылся из виду"(65). И именно этот Максимыч во время схватки под Оренбургом (Гринев — на стороне защитников города, Максимыч — на

противоположной стороне, среди нападающих казаков Пугачева), передает Гриневу письмо из Белогорской крепости от Марьи Ивановны. Встреча их отмечена у Пушкина какой-то удивительной теплотой. Вот она буквально, встреча во время боя двух солдат враждебных армий: "Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас Бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

— Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною, — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. — Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал"(66).

Конечно, за Максимычем мы чувствуем Палашу, — "девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке"(67), служанку Марьи Ивановны. Но тем не менее присутствует в отношениях урядника и Гринева уже и некое личное начало — может быть, в особой доброжелательности тона, — никак не сводимое только к внешним обстоятельствам. Откуда оно? Из того же источника, из которого произошли и отношения Гринева с Пугачевым. Простил Гринев Максимычу украденную полтину денег, безо всякого расчета простил, по чистому милосердию, и, странным образом, именно эта уступка, потеря на внешнем, материальном уровне существования оказывается приобретением на уровне духовном. Именно это задело Максимыча за душу, и произошло со-бытие: одна личность, вдруг вырвавшись из трагической и кровавой суеты обыденности, предстала лицом к лицу другой. Смотря в глаза, все понимая простил... Значит, как бы сказал: да, ты конечно, не прав, но всяк человек слаб, а знаю, тем не менее, — верю, — что способен ты и на хорошее... И вот эта вера в человека, в милосердии заключенная, и задела, наверное, сердце Максимыча... И вспоминаются евангельские слова: "Пойдите научитесь, что значит: "милости хочу, а не жертвы"? ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию"(68). И начинаются чудеса. Бывший урядник Максимыч, предатель, вор, по всему видно, человек "тертый", коварный и хитрый, начинает вдруг носить любовные записки через линию фронта к офицеру враждебной армии... И из той же запазухи, в которую ушла украденная полтина, чудесным образом появляется столь долгожданное, столь дорогое письмо любимой...(69)

Все в повести полно милосердием. Сама любовь Петра Андреевича Гринева и Марьи Ивановны Мироновой также, в основном, любовь-милосердие. Не любовь-страсть, не отношения рыцаря и дамы, не любовь-восхищение — снизу вверх, а сверху вниз, христианская любовь-милосердие, жаление — русская любовь по преимуществу... Любит и слезно жалеет Марью Ивановну, сироту, у которой не осталось никого близкого в целом мире , Гринев. Любит и спасает своего рыцаря от ужасной участи бесчестия Марья Ивановна. Она нарисована в повести, на наш взгляд, достаточно условно. Но подчеркнуты основные христианские добродетели: верность, благодарность, жертвенность, послушание, способность крепко любить.

Довольно устойчива в "Капитанской дочке" тема милосердия к врагу (к Швабрину). После дуэли Гринев, умиротворенный взаимностью Марьи Ивановны, прощает Швабрину все его оскорбления, и они примиряются. "Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника"(70). В Белогорской крепости, вырвав с помощью Пугачева Марью Ивановну из рук Швабрина, Гринев имеет достаточно оснований, чтобы ненавидеть изменника и насильника. Однако вот как кончается глава "Сирота". Напутствуемые доброй попадьей, Гринев со своей любимой отбывают из крепости. "Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону".

Торжествовать над уничтоженным врагом, согласно христианской морали, которой руководствуется Гринев, стыдно. Так как, пока жив человек, Бог надеется на него, на его исправление. Следует тем более надеяться и человеку. А устраивать "пир победителей" над поверженным противником есть все то же хамство, самоуверенное,

дебелое... Потому и отворачивается Гринев. И в этом, опять, милосердие целомудрия души(71).

Наконец на суде Швабрин оказывается главным — и, собственно, единственным — обвинителем Гринева. Швабрин возводит на Гринева сознательную и чудовищную клевету, грозящую последнему самым худшим. Интересна реакция Гринева. "Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги"(72). Где-то слова уже бессильны... И не только слова, но и любые жесты, грозящие ли, осуждающие ли. Так глубоко может отравить зло человеческую душу... И так важно здесь противопоставить **болезни зла** спокойный, трезвый взгляд, воспаленной страстности злодейства — бесстрастие целомудрия. Последнее уже самим благородством своей сдержанности укоряет и осуждает сильнее всяких слов... И может быть, — Бог знает! — этот спокойный человеческий взгляд сможет послужить опорой мятущейся, одержимой, потерявшей себя преступной душе, поможет остановиться и не упасть в последнюю геенскую бездну отчаяния...

Реабилитация Гринева есть также следствие милосердия. Не закон, не формальное судоразбирательство спасают его от позора (и смертной казни), а именное повеление императрицы. По повести, конечно, Екатерина II решается на помилование только после того, как узнает от Марьи Ивановны все обстоятельства дела. По видимости правда, справедливость, законность побеждают. Однако концовкой своей повести Пушкин как бы стремится нас убедить, что общепринятое судопроизводство по самой своей природе неспособно решать вопрос о виновности в таких деликатных обстоятельствах. Именно поэтому, собственно, Гринев и отказывается на суде рассказывать о роли своей невесты в его истории!.. Нужен человек, нужна живая человеческая личность, нужны **правда и милость** зараз, чтобы решить такие тонкие вопросы (которые, на самом деле, на каждом шагу...). Одной справедливости — недостаточно, нужно — необходимо! — и милосердие... И здесь Пушкин высказывает, конечно, глубоко христианский, с одной стороны, и с другой — специфически русский — со всеми его плюсами и минусами — взгляд на правосудие.

Милость, обретенная Гриневым, как ни нечаянна она сама по себе, есть, тем не менее, милость ожидаемая, милость взыскуемая. Весь природно-нравственный универсум, в котором ощущает себя Гринев (и разделяющая эти взгляды его невеста), есть космос, управляемый милосердным Провидением, космос, в котором сбывается совет "Стучите, и вам отворят..."(73) Со знанием и тактом воспитанного в Православии человека дает Пушкин описание поведения Гринева в тюрьме. "Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет"(74).

В этой спокойной резиньяции, в этой надежде на лучшее — отражение существеннейших мировоззренческих представлений позднего Пушкина. Happy end "Капитанской дочки" — не слащавая подачка читателю "романтической повести", а логическое следствие целостной мировоззренческой позиции, утверждающей, что мир, история имеют свой смысл, что мир, "лежащий во зле", **стоит на добре.**

Помилование Гринева происходит в два этапа. Сначала, еще до поездки Марьи Ивановны в Петербург, Екатерина II "из уважения к заслугам и преклонным годам отца"(75) заменяет Гриневу смертную казнь вечным поселением в Сибири. Затем, после разговора с Марьей Ивановной, императрица, убежденная теперь в невиновности Гринева, избавляет последнего и от ссылки. Здесь опять всплывает тема чести. Важно то, что **честь** Гринева восстанавливается **через помилование**. В ценностной иерархии, на которую ориентирована "Капитанская дочка", честь — не автономия, не самодостаточная ценность. Она зависит от милосердия, как от человеческого, так и — в широком смысле — от Божьего. Этот момент мы уже отмечали выше. Но важно подчеркнуть и необходимость чести в этической иерархии "Капитанской дочки". Речь идет не просто о верности сословным предрассудкам, а об особой онтологии чести. Милосердие исходит от личности и направлено, собственно, только к ней (по отношению к животным, например, подобает жалость, а не милосердие). С точки зрения милосердия, любви все личности равны. Милосердие как бы растворяет все физические, социальные, психологические различия и детерминанты. Любить должно всех, и даже, как учит Евангелие, врагов. Однако здесь возможно уклонение. Христианская любовь не есть **безответственное всепрощение.** Любить не значит согласиться с неправдой любимого, простить не значит оправдать преступление. Пушкин глубоко чувствовал и гениаль-

но изобразил эту трезвость христианского милосердия. Если стихия милосердия растворяет все грани, делает всё проницаемым, все "своим", наполняет все солнечным светом Царства Божьего, "которое внутри нас", то честь трезво напоминает о естественных условиях существования, которых нам не отменить одним желанием, и, конкретно, об исторически сложившихся социальных структурах, в которых своя — относительная — правда. За темой милосердие — честь стоит тема Царство Божие — Царство земное, государство(76). Пушкин в повести дает именно ту трактовку этой темы, которая характерна для всей тысячелетней русской истории. Честь не просто подчинена у Пушкина милосердию (любви, совести), находя в последнем освящение и поддержку себе. Честь, в некотором смысле, и необходима для милосердия, как дающая последнему возможность, "пространство" для его проявления. Милосердие освящает честь, честь же дает милосердию конкретность, историчность. Всякое наличное неравенство и социальные нормативы суть как бы "материал" для милосердия. Милосердие, совесть не насилуют — как мы уже говорили — честь, а внутренне облагораживают, преображают и поддерживают ее. Но быть милосердным понимается в повести не пиетистски, не сектантски — в духе мечтательного и безответственного "все люди равны" или "все люди добрые" — а традиционно православно: милосердие должно быть "зрячим", должно трезво учитывать реалии мира, все трагические его противоречия. Путь милосердия — не путь благодушного и — в основе своей — нигилистически-безразличного всепрощения, а путь жертвенного самоотвержения, путь христианского подвига.

Пушкин "Капитанской дочки" представляется нам не просто мастером-художником, но и очень мудрым человеком с глубоким нравственным опытом. В повести Пушкин сумел поставить важнейшую проблему — проблему свободы, сыгравшую в дальнейшем решающую роль в творчестве Достоевского и, можно с уверенностью сказать, ставшую центральной проблемой философии человека в XX столетии. Но Пушкин дал и свой ответ на поставленный вопрос. Ответ этот обусловлен глубокой рецепцией традиционной православной духовности, истинным возвращением Пушкина к корням национальной культуры. При обсуждении темы "Пушкин и христианство" важны не только исторические свидетельства о посещениях поэтом монастырей России или о его штудиях "Четьи-Миней", но, может быть, более всего, само **содержание** его произведений, в особенности последних. Не на исторические события сами по себе, не на психологические характеристики героев — главное внимание автора "Капитанской дочки" направлено на открытие **внутреннего человека** в человеке, в глубине своей свободы перед лицом Бога и другого человека решающего последние "проклятые" вопросы(77). Проникновенные диалоги главных героев повести представляют собой историю поисков той соборной истины, которая служит одновременно и мерилом истинности, оценкой человеку и событиям, и путем спасения... И ключом к этому царству истины выступает у Пушкина тема милосердия.

Милосердие... Нередко требуется только лишь простить, без выгод и вынуждения... Милосердие выступает главенствующим представителем человеческой свободы. Для него не нужно причины; врываясь в мир, где все причинно обусловлено, этот акт свободы сам начинает новую причинную цепь, как учил нас философ Кант. Поэтому любой акт милосердия есть весть о другом — высшем — мире, есть **кусочек** высшего мира в нашей земной юдоли... И это присутствие иной, высшей реальности мы ясно чувствуем: смолкают грохот и суета страстной земной жизни, спускаются на нас мир, и тишина, и прохлада, и в этом "хладе тонком" чувствуем мы присутствие самого Бога и одновременно познаем свое предназначение к высшей жизни...

Заканчивая в 1824 году, в период глубоко духовного кризиса, "Цыган", Пушкин написал:

"И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет".

Как жить в этом мире ожесточеннейших страстей, гнездящихся в твоем же собственном сердце, как спастись от неизбежной, беспощадной судьбы, творимой этими страстями?.. Через 12 лет в "Капитанской дочке" во всех чудесных поворотах ее действия, в сосредоточенной и благостной тишине ее диалогов, в таинственной всепокоряющей силе такого хрупкого, такого неотмирного, чувства — милосердия — как будто найден ответ... Как будто звучит евангельское: познайте истину, и истина сделает вас свободными(78).

Примечания:

1. См., напр., комментарии С. М. Петрова: Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти томах. Москва, "Художественная литература", 1975. — т. 5, с. 560.

2. З а й ц е в а В. В. 25 Пушкинских конференций, 1949—1978. Ленинград, "Наука", 1980.

3. П у ш к и н А. С. Собрание сочинений в десяти томах. — Москва, "Художественная литература", 1975. — т. 5, с. 239—240. (В дальнейшем мы ссылаемся на это издание так: П. А. С. плюс указание тома).

4. Абстрактность подобного рассмотрения оправдана тем, что, хотя, конечно, подобный уровень существования и "не дан никогда в действительности", тем не менее, он выступает как определенный **регулятивный принцип** в поведении человека. Человек стилизует, упорядочивает действительность согласно нормам и идеалам этого воображаемого абстрактного мира, и особый **вкус и тонус** этого мира мы чувствуем через поведение, через слова героя.

5. Так понимаемая свобода близка к ее интерпретации в философии Ж.-П. Сартра (например).

6. П. А. С., т. 5, с. 292—294.

7. См. Ев. от Матфея, 5, 33—37.

8. Невольно вспоминаются в этом месте повести кантовские слова: "Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — **это звездное небо надо мной и моральный закон во мне**" (Кант И. Соч. в 6 т., — т. 4, ч. I, с. 499).

9. П. А. С., т. 5, с. 294.

10. Ев. от Иоанна, 1,5: "И свет во тьме светит и тьма не объяла его".

11. П. А. С., т. 5, с. 306.

12. П. А. С., т. 5, с. 308.

13. Цит. соч., с. 290.

14. Цит. соч., с. 309.

15. Там же.

16. Там же.

17. Там же.

18. Характерен в этом смысле конец "Пира во время чумы". Священник уходит. Пушкин кончает ремаркой: "Пир продолжается. Председатель остается, **погруженный в глубокую задумчивость**" (подчеркнуто мной. — **В. К.**). (П. А. С., т. 4, с. 329).

19. Этот спор, конечно же, отражение спора двух разбойников, распятых по левую руку от Христа на Голгофе. Один разбойник — благоразумный, точнее, близкий к этому, другой — ожесточенный, идущий до конца...

20. П. А. С., т. 5, с. 311.

21. Цит. соч., с. 312.

22. Цит. соч., с. 313.

23. Цит. соч., с. 324.

24. Эта тема станет у Ф. М. Достоевского одной из основных в его творчестве.

25. Цит. соч., с. 313.

26. Цит. соч., с. 314.

27. Там же.

28. Там же.

29. Цит. соч., с. 317.

30. Цит. соч., с. 319.

31. Цит. соч., с. 334.

32. Подобное истолкование близко к идеологии иконописи, которую великолепно интерпретировал в своих трудах П. А. Флоренский. — См., например: "Иконостас". — В кн.: свящ. Павел Флоренский. У водоразделов мысли. I: Статьи по искусству. — YMCA-PRESS, Paris, 1985, с. 193—316.

33. Рассматриваемая фраза построена так странно: подлежащие в соединенных предложениях различны и точка зрения повествования как бы перескакивает от одного лица к другому. "...Он присутствовал при казни Пугачева", — присутствует, **смотрит** Гринев. Но тут же в подчиненном предложении: "... который узнал его в толпе и кивнул ему головою", — то есть **смотрит** уже Пугачев. И, наконец, заключение: "... которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу". Читаешь, и невольно напрашивается вопрос: но кто же это смотрит на мертвую и окровавленную голову? Или точнее: чьими глазами смотрим мы, читатели, на эту голову? Ну, конечно, глазами рассказчика, который здесь как бы отделяется от Гринева (безличное "Известно..."). Конечно, и глазами самого Гринева, который ведь присутствует при казни. Но, вчитываясь в эту фразу, вдруг замечаешь, что взгляд Пугачева, который смотрит на толпу, на Гринева, на казнь, также — как бы по инерции — остается в последнем придаточном предложении: то есть на мертвую и окровавленную голову мы смотрим и глазами Пугачева тоже!.. Другими словами, лицо Пугачева, как бы переходящее в вечность, смотрит на свою мертвую и окровавленную голову, на отсечение этой головы от тела! Отсекают голову, лицо же пребывает нетронутым...

34. Д о с т о е в с к и й Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Изд-во "Наука". Ленинград, 1974, т. 10, с. 195.

35. Цит. соч., с. 337.

36. Ев. от Иоанна, 1,5.

37. Эта благодатная тишина духовной сосредоточенности посреди пожарища и одичания гражданской войны — существенная черта также и пастернаковского "Доктора Живаго", во многом зависящего от формальных и содержательных аспектов "Капитанской дочки".

38. П. А. С., т. 5, с. 287.

39. Цит. соч., с. 310.

40. П. А. С., т. 5, с. 317.

41. Цит. соч., с. 265.

42. А. С. Пушкин в передаче А. Г. Хомутовой. — См., например, В е р е с а е в В. В. Пушкин в жизни. Минск. Мастацкая литература, 1986, с. 24.

43. П. А. С., т. 5, с. 280.

44. Цит. соч., с. 344.

45. О чудесных обстоятельствах, помешавших Пушкину приехать из Михайловского в Петербург прямо накануне выступления декабристов, см., например, воспоминания В. И. Даля — в кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников (в двух томах). Москва. Художественная литература. 1985, т. 2, с. 263—264.

46. И поэту, прежде всего. Через все творчество Пушкина идет драматическая "тяжба" поэта и **профана** (во всем диапазоне его воплощений — от нагловатого глупца до подлой и коварной черни), к которому так или иначе обречен обращаться поэт. И вывод Пушкина, весь опыт его гения, все говорит об одном: не дóлжно унижать божественный глагол, пусть лучше не поймут — и осудят, — чем понизят до обывательского уровня и извратят. Об этом и "Поэт и толпа" (1828):

...Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Об этом и "Поэту" (1830):

Поэт! не дорожи любовию народной,
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
........Ты сам свой высший суд...

Об этом и в подводящем итог всему творческому пути стихотворении 1836 года "Я памятник себе воздвиг..."

...Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

47. П. А. С., т. 5, с. 251.

48. Цит. соч., с. 253.

49. Там же.

50. В смысле исходном: в смысле библейской притчи о Хаме и отце его Ное.

51. П. А. С., т. 5, с. 253.

52. Ср. Ев. от Иоанна, 3, 34: "... Ибо не мерою дает Бог Духа".

53. П. А. С., т. 5, с. 293.

54. Цит. соч., с. 317.

55. Там же.

56. Цит. соч., с. 319.

57. Цит. соч., с. 325.

58. Подробности см. в статьях: П у ц к о В. Г. "Благоразумный разбойник в апокрифической литературе и древнерусском искусстве" — В кн.: Труды отдела древнерусской литературы, XXII вып., Институт Русской Литературы (Пушкинский Дом) — с. 407—418; Т а л и н В. "Об иконе Благоразумного разбойника. (Из истории древнерусской иконописи)" — Журнал Московской Патриархии, 1959, № 7, с. 60—64.

59. Подробности см. в кн.: Д о с т о е в с к и й Ф. М. Полное Собрание сочинений в 30 томах. — Наука, Ленинград, 1974, т. 9.

60. Имеется в виду осужденное пятым вселенским собором учение об апокатастасисе, утверждающее, что в конце концов все грешники будут спасены.

61. **Долго боролся, противился**
Господу зверь-человек,
Голову снес полюбовнице
И есаула засек.

Таков Кудеяр у Некрасова...

62. Цит. соч., с. 279.

63. Цит. соч., с. 286.

64. Как и вся казацкая среда того времени — и защищавшая дальние рубежи государства, и служившая питательной почвой для бунтов, подобных пугачевскому.

65. П. А. С., т. 5, с. 298.

66. П. А. С., т. 5, с. 303.

67. Цит. соч., с. 318.

68. Ев. от Матфея, 9, 13.

69. Исследователями уже не раз отмечалось, что у таких больших художников, как Пушкин, почти не бывает **случайных** совпадений (не важно, есть ли это результат сознательного творчества или бессознательного художественного чутья). Как в жизни.

70. П. А. С., т. 5, с. 269.

71. Все эти пушкинские нравственные "диспозиции" и формулировки отнюдь не случайны. Например, в "Пропущенной главе" мы — в других обстоятельствах — встречаем тождественное по нравственному смыслу место. Швабрин ранен и взят в плен (в имении родителей Гринева). "Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастием и унижением недруга" (П. А. С., т. 5, с. 344).

72. П. А. С., т. 5, с. 329.

73. Ев. от Матфея, 7, 7: "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете, стучите, и отворят вам".

74. П. А. С., т. 5, с. 326.

75. Цит. соч., с. 330.

76. И также тема: священство — дворянство.

77. Здесь хочется высказать наше принципиальное несогласие с позицией М. И. Цветаевой, в своей статье "Пушкин и Пугачев" определившей "соль" отношений между Пугачевым и Гриневым (как воплощением самого Пушкина) словом **чара**. "В "Капитанской дочке" Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел.

Чара дана уже в первой встрече, **до** первой встречи, когда мы еще не знаем, что на дороге чернеется: "пень или волк". Чара дана и пронесена сквозь встречи: с Вожатым, с Самозванцем на крыльце, с Самозванцем пирующим, — с Пугачевым, сказывающим сказку, — с Пугачевым карающим — с Пугачевым прощающим — с Пугачевым — в последний раз — кивающим — с первого взгляда до последнего, с плахи, кивка, — Гринев из-под чары не вышел, Пушкин из-под чары не вышел.

И, главное, (она дана) в его **магической** внешности, в которую сразу влюбился Пушкин.

Чара — в его черных глазах и черной бороде, чара в его усмешке, чара — в его опасной ласковости, чара — в его напускной важности..." (Марина Цветаева. Избранная проза в двух томах. Т. 2. Russica publishers, Inc. New York, 1979. С. 289). Представить смысл отношений Гринева и Пугачева как историю любовного томления "праведного Гринева (Пушкина), очарованного своевольной и преступной красотой самозванца" значит, по нашему мнению, отчасти согласиться с тем, что у Гринева (Пушкина) кружится голова перед всей той бездной своевольной свободы, от которой говорит самозванец, но тем не менее окончательный нравственный выбор Гринева (и Пушкина!) вполне определенен: "Жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину". Каину, созревающему к преступлению, говорит Бог в Библии: "И сказал Господь (Бог) Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лицо твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а **если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним** (Бытие, 4, 6—7) (подчеркнуто мной. — В. К.)". И Гринев у Пушкина — вопреки всякой "карамазовщине" и "розановщине" — делает доброе и господствует над грехом... Свести все в отношениях Гринева и Пугачева к "чаре", к "магической внешности" значит смешать царство Христа, которое "прорастает" в душах наших героев, в их диалогах, с царством Астарты...

78. Ев. от Иоанна, 8, 32.



ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ 1993 ГОДА

Редакционная коллегия журнала "Наш современник" присудила премии за лучшие произведения, напечатанные в журнале в 1993 году:


о. Иоанн


Л. Бородин


С. Викулов


М. Грозовский


Г. Зюганов



Ю. Козлов


В. Костров


Ю. Кузнецов


В. Непомнящий


О. Овсянников


А. Проханов


В. Распутин


Н. Тряпкин

Высокопреосвященнейшему ИОАННУ, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, за цикл очерков под общим названием "Торжество Православия" (№ 4—6, 8—10, 12);

Леониду БОРОДИНУ за повесть "Божеполье" (№ 1—2);

Сергею ВИКУЛОВУ за поэму "Лунно и морозно" (№ 10);

Михаилу ГРОЗОВСКОМУ за подборку стихотворений "Стая белых ворон" (№ 8);

Геннадию ЗЮГАНОВУ за статью "Россия над бездной" (№ 11);

Юрию КОЗЛОВУ за рассказ "Медные деньги" (№ 6) и повесть "Геополитический романс" (№ 11);

Владимиру КОСТРОВУ за подборку стихотворений "Над смутой душевной" (№ 2);

Юрию КУЗНЕЦОВУ за рассказ "Два креста" (№ 1);

Валентину НЕПОМНЯЩЕМУ за статью "С веселым призраком свободы" (№ 5);

Олегу ОВСЯННИКОВУ за очерк "Чистилище" (№ 7, № 12);

Александру ПРОХАНОВУ за роман "Последний солдат империи" (№ 7—9);

Валентину РАСПУТИНУ за очерк "Вниз по Лене-реке" (№ 11);

Николаю ТРЯПКИНУ за стихотворные подборки "Из-за синих рек, из-за белых гор" (№ 7) и "С именем твоим" (№ 12).

Цена договорная

Индекс 73274

"Наш современник", 1994, № 1, 1 — 176